

ИЕНС
ПЕТЕР
ЯКОВСЕН

ФГУ
МАРИЯ
ГРУББЕ

БИБЛИОТЕКА ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА







И (Дат)
ЯЧБ

ЙЕНС ПЕТЕР ЯКОБСЕН

**ФРУ МАРИЯ
ГРУББЕ**

Перевод с датского С. Петрова

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА ·
ЛЕНИНГРАД · 1962

457691

Редакция перевода В. Адмони
Вступительная статья В. Неустроева
Примечания К. Афанасьева

Иллюстрации художника
М. Таранова

РОМАН «ФРУ МАРИЯ ГРУББЕ» И ЕГО АВТОР

Вряд ли художественное наследие какого-либо из датских писателей второй половины XIX века вызвало столько ожесточенных споров, противоречивых оценок, скрытого недоброжелательства и порою даже прямых враждебных выпадов, как творчество Якобсена. Объявив писателя последовательным натуралистом, буржуазное литературоведение, казалось, сделало все для того, чтобы представить его произведения образцом аполитичности, а самого автора — противником социального прогресса, далеким от выражения передовых идей своего времени.

Процесс развития мировоззрения и творческого метода Якобсена действительно во многом был противоречивым. Следует, однако, помнить, что именно ему, ученому-естествоиспытателю и публицисту, вышло на долю не только выступить на своей родине пропагандистом научно-материалистических принципов, учения Чарлза Дарвина, но и стать подлинным новатором в отечественной литературе. В лирике и особенно в прозе он показал себя как большой мастер реалистического искусства. Втянутый в гущу событий общественной жизни и литературной борьбы, он стал одним из наиболее типичных представителей «семидесятников», широко известного «движения прорыва», возглавлявшегося прогрессивным датским общественным деятелем и критиком Георгом Брандесом.

Йенс Петер Якобсен родился в 1847 году в Тистеде в купеческой семье. В 1863—1867 годах он обучался в Копенгагенском университете, занимаясь преимущественно естественными науками. Перед юношей открывались перспективы научной деятельности. Его труды по ботанике и исследования о происхождении видов и человека, относившиеся к началу 70-х годов, принесли

молодому ученому известность. Активная пропаганда идей Дарвина и переводы его сочинений вызвали нападки со стороны одного из ортодоксальных теологов, епископа Монрада, обвинявшего Якобсена в атеизме.

На литературный путь Якобсен вступает в конце 60-х годов. Его ранняя лирика носила преимущественно интимный характер, описания были импрессионистичны. С 70-х годов, с началом политической деятельности писателя, изменяются и его эстетические принципы. Теперь поэт не довольствуется мозаикой красок, передачей мимолетных впечатлений. Его лирика и первые новеллы становятся социально окрашенными, целеустремленными. Особенно это проявляется в его публицистической деятельности, высоко оцененной современниками. Георг Брандес писал, что Якобсен, редактор таких периодических изданий, как «Литературное общество» и «Будущее», был в самых первых рядах освободительного движения, развернувшегося в стране. Внешне отличный от Брандеса, пламенного оратора и энергичного организатора, Якобсен привлекал своим спокойствием, глубокой убежденностью в правоте своего дела. Его художественные произведения — стихи, новеллы и два романа — испытали на себе благотворное влияние общественных событий эпохи и настроений их автора, были созданы в порыве подлинного поэтического вдохновения. Творческие планы писателя были обширны. Он мечтал, в частности, создать монументальный исторический роман, посвященный замечательному датскому политическому деятелю и смелому преобразователю Струэнсэ. Но осуществить эти планы Якобсену не позволило тяжелое заболевание (туберкулез), излечить которое не удалось ни на родине, ни за границей — в Италии, Германии и во Франции, — а затем и его безвременная кончина в 1885 году.

Уже в ранних научных, общественных и литературных выступлениях Якобсена ясно проявились его полемический талант, стремление к глубокому постижению истины. Правда, проведение материалистических принципов в его взглядах на общество не было последовательным. Его порою всецело захватывала стихия природы, в общении с которой он и стремился постигнуть тайны бытия, найти ответы на волновавшие вопросы, осмыслить свое назначение в жизни. Мироздание давало повод для философских размышлений, растительный мир будил пылкость ботаника, а красота лесов, полей и цветов вызывала восторг романтически настроенного поэта.

Немало дало Якобсену обращение к истории литературы. Свои чувства этих лет и отношение к литературе прошлого

и современности он проникновенно выразил в «Дневнике одаренного юноши». В «странных мечтах» и «мимолетных мыслях» автора оживают не только пестрые картины природы, столь характерные для его лирических «арабесок», но и определенные литературные образы и мотивы, созвучные собственным настроениям, будившие поэтическую фантазию. Среди них — ибсеновский Пер Гюнт и шиллеровский дон Карлос. Первый привлекал юношу своей наивной непосредственностью, второй — вдохновенной мечтой о героических свершениях. Круг литературных интересов начинающего писателя был поистине огромен — от «языческих» песен «Эдды» и суровой прозы древних саг до современной романтической поэзии, до полных иронии и сарказма произведений немецких писателей Иммермана и Гейне, до острых фельетонов датчанина Хейберга. Несколько позднее Якобсен с восхищением будет писать о величественных творениях Шекспира и его мастерстве, о его умении сливать романтическое и лирическое начала, сочувственно отметит имена своих соотечественников — основоположника национального Просвещения, комедиографа Хольберга и прославленного сказочника Андерсена.

Процесс выработки оригинального художественного стиля наиболее ясно проявился уже в поэтическом творчестве Якобсена. Его лирика, воплотившая, по словам Брандеса, «символику растительного мира», несла в себе «шекспировские проблески страсти и что-то андерсеновское в наивно-любовных описаниях природы».

Первые стихи цикла «Херверт Сперринг» носили у Якобсена еще преимущественно подражательный характер. Краски поэта были пока слишком холодны, сравнения книжны и рассудочны. Но затем, в «Цветущем кактусе» и более обширном цикле «Стихи и наброски», поэт насыщает свои сюжеты жизненными конфликтами, главным образом историческими или легендарными событиями, широко вводит в поэзию драматические художественные формы — диалог и монолог (таковы тонкие и прочувствованные любовные песни Вальдемара и Гове, строфы о Кормаке и скальдической поэзии, фрагменты «Фаустина и Фауст», «Анна Шарлотта» и др.), обращается к бытовым мотивам («К Агнес», «Свадебная песнь», «Полька», «Песня башенного сторожа», «Дикий охотник»), перемежает стихи с прозаическими эпизодами («Воспоминание о путешествии», «Из одного рассказа», ютландская «ярмарочная зарисовка к новелле «Могенс», фрагмент «Доктор Фауст»). Иногда в прозу он вводит метрические размеры, стремится к передаче свойственных собственной лирике настроений и колорита.

Еще современники называли Якобсена виртуозом прозы. И действительно, в повествовательных жанрах писатель нашел

себя. В его повеллах и романах глубже, чем в лирике, отразились безграничная любовь художника к природе, очень острое восприятие ее красоты. Здесь господствует преимущественно ландшафтная живопись с богатейшей гаммой красок. Но романтика природы теперь не носит самодовлеющего характера. Она все чаще раскрывает эмоциональное чувство поэта, помогает воспринять природу в связи с деятельностью человека. В передаче интимных сторон жизни своих героев, их душевных переживаний и настроений Якобсен пошел значительно дальше датских романтиков, например Эленшлегера, проявил себя как тонкий реалист-психолог. И хотя Андерсен указал дорогу молодому писателю, последний все же не удовольствовался сказочной обстановкой действия и решительно устремился в сферу реальной жизни. Раскрытые им социальные конфликты уже были лишены туманной символики и таинственного ореола.

Новеллистика составляет небольшую, но достаточно существенную часть художественного наследия Якобсена. Она тесным образом связана с остальным творчеством писателя, многие ее стороны помогают выяснить общие особенности, свойственные повествовательной манере, в которой им написаны два крупных социальных романа — «Фру Мария Груббе» и «Нильс Люне». Как в лирике, так и в новеллах, создававшихся на протяжении 70-х — начала 80-х годов, проявились различные тенденции и определенная эволюция. Почти во всех новеллах Якобсена, начиная от первых, «физиологических» («Могенс») и кончая поздними, бытовыми («Пусть цветут розы»), значительное место отводится картинам природы, пейзажным зарисовкам. И все же большинству из них «поэтическую задушевность и оригинальность» (как об этом писал Брандес) придавали уже не только колоритные описания «растительного царства». У писателя при этом ясно обнаруживалась «страсть к жизни». Его привлекали острые бытовые социальные конфликты («Выстрел в тумане», «Чума в Бергамо») и сложные характеры («Два мира», «Фру Фэнс»). Многоплановая новеллистика Якобсена и в стилевом отношении.

Натуралистическое подчеркивание стихийного («животного») начала в человеке часто сменяется у писателя выявлением социальной обусловленности характеров и событий, показом пагубного воздействия религиозного фанатизма, буржуазного стяжательства и аморализма. Импрессионистическая манера некоторых новелл Якобсена далека от аффектации. Она нередко уступает место углубленному психологическому рисунку, в котором мельчайшие детали воспринимаются в соотношении с целым, в панораме общего реалистического замысла.

Якобсен не остается безучастным к судьбам людей, их страданиям и чаяниям. Внимательный наблюдатель жизни и тонкий аналитик, он создает колоритные биографии своих героев, особенно останавливается на их душевных переживаниях, обращается к значительным историческим событиям. Страшная картина чумы в Бергамо не заслоняет в повествовании трагедию каждого человека. Автор прочувствованно говорит о неисчислимых бедствиях и огромных опустошениях, вызванных эпидемией. Злой иронией проникнуты эпизоды новеллы, рисующие различного рода церковников и «ясновидящих» с их слепой верой в провидение, с призывами к смирению и покаянию. В новелле «Выстрел в тумане» особенно ясно проявляется свойственное писателю умение выражать чувства любви и ненависти. Эгоиста и стяжателя Хеншинга Якобсен как бы пригвождает к позорному столбу, трагическая же история обманутой Агаты не только проникнута грустью, но и согрета глубоким лиризмом. В истории фру Фэнс Якобсен возвращается к вопросу, остро волновавшему его в повеллистике и особенно в романе о Марии Груббе, — к положению женщины в обществе и семье, к вопросу о ее назначении в жизни, о ее мыслях и чувствах, о взаимоотношениях между родителями и детьми.

Сложные социально-этические проблемы наиболее глубоко решаются Якобсеном в романах, отмеченных печатью суровой правды. При этом художественная манера, свойственная сжатому повествованию в его повелле и чем-то напоминающая чеховскую прозу, в романе почти полностью сохраняется.

Исторический роман «Фру Мария Груббе» (1876) — центральное произведение Якобсена. К нему тянутся нити от лирики и ранних новелл. К некоторым из поднятых в нем проблем писатель возвращается и позднее, что свидетельствует об устойчивости его социально-эстетических принципов.

В романе «Нильс Люне» (1880), построенном на современном Якобсену жизненном материале, настойчиво проводится мысль о закономерности обращения «лучших сил страны» к «политическому освобождению». В этом своем последнем произведении писатель продолжил борьбу против духовных оков, в первую очередь религиозных, отчего «Нильс Люне» и получил определение «библии атеизма».

К работе над романом «Фру Мария Груббе» Якобсен приступил в начале 1873 года, а завершил его лишь через три года. Роман создавался в знаменательную эпоху — после бурных событий датско-прусской войны 1864 года, потрясших страну, в условиях роста освободительного движения, остро поставившего

в порядок дня вопрос о необходимости демократизации конституции и приведшего к созданию в 1876 году датской социал-демократической партии.

Тема романа из эпохи Марии Груббе для Якобсена была актуальна, хотя казалось, что события двухсотлетней давности слишком далеки от современности. Действие происходит во второй половине XVII века. На всей жизни Дании отражались в те годы события военного времени, а затем последствия конфликта с Швецией, возвысившейся благодаря интенсивному развитию экономики и торговли. Завоевательная политика Швеции составляла основу так называемого периода великодержавий, закончившегося только с военным поражением Карла XII. Блестящая победа русских войск нанесла решающий удар могуществу шведской армии, в связи с чем и Дания, понесшая в недавних боях серьезные потери и еще не оправившаяся от последствий войны, смогла наконец вернуть себе Шлезвиг.

Не менее сложным был и продолжавшийся конфликт между абсолютистской властью и дворянством, начинавшим лишаться своих привилегий.

Порою «грубоватую» манеру повествования в романе и внимание писателя к физиологическим проблемам критика пыталась объяснить влиянием французской натуралистической литературы. Однако сам Якобсен, остававшийся в пору создания романа восторженным поклонником дарвинизма и склонный применять естественно-научный метод к общественным явлениям, решительным образом осуждал последовательное применение принципов натурализма в искусстве. Показательно, что в творчестве многих датских и французских писателей второй половины XIX века Якобсен усматривал противоборствующие тенденции. В переписке с датским писателем Эдвардом Брандесом он отмечал, что Золя, например, в одних случаях «недостаточен в раскрытии психологии», «не слишком разборчив в деталях», а в других «имеет мужество быть правдивым».

В период работы над романом «Фру Мария Груббе» ясно проявились особенности творческой лаборатории и эстетических принципов Якобсена. Ему отнюдь не хотелось показать человека лишь «жалким, страшным и удивительным животным»; свою задачу он видел в том, чтобы в изображении человека «приблизиться к Шекспиру и природе», раскрыть богатство духовного мира людей, их возвышенную тягу к идеальному. Как справедливо отмечалось критикой, художественная манера Якобсена-романиста была более близка стилю Тургенева и «объективному реализму» Флобера, творчество которых датского писателя

весьма привлекало. Именно мастерство этих писателей, по признанию самого Якобсена, оберегало его от «пресности». Автор «Фру Марии Груббе» любил говорить, перефразируя известное изречение Флобера, что в истинно художественном произведении эффект достигается тем, что «правда сваливается точно кирпич на голову». Предъявляя свои требования к реалистическому роману, Якобсен настаивал на необходимости для писателя отразить в нем «действительную историю развития», глубокую и тонкую связь характеров, которые «должны ощущаться в главном». По его мысли, художественная убедительность романа значительно выиграет оттого, что тенденция его будет скрыта в глубине, благодаря чему правда искусства не появится обнаженно в виде «града, который бьет и колет», или «якорного каната», протянутого через произведение и сковывающего действия всех персонажей.

Роман «Фру Мария Груббе» был задуман и осуществлен именно в противовес распространенным и в датской литературе шаблонным тенденциозно-историческим произведениям, проникнутым мещанской и религиозной моралью. Вместе с тем нельзя согласиться с высказываниями буржуазных литературоведов, по мнению которых роман Якобсена вообще лишен каких-либо идей, так как цель писателя якобы состояла в изображении отдельной личности, последовательное развитие которой было связано лишь с бытом. Георг Брандес справедливо утверждал, что Якобсену чужда плоская тенденциозность. Значение романа именно и состояло в том, что героиня и окружающие ее персонажи являлись действительно детьми своего века и что читателю поэтому предоставлена полная возможность судить об истории на основании «картин правдиво изображенного столетия».

Роман строится в форме биографии героини, злоклучения которой рисуются на фоне колоритного быта эпохи и раскрываются как результат воздействия обстоятельств действительности. Поистине XVII век живет и дышит в романе, рисуящем представителей разных социальных слоев, начиная от короля, чванливых придворных, спесивых дворян, «почтенных» горожан и кончая простым людом, бродячими актерами, ремесленниками и крестьянами.

Фру Мария Груббе, как и многие другие персонажи романа, — личность историческая. В отличие от исторических романов, в которых главные персонажи — носители лирического начала — были вымышленными и во многом идеализированными (отчего некоторые из них были ходульными, абстрактными носителями высокой морали), в романе Якобсена художественная биография

героини строится в соответствии с фактами ее реальной жизни, раскрывается на фоне конкретных исторических событий. Причудливая жизнь этой женщины «благородной фамилии» в течение долгого времени была предметом широкого обсуждения в Дании. Начав с брака с побочным сыном короля, а затем испытав немало превратностей судьбы, она закончила решительным разрывом со своей средой и ее моралью, преступила сословные границы, полюбив простого батрака и не скрывая этой связи. Финал «скандальной» истории Марии Груббе вызвал решительное осуждение в менцаанской среде и привел к созданию легенды о ее падении.

Однако выдающиеся представители прогрессивной национальной литературы смело выступили в защиту «отверженной», отстаивая при этом принципы демократии и гуманизма. Еще юный магистр Хольберг — современник Марии Груббе — проявил искренний интерес к трогательной истории этой отважной женщины и известное понимание ее социальной трагедии. В сочувственном плане о ней писали и Стеен Бликер в «Дневнике сельского кистера» (1824) и Андерсен в сказочной истории о птичнице Грете (1870). Уже в этих произведениях была предпринята попытка разобраться в истинных чувствах и поступках Марии Груббе, натуры отнюдь не преступной и загадочной, как о том говорилось в различного рода лживых измышлениях, распространившихся и после ее смерти (1718).

Перед Якобсеном, таким образом, при воссоздании образа Марии Груббе и ее времени вставало немало сложных задач. Помимо общих социальных и эстетических проблем, интересовавших автора, помимо его естественного желания раскрыть возможности реалистического произведения, помогающего уяснить определенные тенденции современной эпохи, писатель оказывался перед необходимостью достоверно отразить в историческом романе общественную жизнь сравнительно давнего времени и завершить наконец реабилитацию Марии Груббе.

Повествование в романе Якобсена внешне строится как история домашней жизни. Этому, казалось бы, соответствовали как эпическая манера летописи (события происходят «в один апрельский вечер», «месяц спустя» и т. п.), так и фрагментарность композиции, основанной на биографических деталях. По существу же история Марии Груббе и ее современников не была у Якобсена «романом интерьера», так как через частное писатель раскрывал общее, социально значимое.

Образ Марии Груббе дан в определенной эволюции, в соответствии с замыслом романа. Говоря о детских годах жизни своей

героини, писатель подчеркивает ее упрямство, беззаботность, светлое восприятие окружающего. Но иллюзия продолжалась недолго. Став девушкой с «детски нежной грудью» и худощавой фигуркой, она как-то вдруг ощутила себя одинокой не только в поместье отца в Тъеле, но и в столице, в доме тетки. Суровое воспитание фру Ригитце только усилило у Марии это ощущение заброшенности и беспомощности.

Духовный мир девушки складывался под влиянием рыцарских романов и благочестивых книг. Это и определило на первых порах ту двойственность, которая была присуща ее грезам. В суровые дни войны она мечтала о встрече с «настоящим героем» из волшебного царства, о котором так заманчиво рассказывали ей хроники и исторические песни. И вот таким рыцарем перед ней внезапно предстал храбрый Ульрик Христиан Гюльденлеве, отличившийся в боях со шведами во время осады Копенгагена. Молва называла его спасителем отечества, «отважным датским Давидом». Но романтический герой, предмет пылкого патристического увлечения девушки, неожиданно заболевает и вскоре умирает. Теперь все окружающее кажется семнадцатилетней Марии миром мрака и холода. В отчаянии она обращается к религии. И все же вера, по мысли Якобсена, не может быть якорем спасения. Это особенно ясно проявилось уже в сцене у постели умирающего Ульрика Христиана — одной из самых выразительных в романе по своему грубоватому трагикомическому характеру. Проповеди королевского духовника и магистра Юстесена, безуспешно пытавшихся напутствовать отважного генерала, вызывают у него взрыв сарказма и негодования против поповской лжи и лицемерия. Правда, церковникам все же удается сломить строптивого. На время во власть мистики и аскетизма попадает и Мария, хотя вскоре она осознает ложность избранного ею пути.

Вначале девушку, которая могла составить выгодную партию, окружала атмосфера восторженного поклонения. Поэтому ее немедленно сосватали за другого представителя аристократической фамилии Гюльденлеве — Ульрика Фредерика. Для Марии этот брак стал первым серьезным жизненным испытанием. Повеся и завсегдакай кабаков оказался для нее неподходящей партией. Еще во время его пребывания за границей Мария почувствовала себя в его доме узницей, молодость которой проходит в мрачном заточении. Вскоре она убеждается в неверности мужа, а затем начинает понимать, что и ее любовь к нему прошла. В одном из писем к сестре Мария признается, что особенно остро безрадостность своего существования она ощутила во время

пребывания в «варварской» Норвегии, куда Ульрик Фредерик был назначен наместником. Семейный конфликт завершается уходом оскорбленной Марии от мужа, возвращением ее в дом отца и наконец официальным разводом.

Впрочем, Марии, как и ее мужу, недоставало пронизательности. Каждый из них (конечно, по разным причинам) был далек от того, чтобы понять другого. Любовь Ульрика Фредерика быстро сменилась ненавистью, а потом равнодушием к жене. Мария смотрела на него «взглядом тигрицы» и однажды была даже способна заколоть его ножом. Оба забывали при этом о пережитом, о том, что могло бы их сблизить.

В передаче подлинной истории Ульрика Фредерика Якобсен, конечно, был далек от апологии мужа, хотя многое в жизни этого человека вызывало сочувствие. Глубоким психологом автор показал себя в раскрытии этого сложного характера. Ульрик Фредерик оказывался перед необходимостью скрывать свои подлинные чувства. Так перед лицом двора возникла маска забияки и кутилы, повесы, увлекающегося парадными костюмами и блестящим оружием, доставшимся ему в наследство от брата. В истории его первого тайного брака с Софией Урне писатель справедливо увидел острый социальный конфликт, типичный в условиях борьбы между абсолютистской властью и строптивым дворянством. В браке своего любимца с хитрой и опасной интриганкой король заподозрил опасные для себя происки Элеоноры Христины, жены преследовавшегося им политического противника Корфитца Ульфельдта. Вот почему решение короля было непреклонным и суровым: по высочайшему указу брак этот был расторгнут, а София заточена в монастырь.

Естественно, что оскорбленное чувство человеческого достоинства, опасность королевской немилости ожесточили Ульрика Фредерика. Воспоминания о первой любви носили у него мечтательный и меланхолический характер. Забыть нанесенную ему обиду он не мог ни после пожалования титула королевского егермейстера, ни за время заграничного путешествия, ни в годы второго брака с Марией, спешно устроенного при покровительстве двора. Не без влияния Софии в его сознании складывалось представление о безрадостной жизни народа, о том, что страна идет навстречу тяжелым временам. Сам он не был тем человеком, который смог бы помочь страдающей родине. Все чаще вел он бесшабашный образ жизни, предавался утехам в веселой компании, проявлял дворянскую спесь (например, в отношении плебея Даниэля Кноцфа, за малый рост прозванного Карлой), изменой

жене с Карен Скрипочкой словно мстил не Марии Груббе, а кому-то более значительному.

Итак, Марии пришлось вернуться к отцу. В его доме, побюргерски старомодном, внешне ничего не изменилось: те же стены, выложенные голландскими изразцами, дубовая тяжелая мебель, кресла с высокими резными спинками и потертыми кожаными сиденьями... Дочь старого Груббе прекрасно сознавала, что теперь ее роль при дворе сыграна и сама она обречена на прозябание в ютландской глуши. Мария снова ощутила на себе власть сурового отца.

Эрик Груббе был колоритной фигурой. Деспотичный в отношении к домочадцам, старик позволял говорить ему правду в глаза разве лишь одной Анэ Йенсовой, служанке, с которой прижил «дитя греха». Возвращение старшей дочери, конечно, не радовало его, внушало опасение, что она так и останется для него обузой. Расчетливый накопитель, он постоянно лицемерит, говорит, что он чуть ли не разорился из-за зятя, пишет слезное послание на имя короля с просьбой о вспомоществовании, так как его «опозоренная» дочь, по его словам, не имеет даже приличной одежды, чтобы показаться на люди.

Получив наконец от бывшего мужа свое приданое и драгоценности, Мария Груббе надеется обрести полную свободу. Моущество денег кажется ей безграничным. С восторгом принимает она совет своего зятя Сти Хоя отправиться в заграничное путешествие, наивно веря, что в Германии или во Франции сердце ее обретет покой и счастье.

Мария не замечала, что ее отношения со Сти Хоем, женатым человеком, который сопровождал ее в путешествии, и с очень юным баварцем Золотым Ремигием, встретившимся ей в Нюрнберге, носили несколько компрометирующий характер. Эмансипация личности мыслилась ею еще в форме свободного изъяснения чувств. Сти и Ремигий в ее глазах как бы дополняли друг друга: один был экзальтированной натурой, опытным в отношениях с женщинами, другой — тихим и робким поклонником. Неожиданную гибель златокудрого Ремигия она переживала не менее тяжело, чем утрату Ульрика Христиана. Казалось, что ее преследует какой-то злой рок: стоило Марии найти человека, достойного и способного составить ее счастье, как неумолимая смерть похищала его. С утратой юноши она снова теряла какую-то долю своей мечты, романтической мятежной души.

Отношения со Сти во многом ее отрезвили. Этот «демонический» характер постепенно раскрывался перед ней в своей подлинной сущности. Его жестокость, делавшая его похожим на

зверя, рвущего добычу па части, казалась вначале (например, в драке с ольденбургскими дворянами на постоялом дворе) проявлением каких-то таинственных сил деятельной натуры. В отношениях с Марией, которую он называл замарашкой, Сти Хой держался покровительственно, себя же любил представлять скептиком и человеком разочарованным, непонятым окружающими. Припоравливаясь к ее восторженной настроенности, он изъяснялся иносказательно, высокопарно, рассказывая о «траурных страницах книги живота его» и жалуясь на то, что он «будет томиться горькою мукой и грустить». Но вскоре Мария обнаружила его позерство, неспособность к подвигам во имя осуществления высоких надежд, увидела, что за внешностью «орла с топорщащимися перьями и острым взором» скрывается жалкая оципанная птица.

Тягостным и на этот раз было возвращение Марии Груббе в дом отца. Угрозой лишения наследства старик заставляет ее принять предложение Палле Дюре. Шестнадцать лет длилось ее замужество с королевским советником юстиции, маленьким толстым человечком с короткой шеей и обезображенным лицом. Для нее это была пора постоянных унижений. Скупой и мелочный, трусливый и заносчивый, второй муж Мария мало чем отличался от старика Груббе, был с нею суров, затевал ссоры из-за пустяков, упрекал за «прошлое». Неудивительно, что после долгих лет мучений она решилась оставить его.

Мария с горечью думала о миновавшем ее счастье, о безвозвратно уходящих годах. Но ее томление по неизведанному по-прежнему оказывалось очень сильным. Едва ли это можно объяснить только чувственностью ее натуры, на чем настаивали некоторые исследователи романа (Г. Кристенсен, Анна Линк, В. Андерсен и др.). Считалось даже, что в столь остром проявлении внимания к физиологическим проблемам сказалась особенность натуры самого писателя, что идея «Фру Марии Груббе» не была якобы почерпнута им из реальной жизни, а реяла перед ним еще в пору написания рассказа «Могенс», героиня которого Тора также жила жаждой наслаждений.

Идейная концепция романа определена сложным историческим материалом и демократическими убеждениями Якобсена. В духовной драме Марии Груббе писатель увидел явление социальное и типичное. Его героиня, как и флюберовская Эмма Бовари, оказывается во власти суровых обстоятельств. Одновременно в «Фру Марии Груббе» чувствуется в какой-то мере и полемика с несколько созерцательной позицией великого французского писателя, с концепцией мрачного финала его романа, где

героиня кончает самоубийством. Якобсен настаивает на значительности того факта, что Мария, пройдя суровую школу жизни, находит свое место среди простых людей.

Последнюю страницу истории Марии Груббе составляет ее третье замужество с батраком Сереном. На молодого конюха она впервые обращает внимание во время пожара. Его могучая фигура и отважная борьба со взбешенными животными поразили ее. Но при этом Мария стремилась в нем, человеке труда, увидеть олицетворение того идеала, о котором так долго мечтала. Именно человек с волевым характером казался ей способным вести борьбу за свое право. Однако в Серене таились и такие свойства, воспитанные условиями подневольной жизни, которые показывали его с другой стороны и не сразу были распознаны Марией. Невежественный крестьянин, он сохранял покорность господам, был далек от выражения интересов своего сословия. Окрыленный неожиданным для него проявлением чувства со стороны своей госпожи, он быстро перерождается, высокомерно относится к остальной челяди, а затем становится грубым даже с Марией.

Вынужденный бежать из-под ареста (после случая со служанкой Анэ, в которую он стрелял, считая, что она стоит на его пути к счастью), Серен предлагает богатой фру оставить дом и «намытариться вместе с ним». Не задумываясь о последствиях своего шага, Мария идет с ним, готовая к новым испытаниям. И понятно, что теперь в глазах общества она окончательно становится «отверженной». Ханжа отец лишает ее всякой помощи и в новом прошении на имя короля даже требует ее ссылки. Безропотно переносит она выпавшие на ее долю невзгоды.

Встреча «матушки» Марии Груббе с молодым Хольбергом, по мысли Брандеса, была исторически неизбежной. Но записки Хольберга, воспроизводившие этот эпизод, заставили Якобсена изменить свои первоначальные планы в отношении финала романа. Мысль об оскорбленном достоинстве женщины и о ее поступках, порою невольных и непреднамеренных (после случая, когда она испытала потребность жестоко мстить Ульрику Фредерику и даже готова была убить его), автор «Фру Марии Груббе» предполагал изложить «в форме защитительного письма обвиняемой». Разговор Хольберга с пожилой женщиной, прошедшей суровые испытания, носил по существу ограниченный морально-этический (даже религиозный) характер. Якобсен, естественно, почувствовал недостаточность какой-либо пафосности в этих вопросах и слабость своего прежнего замысла, по которому конец романа мог превратиться в своего рода исповедь.

Так возникло намерение более широкого масштаба — «описать всю жизнь героини».

Заслуга Якобсена, реалистически воспроизводившего действительность, заключалась не только в объективном повествовании об «упорной и отважной» женщине XVII столетия. Перед читателем, словно в калейдоскопе, проходят и другие яркие характеры, события эпохи, своеобразные традиции, картины быта и нравов. Действие романа из Дании нередко переносится за границу. Правда, эпизоды, развертывающиеся в Амстердаме, Любеке, Нюрнберге или Париже, даны бледнее, схематичнее (за исключением сцены у нидерландского алхимика Бурри и жанровой картинки на постоялом дворе в Ольденбурге, напоминающих полотна Рембрандта и Теньера). Наиболее красочны в романе картины датской действительности, полные движения, порою какой-то искрометности. Это, естественно, не могло относиться к жизни двора и высших слоев общества, по признанию самих героев романа мелких и ничтожных. Сти Хой ядовито говорит о «мизерной стране» с «жалким сколком с настоящего двора» и «неотесанным дворянством». Короля и придворных заботило соблюдение этикета, интересовали пышные шествия, драбанты с обвитыми цветами свечами, огоньки, фонарики, сказочные представления. Особый шик составляло подать на стол посыпанный блестками «золоченый суп», затмить друг друга на балу необычными нарядами, поразить как будто экспромтом сочиненными французскими, итальянскими или немецкими стишками.

Однако жизнь датского народа не была безмятежной. Роскоши двора и пышных особняков богачей писатель противопоставляет тяжелую жизнь обитателей хижин. В романе подчеркнуты социальное неравенство, жестокая расправа властей и помещиков с провинившимися крестьянами (наказание палками, сажание на «деревянную кобылу» с острым верхом и т. д.). События военного времени обострили социальные и политические противоречия в стране. Богатых горожан опасность застала в растерянности. Мутной волной распространялся национализм, выдвигались идеи о том, что все несчастья страны идут только «подлых шведов».

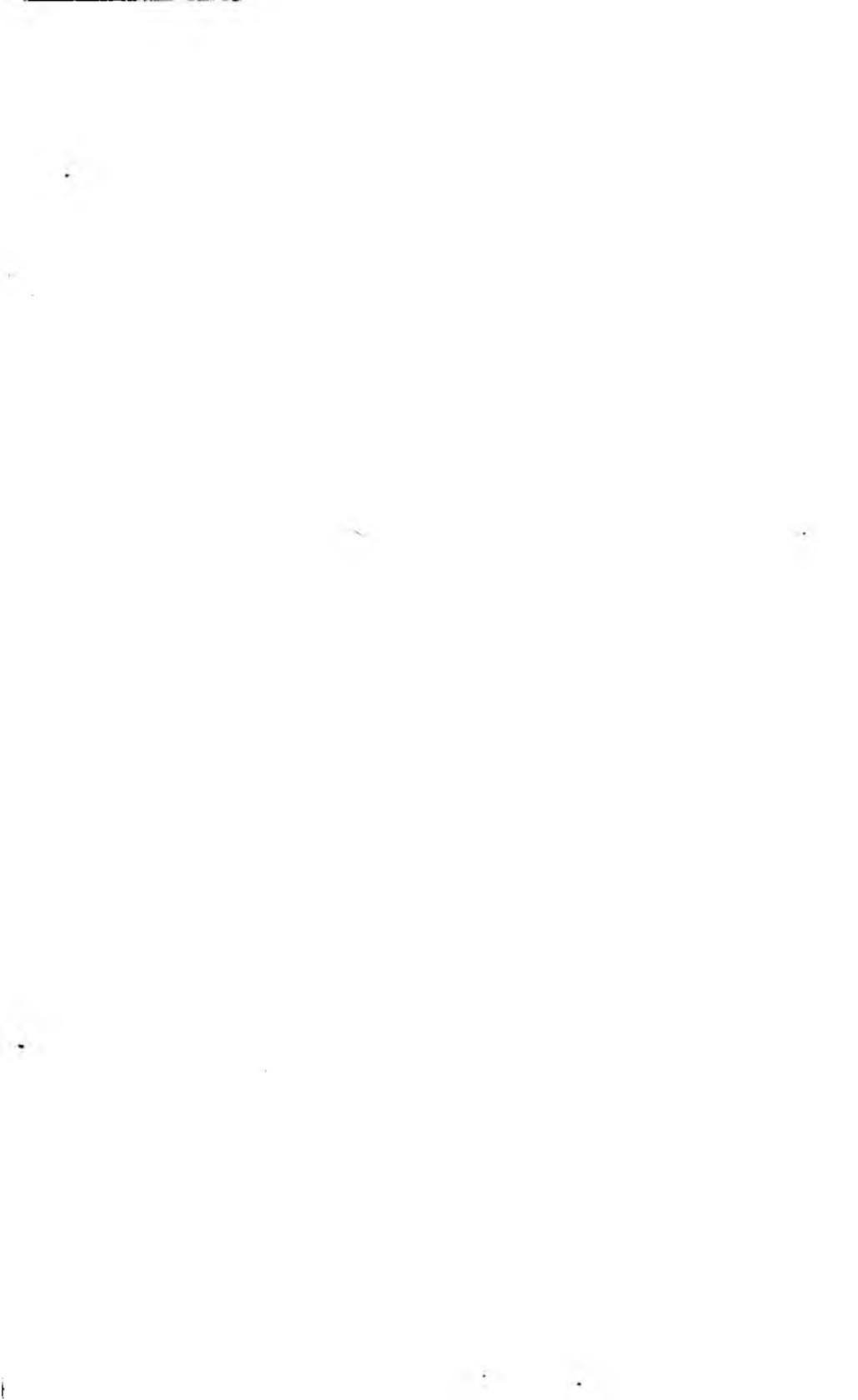
Вместе с тем (и это превосходно показал Якобсен) отношение народа к происходящим событиям было трезвым. В уста служанки Люси писатель вкладывает справедливые слова о горе народном, порожденном войною. Ремесленники слали проклятья не только «злосчастной войне», но и государственному совету, оказавшемуся не в состоянии предотвратить опасность. Даже старик Груббе, опасавшийся, конечно, за свои богатства, признавал,

что «советники в королевстве ума лишились». Но если собственники провозглашали свою философию, по которой и в военное время «спасай всяк свое», то простые люди, высокие в нравственном отношении (что хорошо видела Мария Груббе), оказывались способными на героизм, жертвовали собою.

Яркое художественное дарование Якобсена заслужило всеобщее признание. Такие выдающиеся произведения, как «Фру Мария Груббе» и «Нильс Люне», прочно вошли в сокровищницу национальной и мировой литературы.

В. Неустроев

ФРУ МАРИЯ ГРУББЕ



Воздух, покоившийся под макушками лиц, добрался сюда, наколыхавшись над опаленной степью и пересохшими полями. Его пропекло на солнце и пропылило на дорогах, а теперь он очистился в плотной завесе зелени, освежился в прохладной листве, и желтый липовый цвет, наполнив его своим влажным ароматом, придал ему сочности. И вот он покоился, тихо и блаженно подмигивая светло-зеленому своду, ласкаемый еле шелестящими листьями и мерцающим трепетом бледно-желтых бабочек.

А человечески губы, вдыхавшие этот воздух, были пухлые, сочные; грудь, которую он заставлял вздыматься, была молодая и нежная. И грудь была детски нежная и ножка, а талия — узкая, стан стройный, и во всей фигурке была какая-то худошавая крепость. Пышными были только тяжелые темно-золотистые волосы, наполовину заплетенные, наполовину растрепавшиеся, ибо темно-синяя бархатная шапочка соскользнула на шею и повисла за спиной на завязках, словно монашеская скуфеечка. Впрочем, в одежде не было ничего монастырского: широкий прямоугольный полотняный воротник ниспадал на серо-синеватое платье с короткими и просторными вырезными рукавами, откуда выбивались два больших буфа из тонкого голландского полотна; на груди сидел пунцовый бант, и пунцовые же бантики — на башмаках.

Шла она, заложив руки за спину и наклонив голову вперед. Грациозными игривыми шажками она шла вверх по дорожке, но не прямо, а петляя: то чуть не натолкнется на дерево по одну сторону дорожки, то чуть не забредет под деревья с другой стороны. Иногда она

останавливалась, откидывала кудри со щек и взглядывала ввысь. Замирающий свет придавал ее младенчески белому лицу бронзовый оттенок, отчего стали менее заметными синеватые тени под глазами, алые губы превратились в бордовые, а огромные голубые глаза почти почернели.

Уж мила она была так мила: лоб гладкий, нос с горбинкой, крохотная, словно выточенная, нижняя губка и крепкий круглый подбородочек, да паливные щечки, да малюсенькие ушки, да четко и резко начерченные бровки. Шла она и улыбалась, легко и бездумно, ни о чем не раздумывала и улыбалась в полной гармонии со всем вокруг. Дошла до конца дорожки, остановилась и давай вертеться на каблучке — пол-оборота вправо, пол-оборота влево, руки по-прежнему держа за спиной, вытягивая шею и глядя ввысь, — и подпевала монотонно и отрывисто, в такт своему круженью.

Две гранитные плиты, лежавшие там, были ступенями в сад — в сад и к резкому, ослепительно белому солнечному свету. Безоблачное голубовато-белесое небо заглядывало прямо в сад, и та чуточка тени, которая была в нем, жалась в ногах у подстриженной буксовой изгороди. Резало глаза, даже изгородь сыпала искрами света со своих полированных листов — пронзительными белыми блестками. Белыми курчавинками выглядывала, высывалась и пробивалась полынь между сохнувших бальзаминов, белладонны, лакфиолей и гвоздик, которые толпились, склонив головы и собравшись в кружок, словно овцы в чистом поле. А вон там, у грядки с лавандой, горох и бобы чуть не валились от жары со своих подпорок, маргаритки махнули на все рукой и смотрели во все глаза прямо в лицо солнцу, а маки, сбросив с себя огромные красные лепестки, стояли одними голыми стеблями.

Девочка из липовой аллеи прыгнула по ступеням в накаленный солнцем сад и побежала, пригнув голову, как перебегают в дождь через двор. Она направила бег к треугольнику из темных тисовых деревьев, проскользнула за ними и вошла в огромную беседку, сохранившуюся еще от времен Белоу. Широкий хоровод заплели они из вязов, так высоко, как только могли дотянуться ветви, а круглое отверстие посредине загородили досками и жердинами для гороха. Вьющиеся розы и фряжская жимолость всю разрослись среди вязовой листвы и стали

плотной стеной, но на одной стороне они не прижились, хмель же, который насадили вслед за ними, покалечил сучья вязов, а сам был не в силах закрыть отверстие.

У входа в беседку лежали два гиппокампа, окрашенных в белый цвет, а внутри стояла длинная деревянная скамья и стол. Столешница была каменная: некогда она была большая, овальная, но добрая половина ее обвалилась, три куска валялись на земле, и только четвертый, маленький, лежал неприкрепленный в углу на раме. У него-то и уселась девочка, подобрав ноги на скамью, откинулась и скрестила руки. Она закрыла глаза и сидела не шелохнувшись. На лоб набежали морщинки, порой она шевелила бровями и легонько улыбалась.

«В покое, где красные пурпурные ковры и позлащенный альков, лежит у маркграфовых ног Гризельда, но он отталкивает ее. Вот только что выволок он ее из теплых пуховиков, а теперь открывает сводчатую дверцу, и студеным воздухом обдает бедную Гризельду. Лежит она на полу и плачет, а между холодным ветром ночным и теплым белым телом ее нет ничего, кроме тонкого-претонкого полотна. А маркграф выгоняет ее и замыкает дверь на засов. И прижимается она голым плечом к холодной гладкой двери, и всхлипывает, и слышит, как он мягко ступает по коврам. А сквозь замочную скважину проходит свет от благовонной свечи и, круглый, как крохотное солнышко, падает ей на голую грудь. И уходит она, крадучись, спускается по темной мраморной лестнице. И все тихо, ей только и слышно, как постукивают босые ноги ее по обледенелым каменным ступеням. И вот она выходит на улицу... Снег... нет, дождь, ливень, льет как из ведра! Тяжелая студеная вода плещет ей на плечи. Плотно прилипает к телу плотно, а вода так и струится по голым ногам, и ступают холеные ножки по вязкой холодной грязи, которая так и расплзается, хлюпающая, под подошвами. А ветер... Кусты цепляются и рвут ей платье в клочья... Да нет же! Ведь на ней нету платья... Как разорвало мне коричневую юбку... В Фаструпской роще, поди, уже и орехи поспели, те самые, какие на Виборгском рынке были... А прошли ли зубы у Анэ, бог весть! Нет, не то! Бронгильда! Ярый конь скачет во весь опор... Бронгильда и Гриммильда... Королева Гриммильда машет рукой мужчинам, поворачивается и уходит. И они волокут королеву Бронгильду, и приземистый черномазый

мужик с тяжелыми длиннущими ручищами, ни дать ни взять Бертель с заставы, хватает Бронгильду за пояс и срывает его, стягивает с нее и платье и исподницу, черными лапами сдирает золотые запястья с белых пухлых рук, а высокий, полуголый, загорелый, лохматый детина волосатой рукой обнимает ее и, топая ножищами, сбивает ей с ног сандалии, а Бертель наматывает ее длинные черные кудри себе на руку и волочет королеву, а она следует за ним, подаваясь всем телом вперед, а высокий кладет ей потные ладони на голую спину и так и толкает, так и толкает ее к черному фыркающему жеребцу... И швыряют они ее в придорожную серую пыль и привязывают ей за щиколотки длинный конский хвост...»

Тут опять набежали морщинки и долго не сходили; она покачала головой и казалась все удрученнее; наконец открыла глаза, приподнялась и огляделась устало и недовольно.

Мошки плясали у отверстия между побегам хмеля, из сада порывами доносило запах мяты и шалфея, а в промежутках пахло опять укропом и анисом. Хитрый желтенький дурашка — паучок побежал, щекоча, у нее по руке и заставил спрыгнуть со скамьи. Она пошла к выходу и потянулась за розой, висевшей среди зелени, но не смогла дотянуться. Тогда она вышла наружу и принялась рвать вьющиеся розы. Чем больше рвала, тем больше усердствовала и вскоре насобирала их полон подол. Унесла в беседку и села к столу. Одну за другой вынимала она их из подола и укладывала на плиту тесными рядами. И вскоре камень скрылся под бледно-розовой благовопной тяжестью.

Взяв последнюю розу, она разгладила складки на юбке, смахнула лепестки и зеленые листочки, зацепившиеся за шерстинки платья, и, положив руки на колени, неподвижно сидела, глядя на розовую кипень.

Эти цветные переливы, курчавившиеся в мерцающих пятнышках света и теней, от белого, чуть-чуть алеющего до ало-сизого, от влажно-розового, почти грузного до сиреневого, такого легкого, что он вот-вот пойдет расплываться в воздухе... Даже просто любой лепесток, закругленный, с нежной впадинкой, такой мягкий в тени, а на свету — в нем тысячи еле заметных искорок и блесков, и розовая цветочная кровь, собравшаяся у него в прожилках и рассеянная под кожицей... И еще тот густой при-

ный дух, бродячий аромат пурпурного нектара, который кипит в самой глубине цветка.

Проворно засучила она рукава и окунула руки в мягкую влажную розовую прохладу. Она терлась ими о розы, которые лепестками спархивали на землю. Потом вскочила, одним махом смела все со стола и вышла в сад, оправляя рукава. Щеки у нее разгорелись, торопливым шагом спустилась она по дорожкам и пошла, теперь уже не спеша, вдоль садовой ограды к проселочной дороге. Там, недалеко от въезда в усадьбу, опрокинулся воз с сеном. Несколько возов остановились сзади и не могли проехать. Старший работник лупил возчика корячневой полированной палкой, которая поблескивала на солнце.

Звуки ударов произвели на девочку ужасающее впечатление, она зажала уши и быстро пошла в усадьбу. Подвальная дверь в пивоварню была открыта; девочка шмыгнула внутрь и захлопнула за собой дверь.

Это была четырнадцатилетняя Мария Груббе, дочка господина Эрика Груббе, помещика в Тьеле.

Синее мерцание сумерек опочило над Тьеле. Выпала роса и положила конец возке сена. Дворовые девки доили в хлеву, мужики галдели и суетились в шорной и каретнике. Барщинные толпились кучками у ворот и ждали, пока им прозвонят ужинать.

У открытого окна стоял Эрик Груббе и смотрел на двор: медленно, одна за другой выходили из дверей конюшни избавившиеся от сбруи лошади и шли к колоде на водопой. Посреди двора, около межевого камня, стоял паренек в красной шапке и насаживал новые зубья на грабли, а подальше, в углу резвились две борзые, играя в ловилки между деревянной кобылой и громадным точилом.

Время тянулось, и все чаще и чаще подходили работники к дверям хлева, оглядывались и, пошвыстывая или напевая, шли обратно. Девка с полным ведром парного молока, пристукивая, просеменила по двору, и барщинные стали пробираться в ворота, как бы поторапливая прозвонить к ужину. На поварне все громче стучали и брякали ведрами, мисками и деревянными тарелками. Потом дважды рванули за колокол, и он вытряхнул из себя два недолгих ржавых раската, которые вскоре

замерли среди цокота деревянных башмаков и кряхтения дверей, скрипящих и стонавших на петлях. Тут двор опустел, и только две собаки наперебой лаяли в подворотню.

Эрик Груббе затворил окно, сел и задумался. Сидел он в зимней горнице. Жили в ней и зиму и лето, служила она им и светелкой и застойной, а в другие покои они почти и не заглядывали. Это была просторная комната в два окна, обшитая высокою, в человеческий рост панелью из мореного дуба; стены были выложены изразцами голландской работы, покрытыми глазурью, где по белому фону были намалеваны большие синие розы. Камин был облицован кирпичом, а перед отверстием стояла ларь, иначе сквозило бы, когда открывают двери. Полированный дубовый стол с двумя полукруглыми откидными крышками, свисавшими почти до полу, несколько стульев с высокими спинками и сиденьями из жесткой, стершейся до блеска кожи, да шкапчик зеленого цвета, висевший высоко на стене, — вот и все, что там было.

Сидит себе Эрик Груббе и сумерничает, а к нему входит его ключница Анэ Йенсова со свечой в одной руке и крынкой парного молока в другой. Крынку она ставит перед ним, а свечу перед собой, садится сама к столу и, не выпуская подсвечника, сидит и вертит его большой багровой рукой, на которой так и сверкают перстни с увесистыми камушками.

— Охти, горе! Ох, провалиться бы! — закричала она, усаживаясь.

— Ну, что еще? — спросил Эрик Груббе и посмотрел на нее.

— Небось и застонаешь, коли наорешься да так умаешься, что ни тебе охнуть ни вздохнуть.

— Нда! Пора горячая. Народ запасай тепла с лета, чтобы было чем в зиму погреться.

— Да! Толкуйте себе! На все конец да мера бывает. Не больно-то шибко раскатаешься, коли дышло в хлеву, а колесья во рву. А моя голова за всех одна. Девки в дому, как на подбор, бездельные. Про женихов судачить да сплетки по деревне разносить — то ихнее дело. А начнут работать — ничего путем не сделают. А работа не ждет, ее по горло. А кому забота? Опять же мне, истинный господь! Вульборг занедужила, а Буль со Стинкой, тетехи окаинные, копаются, аж пот прошибает, да проку

мало. Марья-то могла бы маленько пособить, кабы вы потолковали ей, да ведь ей ни до чего касаться не велено.

— Полно тебе, полно! Понесла-поехала и за здравие и за упокой. Нечего мне жалобиться, пеняй на себя. Будь ты потерпеливее в прошлую зиму с Марией, да потихоньку-полегоньку обучи ты ее чему-нибудь, покажи ты ей, как и что делать полагается, так от нее теперь бы тебе прок был. А у тебя терпенья нету, ты — горячиться, а она — артачиться. Чуть было одна другую живьем не съели. Вот уж когда спасибо скажешь, что все обошлось.

— Как бы не так! Защищайте себе свою Марию! Ваше дело родственное. Только вы свое обороняете, а я свое, и любо вам — не любо, а так и знайте, что с эдаким своевольством Марии на белом свете туго придется. Ну, то бы еще полбеда! Да ведь она злющая! Вы, поди, скажете — нет, а она, ей-ей, злющая. Так-таки все и досажает Аночке, целый день то и знает, что за ей бегаёт, да щипется, да дергает, да охальные слова говорит. Горюше девчоночке, хоть ты ложись да помирай, впору бы и на свет не родиться. Да и верно, что так. Сама ей того желаю. Тужи не тужи, а сама желаю. Ох, господи милостивый! Умилосердствуйся над нами! Ровно не обeim вы отец! Оно верно, что правда, то правда: грехи отцов падут на детей до третьего да и до четвертого колена, и материн грех тоже, а ведь Аночка у меня как-никак пригульная. Да! Так и скажу начистоту — похотень она у меня, пригульная перед господом и людьми. А вы, вы — отец ей! Посовеститься бы вам, посовеститься! И все одно скажу, хоть наложи вы на меня руку, как позапрошлый год в Михайлов день наложили, посовестились бы! — тьфу, нечистая сила! — посовестились бы! Потому как, чтобы родное дитя да примечало, что она во грехе зачата была... А вы заставляете примечать, вы с Марией оба заставляете и меня и ее примечать, уж хоть побейте, а заставляете примечать...

Эрик Груббе вскочил и затопал грузно по полу.

— Нечистый тебя поберет! Да ты, баба, умом повредила, что ли? Пьяным ты пьяна! А коли так, ступайка себе на постелю да отоспись — хмель да злость-то и сойдут. А стоило бы надавать тебе затрещин, баба ты полоумная! Ни-ни, не перечь! Мария уедет, завтрашнего

же дни уедет. В мирное время — чтобы и у меня было мирно.

Анэ громко всхлинула:

— Ох, господи Иисусе! Надо же приключиться такому! Сраму на весь белый свет! Ославить меня пьяницей! Да нешто я с той поры, как мы спознались, и все времечко допрежь того бывала на поварне с пьяной рожей? Еще слыхивали ли вы, чтобы я заговаривалась? Да в каком же то месте вы углядели, чтобы я да пьянхонькая валялась? Дождалась спасибо, нечего сказать! Отоспись, дескать! Да попусти господь, уж и уснула бы я, попусти господь — замертво грохнулась бы здесь перед вами, чтобы на меня срамотищу-то не возводили...

Собаки во дворе подняли лай, и под окнами раздался цокот копыт.

Анэ проворно вытерла глаза, а Эрик Груббе открыл окно и спросил, кто там.

— Нарочный из Фаусинга, — ответил один из дворовых.

— Так примите у него коня и пусть зайдет в дом.

И окно затворилось.

Анэ уселась поудобнее на кресле и заслонила рукой докрасна заплаканные глаза.

Вошел нарочный и передал поклон и дружеские пожелания от окружного головы фаусингского и одденского Христиана Скеля, который велел уведомить, что сегодня штафетою он был извещен о том, что с первого июня объявлена война. Оттого является ему необходимость по многим причинам съездить в Орс, а оттуда, может стать-ся, и в Копенгаген, а поему он и велел спросить, не захочет ли Эрик Груббе сопутствовать ему, благо им будет по дороге: они могли бы в таком разе порешить совместное дело с несколькими орхусцами, а что до Копенгагена, то голова знает, что у Эрика Груббе дел там хоть отбавляй. Как бы то ни было, а Христиан Скель прибудет в Тъеле, когда ударят четыре пополудни.

Эрик Груббе сказал в ответ, что приготовится к поездке. С этим известием нарочный и поскакал домой.

Долго еще беседовал Эрик Груббе с Анэ о том, что надобно сделать, пока его дома не будет, и тогда же было решено, что Мария поедет вместе с ним в Копенгаген и останется у тетки своей Ригитце на год, а то и на два.

Предстоящая разлука сделала их спокойнее, но старый спор чуть было опять не разгорелся, когда они завели речь о том, какие из платьев и узорочий покойной матери Мария должна была увезти с собой; все же они уладили это добром, и Анэ отправилась спать спозаранок, ибо могло статься, что завтрашнего дня не хватит совсем управиться.

Немного спустя псы возвестили о новых гостях.

На сей раз это был не кто иной, как приходский священник из Тъеле и Винге, господин Йенс Йенсен Палудан.

Он вошел, пожелав «доброго вечера хозяевам!» Это был широкоплечий, костистый мужчина, долгоногий и долорукий, с низко склоненной головой. К тому же, он сутулился, а волосы у него были с проседью, густые и свалывшиеся, огромные, как воронье гнездо, лицо же удивительно свежее, равномерно румяное и вместе с тем такого чисто розового цвета, который мало подходил к его грубым скуластым чертам и косматым бровям.

Эрик Груббе пригласил его сесть и спросил, как у него идет уборка сена. Некоторое время разговор вертелся вокруг важнейших полевых работ этой поры года и замер на вздыхании о недороде хлебов в прошлом году.

Священник сидел и, прищурясь, косился на крынку, а потом вымолвил:

— Ваша милость всегда отменно воздержанны, приложите натуральному питию. А оно и здоровее будет. Парное молочко сам бог благословил — целебно-с, что для большого живота, что для слабогрудия.

— Какого черта! Дары господни все хороши, хоть ты их надавай, хоть из бочки нацеживай. Придется вам теперь отведать настоящего брауншвейгского из бочки, что нам наемни с Виборга привезли. Оно тебе и доброе, оно тебе и немецкое, хоть я и не разгляжу толком, есть ли на нем таможенное клеймо.

Появились пивные кружки и большой жбан с рыльцем, сделанный из черного дерева и изукрашенный серебряными обручами.

Тут же и чокнулись.

— Гейденкамперовское! Истинно дворянский гейденкампер! — закричал растроганный пастор не своим голосом, дрожащим от восторга, и когда блаженно развалился на стуле, то в глазах у него чуть ли не слезы показались.

— Да вы знаток, сударь мой, господин Йенс! — ухмыльнулся Эрик Груббе.

— Э! какой там знаток! Мы люди худородные, мало что ведаем, — бормотал рассеянно пастор. — Впрочем, и мыслю, — продолжал он, повысив голос, — уж верно ли то, что мне сказывали про гейденкамперовскую пивоварню? Сказывал мне про то некий вольный мастер как-то раз в Ганновере, в те годы, когда я ездил с дворянским сыном Юргеном. Так вот-с, он говорил, что они начинают варить пиво всегда в ночь под пятницу. Но и прежде чем кому-нибудь позволят руки к делу приложить, должно ему идти к старшему подмастерью и, положив руки на большие весы, поклясться огнем, водой и кровью, что не умышляет он ни злого, ни дурного, ибо было бы сие во вред пиву. Сказывал и про то, как в воскресенье поутру, лишь ударят в колокола, так они все окна и двери распахнут, дабы звон и до пива дошел. Преважнее всего, однако, когда пиво бродить ставят. Является тут сам мастер и несет изукрашенный ларец, достает из оного и золотые перстни тяжкие, и цепи, и камни самоцветные, на них же некие дивные знаки проставлены, и все это скопом складывают в пиво, так что и впрямь подумаешь, что столь благородные сокровища приобщают питие к тем потайным силам, кои в них от естества пребывают.

— Ну, тут толком ничего не дознаешься, — отрезал Эрик Груббе. — Нынче я больше даю веры брауншвейгскому хмелю да прочим приносям, которые подбавляют к пиву.

— Э, нет! — возразил пастор серьезно и покачал головой. — Не след нам так говорить. В царстве естества много есть тайного, уж подлинно так. Всякая вещь, мертвая или живая, емлет в себе чудесное. Дело стало лишь за тем, чтобы исполниться терпения искать да очи отверзнуть, дабы обрести. Ах, в старину, когда еще не много времен минуло, яко господь бог отъял длани свои от земли, тогда любая вещь была пренсполнена такой силы божией, что из нее ключом било исцеление и всякая благодать, вечная и брениая. А ныне царство земное уже и не молодое, и не новое, и лишилось чистоты своей, и осквернено есть прегрешениями многочисленных поколений, ныне доводится лишь при особых обстоятельствах зреть чудесное, в некий час и некоем месте, когда знамения небесные бывают. Вот только что я толковал про

то кузнецу. Стояли мы с ним и беседу вели о страшном огненном сиянии, которое вот уже несколько ночей было видно и полнеба обхватывало. А тут вдруг проскакал мимо нас нарочный — сюда, полагаю?

— Так оно и есть, господин Йенс.

— Вез, поди, только добрые вести?

— Только то, что война объявлена.

— Господи Иисусе! Быть того не может! Да, да! Должно же это было когда-нибудь начаться.

— Так-то оно так, но ежели они столько прождали, то и пождать бы им, покуда народ с урожаем управится.

— Это все сконцам нейдется. Право, им. Не запамтовали еще, как их на прошлой войне поколошматили, да и чают, что на этой их легонько почешут.

— Ну, не одни сконцы — зелаидцы тоже все о войне помышляют. Знают, что она им с рук сойдет. Да уж, самая пора теперь приснела олухам да пентюхам, когда советники в королевстве ума лишились.

— Говорят, однако, что маршал на это туго идет.

— Да какой черт этому поверит? Пускай и так, а проку-то мало мир проповедовать в развороченном муравейнике. Ладно, дождались войны, и теперь, значит, спасай всяк свое. Хлопот да забот не оберешься.

Потом речь зашла о предстоящей поездке, задержалась недолго на плохих дорогах, обратилась назад к Тье-ле, перешла на откорм скота и на убой и снова пустилась в странствия.

При этом они никоним образом не забывали про жбан. Пиво ударило им в голову, и Эрик Груббе, который как раз начал рассказывать о своем путешествии на Цейлон и в Ост-Индию на «Жемчуге», еле мог продолжать рассказ, давясь от хохота, как только приходило на память что-нибудь потешное.

Священник же становился чем дальше, тем серьезнее. Он разомлел и развалился на стуле, но время от времени крутил головой, мрачно глядел перед собой и шевелил губами, словно говорил что-то; к тому же, он жестикулировал одной рукой все усерднее, пока его не угораздило треснуть кулаком по столу. Тут же он опять осел и обмяк, испуганно глянув на Эрика Груббе. Наконец, когда тот поехал расписывать да и завяз на описании безмерно простоватого поваренка, пастор ухитрился-таки подняться и заговорил глухим торжественным голосом:

— Воистину, — сказал он, — воистину! Свидетельствую своими устами... своими устами... что вы есть соблазн человеков и предмет соблазна... Лучше бы вам быть ввержену в море... Воистину! С жерновом на вые и двумя мерами солоду. Две те меры солоду вы мне задолжали. Свидетельствую о сем торжественно и своими устами... Две полнехоньких меры солоду в моих новехоньких мешках... Ибо не мои были мешки... как перед истинным, не мои! Не были и не бывали. Были то ваши собственные старые мешки, а мои-то, новенькие, вы у себя попридержали... А солод-то был гшилой... Воистину так! Воззрите же на мерзость запустения, а мешки мои, и я отплачу... Мне отмщение, и аз воздам, говорю я... Аще не содрогаетесь ли всеми своими ветхими костями? Старый вы любодей!.. По-христиански бы вам жить... А по-христиански ли будет жить с Анэ Йенсовой и позволять ей морочить голову приходскому священнику, христианскому проповеднику. Вы... вы — любодей крещеный...

В начале речи пастора Эрик Груббе улыбался во весь рот и по-приятельски тянулся к нему рукой через стол, потом двинул в сторону локтем, как бы толкая под бок незримого собеседника, чтобы тот посмотрел, как отменно назююкался пастор, наконец таки у него появилось что-то вроде уразумения речи священника, ибо он сразу побелел как смерть, схватил жбан и запустил им в пастора, который закачался, рухнул, опрокинувшись, спиной на стул и, съехав с него, растянулся на полу. Однако упал он только с перепугу, ибо жбан не долетел до него и лежал на краю столешницы. Содержимое разлилось по всему столу и струйками стекало на пол и на пастора.

Свеча догорела почти до самого подсвечника и мигала, отчего в комнате было то светло, то так темно, что синий рассвет заглядывал в окна.

Пастор еще бормотал. Его голос был то низким и угрожающим, то свистящим и визгливым:

— Вы восседаете во злате и багрянице, а я валяюсь здесь, и псы лижут язвы мои... А что возложили вы на лоно Авраамле?! Кюю жертву пожрали?.. Ни даже серебряного скиллинга не возложили вы на христианское лоно Авраамово... и поделом вам и муки ваши... и да не омочит никто в воде перста своего ради вас... — И он хлопнул пятерней по луже пива. — Я же умываю руки мои... обе умываю... Я увещевал вас... хе!.. Се грядете вы, грядете

во вретнице и посыпав главу пеплом... не во вретнице, а в двух моих новехоньких кулях... солоду...

Он побормотал еще немного и погрузился в сон. А тем временем Эрик Груббе делал попытки добраться до него и отомстить. Он уцепился мертвой хваткой за ручку кресла, вытянулся во всю длину и, напрягаясь что есть мочи, тцился лягнуть покренче ножку стола, в полной надежде, что это пастор.

Вскоре все утихло. Был слышен только храп обоих почтенных мужей да равномерный стук пивных капель, которые все еще шлепались со стола.

2

Дом с угожьями у госпожи Ригитце Груббе, вдовы блаженной памяти Ханса Ульрика Гюльденлёве, находился на углу Восточной улицы и Вербного переулка.

В те времена Восточная улица была довольно аристократическим местом: здесь жили члены семейств Тролле, Сестедов, Розенкрантцев и Крагов. Сбоку от госпожи Ригитце жил Иоахим Герсдорфф, а в новом красном доме Карела ван Мандера по большей части размещались двое, а то и несколько иностранных резидентов. Впрочем, только одна сторона улицы была заселена знатью; на Никольской стороне домишки были низкие, и жил здесь все больше люд мастеровой, да мелочные торговцы, да корабельщики. Было там и несколько харчевен.

Было позднее воскресное утро в начале сентября. Стоя у оконца в мезонине на подворье госпожи Ригитце, Мария Груббе смотрела на улицу: ни единой кареты, никакой суеты, только и слышны чьи-то несторопливые шаги да протяжно-ленивое пение какого-то одинокого устричника.

Солнечный свет падал, трепеща, на крыши и на мостовую, а тени были резкие, угловатые, похожие на крупные неуклюжие четырехугольники. Даль тонула в легком дымно-сизом чаду.

— Рафт аи...f! ¹ — раздался позади нее женский голос, очень удачно подражавший синлой командирской глотке.

¹ Внимание! (нем.)

Мария обернулась.

Кричала горничная Люси. Сидела она сидела на столе, созерцая критическим взором свои довольно стройные ножки, наконец это наскучило ей, она и крикнула. А теперь, сидя и хохоча во всю мочь, беспардонно размахивала ногами.

Мария пожала плечами и, как-то брезгливо улыбаясь, повернулась было опять к окну, но Люси соскочила со стола, схватила ее за талию и заставила сесть на стоявший рядом плетеный стул.

— Слушайте, барышня! — сказала она. — Вы ничего не знаете?

— Ну?

— Вы нынче и про письма запомнили, а во втором часу у нас гости, так что вам, барышня, и осталось-то каких-нибудь часа четыре. А слышали, что им будет на обед? Золоченый суп, камбала и еще, знаете, такая широченная рыба, жареные куры в тризанете да мансфельдовский пирог со сладким киселем из сливы. По-благородному, что и говорить, а вот, ей же ей, не больно-то жирно. И ваш, барышня, суженый придет.

— Вздор какой! — сердито крикнула Мария.

— Да бже упаси! Ведь от того, что я сказала так, ни оглашения брачного, ни помолвки еще не будет... А только не пойму я, барышня, как это вам до вашего кузена дела мало. Мужчины красивее да веселее уж я и не знаю. А ножки-то у него какие! Да и кровь в нем королевская — по рукам и то видать: крохотные-прекрохотные, словно вылепил кто. Одни ноготки чего стоят! Не больше пяточка серебряного, да такие кругленькие, розовенькие! Да что там! А походка-то у него какова! Ни дать ни взять мужчины. Ать! Два! А глаза-то так и сверкают, так и играют...

Она сгребла Марию в охапку и принялась чмокать ее в шею с таким усердием да засос, что девочка вспыхнула и вывернулась из ее объятий.

Люси брякнулась на постель и хохотала как бешеная.

— И вольничаете же ты сегодня! — прикрикнула на нее Мария. — Не перестанешь, так я вниз сойду.

— Да что ж тут такого? Уж нельзя нашей сестре и повеселиться малость! На белом свете горя не оберешься. А моего и семерым не снести. Не у меня ли жених-то на войну ушел да и перебивается там с худа на лихо? Вспо-

мнишь, и так ли жалостно станет! А ну как его там убило или покалечило? Помилуй, господи, меня, несчастную девку: не человек я тогда буду больше.

Она уткнулась лицом в простыни и всхлипывала:

— Ой, не надо, не надо, не надо! Лоренц! Родименький! Я тебе верная буду, уж такая верная, только бы вернулся домой невредимый! Ах, барышня, барышня! Мочи нет терпеть!

Мария пробовала успокоить ее словами и ласками. Наконец ей удалось добиться того, что Люси приподнялась, села и утерла глаза.

— Да, барышня, — сказала она. — Никто не знает, где у меня болит. Не может человек всегда быть таким, как надо бы. Да и проку-то что, ежели я порешу о парнях вовсе не думать! Так ведь тебе и лезут с прибаутками да комплиментами. Хоть убей, не смогла бы от них ни отгрызться, ни увернуться. Так и подмывает меня, так бы и пустилась с ними языком чесать... Глядишь, и дошло до галантерейного обхождения, когда я уж и не могу Лоренцу по всей строгости ответ держать. А как вспомню, какого страху он, сердечный, терпит, ой-ой-ой, клянусь себя так, что ни одна живая душа не знает. Потому как люблю я его, барышня, его и никого другого, поверьте уж мне. Ох! Лягу спать, месяц прямо на пол светит, и вот тут я совсем другой человек бываю. Уж так мне тогда тошно да постыло, и плачу, ревмя реву, и вот здесь в глотке давит, впору задохнуться. Уж такая мне мука! Лежу да маюсь, мечусь по постели, богу молюсь, а сама и не знаю толком, о чем молюсь-то. А иной раз сама не своя бываю, сяду на постели, схвачусь за голову, и так-то мне боязно станет, что я с тоски своей ума лишусь. Господи боже! Да что с вами, барышня? Вы никак плачете? Неужто и вы, такая молоденькая, по ком-то втихомолку страдаете?

Мария покраснела и чуть-чуть улыбнулась: ей было как-то лестно от мысли, что она может влюбиться и страдать.

— Нет, нет! — сказала она. — Но ты говоришь так грустно, словно все кругом одно горе да мука.

— Помилуй бог, не все так, нет. Бывает и по-иному, — сказала Люси, вставая, ибо снизу позвали. И вышла, плутовато кивнув Марии.

Мария вздохнула, подошла к окну и поглядела вниз, на зеленое прохладное кладбище у св. Николая, на красные стены церкви, потом на дворец, на его медную крышу, покрытую ярью, и дальше — на Островок и на Канатный завод, окинула взором Восточные ворота с их острым шпилем и Халланд с его садами и деревянными сараями, и синеватый Зунд, переходивший в голубое небо, по краю которого белые пушистые облачка медленно тянулись к сконскому побережью.

Вот уже три месяца, как она жила в Копенгагене. Уезжая из родного дома, она воображала себе столичную жизнь совсем не такой, какой знала ее теперь.

Ей никогда и в голову не приходило, что там можно быть еще более одинокой, нежели в усадьбе Тьеле, где она натерпелась одиночества.

Отец ей был не компания, он был всегда настолько самим собой, что никогда не сумел бы стать чем-нибудь для других. Он не делался четырнадцатилетним, когда говорил с четырнадцатилетней, не делался женщиной, когда говорил с девочкой. Ему давно перевалило за полвека, и он всегда был Эриком Груббе.

Стоило Марии увидеть отцову наложницу, которая распорядилась в доме, словно она полная хозяйка, как в девочке разом пробуждались вся гордость и горечь. Эта грубая, упоенная властью баба так часто язвила ее и мучила, что стоило Марии слышать звук ее шагов, как девочка сразу же и почти бессознательно ожесточалась, делалась упрямой и озлоблялась.

Единокровная сестра ее, маленькая Анэ, была болезненная и изнеженная — обстоятельства, которые никоим образом не делали ее уживчивой, — и к тому же, используя ее, мать вечно норовила очернить Марию перед Эриком Груббе.

С кем же она водилась?

Ну, знала она любую стежку и дорожку в Бигумском лесу, любую корову на пастбище, каждую курицу на птичьем дворе. А когда дворовые и деревенские при встрече приветливо кланялись ей, то это означало: «Барышню ни за что ни про что обижают, сами видим, тошно глядеть на это! А про ту бабу мы с вами, барышня, одинаково думаем».

Ну, а в Копенгагене?

Здесь у нее была Люси, и она очень любила Люси. Но ведь то была как-никак всего лишь прислуга. Люси поверяла ей все, и это радовало ее, за это она была благодарна Люси, но сама-то поверяла ей не все. Перед Люси она не могла дать волю жалобам, не хотела, чтобы ей говорили, какая, дескать, жалость, что она вот так пристроена. И уж ни под каким видом терпеть не могла, чтобы о nelaдах в ее семье толковала прислуга. Даже о тетке она не хотела худого слова слышать. Тетку, впрочем, нисколько не любила, да и причины к тому никакой не было.



Ригитце Груббе придерживалась строгих взглядов своего времени на полезность сурового, не знающего потачек воспитания и вознамерилась так же воспитывать Марию. Детей у нее не было, поэтому она оказалась воспитательницей крайне нетерпеливой, да к тому же весьма беспомощной, поскольку материнская любовь никогда не учила ее тем маленьким, но очень полезным уловкам, которые так облегчают успехи в развитии и ребенку и учителю. И все-таки такое строгое воспитание было бы, возможно, для Марии всего пригоднее. Она, чьи чувства и мысли, с одной стороны, находились в запустении из-за отсутствия бдительного и твердого присмотра, а с другой стороны, были покалечены безрассудной и привередливой жестокостью, должна была бы почувствовать умиротворение оттого, что ее постоянно и неизменно твердой рукой ведут по должному пути, ведет человек, который, разумеется, не может ей желать ничего, кроме добра.

Но вели ее не так.

Госпоже Ригитце приходилось уделять столько внимания политике и интригам, она так сжилась с придворными кругами, что на полдня, а то и на целый день отлучалась из дому или же бывала дома так занята, что Мария могла делать и с собой и со своим досугом что угодно.

Если госпожа Ригитце и улучала наконец свободную минутку для ребенка, то из-за собственной нерадивости становилась вдвое нетерпеливее и резче. Такое положение должно было поэтому казаться Марии полнейшей и чистейшей бессмыслицей и вызывать в ней впечатление, что она чуть ли не отверженная, которую все ненавидят и никто не любит.

И теперь, когда она стала у окна и смотрела на город, чувство одиночества и заброшенности опять нахлынуло на нее. Она прижалась головой к косяку и растерянно вглядывалась в медленно скользившие облака.

Она так хорошо понимала все то, что говорила Люси о тоске. Словно у тебя внутри горит что-то. И ничего не поделаешь — ну и пусть горит, пусть горит... Она так хорошо это знала! А что же будет дальше? День за днем — одно и то же. Ничего, ничего, чему бы порадоваться! И долго так будет? Да, долго еще! Даже и когда шестнадцать минет? Не со всеми же так бывает! Чтобы она в шестнадцать лет да все еще ходила в детском чепце — не

может того быть! Сестрица Анна Мария так не делала... Теперь она замужем...

Вспоминалось так ясно: как шумели и веселились на свадьбе еще долго после того, когда ее услали спать... и как музыка играла... А что, ведь и она могла бы, пожалуй, замуж выйти. За кого же бы? Может, за зятева брата? Он, что и говорить, препротивный! Но уж если бы случилось такое... Этому она ужас как обрадовалась бы. А чему бы и радоваться-то на белом свете? Разве есть чему? Ей что-то не видно.

Она отошла от окна, села в раздумье за стол и принялась писать.

«Дружески кланяюсь тебе, вечно призывая на тебя благословение господне, дражайшая сестрица и дружок мой Анна Мария, да хранит тебя господь и спасибо тебе за доброту твою! Собралась я писать *pour vous congratuler*,¹ поелику разрешилась ты во благополучии и ныне здорова и в добром здравии пребываешь.

Любезная сестрица! Живу я хорошо, весела и благополучна. Тетушка живут очень великолепно, и у нас часто бывает много гостей, все больше придворные господа кавалеры, а опричь неких старых барынь, приезжают к нам токмо персоны мужеска пола. Многие из них знавали нашу покойную маменьку и хвалят ее премного за красоту и прочая. За стол меня всегда сажают с гостями, но со мной никто ни о чем не заговаривает, кроме Ульрика Фредерика, а тому я и не рада, как у него все больше *chicanes*² да *railleries*,³ а не разумная *conversation*.⁴ Молоденек еще, а слава за ним небезупречная, захаживает в кабаки да на постоялые и сим подобные. Нет у меня покамест никакой новости, разве что у нас сей день ассамблея, и он тоже будет. Как только заговорю по-французскому, так он очень смеется и говорит, что, дескать, сто лет назад этак говорили. Оно, пожалуй, так и выйдет, потому как господин Йенс о ту пору, когда путешествовал, был *tout à fait*⁵ молодой. А впрочем, он меня хвалит изрядно затем, что складно умею вести

¹ Чтобы поздравить вас (*франц.*).

² Попреки (*франц.*).

³ Насмехательства (*франц.*).

⁴ Беседа (*франц.*).

⁵ Совсем (*франц.*).

беседу, говорит, что, дескать, ни одна дама при дворе не сумеет лучше моего. Только я думаю, что это одно ласкательство, и до него мне дела мало. Давньенко что-то нету вестей из Тьеле. Тетенька бранится и сердчает всякий раз, как заговорит о гнусном conduite,¹ сие означает, что бабюшка наш сожительствует с тою, с которой живет, с бабою столь подлого происхождения. Горько мне и обидно бывает, да слезами горю не пособишь. А письма этого Стюхо не показывай, скажи только, что кланяюсь ему сердечно.

Сентября 1657 года.

Любящая сестра твоя Мария Груббе.

Ее благородию госпоже Анне Марии Груббе, супруге Стюхо Хоя в Гьорслеу, дружку моему и сестрице писано во всей сердечности».

Встали из-за стола и пошли в парадную палату, где Люси обносила гостей золоченой водой.

Мария притаилась на подоконнике, полуукрытая складками гардин. Ульрик Фредерик подошел к ней, поклонился ей преувеличенно почтительно и с крайне серьезным видом сказал, что ему было весьма сожалительно сидеть за столом так далеко от мадемуазель. Говоря это, он положил маленькую смуглую ладонь на подоконник. Мария взглянула на нее и зарделась так, словно кровь на щеках проступила.

— Пардон, мадемуазель! Я вижу, вы совсем покраснели от гнева на то, что я позволяю себе выразить вам свое нижайшее и всенепременнейшее почтение. Смею ли, может статься и слишком дерзновенно, спросить, чем же я был столь достоин презрения, что прогневил вас?

— Уж верно, я не красная и не сержусь.

— Вам угодно называть сей колер белым? *Vien!*² Тогда мне было бы желательно узнать, как же вы именуете колер, который у розы, нарицаемой пунсовою, быть имеет?

— Ужли вы никогда разумного слова сказать не можете?

¹ Поведении (*франц.*).

² Ладно! (*франц.*)

— О да! Позвольте, погодите! Да, надобно признаться, что это со мною и впрямь бывало, но только в редкости.

Doch Chloë, Chloë, zürne nicht!
Toll brennet deiner Augen Licht
Mich wie das Hundsgestirn die Hunde,
Und Worte schäumen mir von Munde
Dem Geifer gleich der Wasserscheu...¹

— Да уж такое говорить вы мастер!

— Ах, мадемуазель! Вам куда как мало ведома власть Амура! Поверите ли?! Бывают ночи, когда я, уязвленный любовью, пробираюсь украдкой на шелкодельный двор, перескакиваю через балюстраду в сад ко Кристену Скелю и стою как истукан среди благовонных роз и лакфиолей, взирая неотступно на оконце комнаты вашей, доколе стройная розоперстая Аврора не пробежится перстами по моим кудрям.

— Ах, сударь! Я полагаю, вы ошиблись именем, упомянув Амура. Вам, разумеется, надобно было бы сказать Бакхус. Оно и не мудрено заплутаться, ежели вертопрашничать по ночам. Потому что вовсе вы и не стояли в саду у Скеля, а были вы у «Могенса в Каппадокии», среди рюмок да бутылок. А ежели невмочь вам было двигаться и сидели вы как истукан недвижимый, так уж тому вовсе не любовное мечтательство причинно, что вы еле ноги волочили.

— Вы учиняете мне великую несправедливость. Если и доводится мне захаживать иной раз в питейные дома, то не для плезуру или потехи ради, но токмо лишь для того, чтобы забыться от всепожирающей печали, которая меня терзает.

— О!

— Вы не имеете на меня надежды, не даете нимало веры постоянству моего Амура... О небеса! Видите ли восточное оконце под крышей у святого Николая? Три полных дня кряду просидел я там и все глаза проглядел,

¹ Но, Хлоя, Хлоя! Гнев уйми!
Меня очей твоих огни,
Как псов — созвездье Пса, сжигают,
И пеной бешенства вскипают
И с уст моих текут слова... (нем.)

любуюсь прельстительным личиком вашим, когда вы сидели за пальцами.

— Ну и незадачливый же вы, сударь! Не успеете рта открыть, как вас уж и поймали на пустословии: никогда не сиживала я с пальцами насупротив святого Николая. Знаете присказку?

Раз ночью в поле
Поймал мужик тролля
И молвит троллю:
«Пуцу на волю
Ради такого
Правдивого слова,
Какое своим бесам говоришь».
А тролль ему: «Слышь!»
Мужик отпустил,
А тролля и след простыл.
Поди, скажи, что бес
Соврал да исчез.

Ульрик Фредерик почтительно склонился перед Марией и отошел, не промолвив ни слова.

Она поглядела ему вслед, когда он ступал по полу. И впрямь хороша была у него походка! Ослепительно белые чулки сидели в обтяжку, ни складочки не было видно, ни морщинки. А уж как это красиво выглядела у цыколотки! А длинные узкие башмаки — залюбуешься! И как же завлекательно поглядеть на него! Прежде она никогда не замечала, что на лбу у него был маленький розовый рубец.

Украдкой она глянула на свои руки и чуть-чуть поморщилась: ей показалось, что пальцы коротковаты.

3

Наступила зима. Пришла суровая пора для лесных зверей и птиц полевых. Жалкое было рождество в обмазанных глиной стенах и за ребрами плашкоутов. Западное побережье сплошь было покрыто остатками погибших судов: валялись обледенелые корпуса, мачты, разбитые в щепы, сломанные лодки и мертвые корабли. Все это добро, нанесенное на берег, громоздилось кучей, каталось, терлось и ломалось, превращаясь в бесполезный хлам, смывалось, уплывало или засыпалось песком, ибо море не переставало бушевать, буря и убийственный холод не прекращались, так что добро не давалось людям в руки.

Метель сровняла небо с землей, валила с ног нищету, трепала лохмотья, врывалась в неплотно закрытые двери и в выбитые слуховые оконца, с великими мучениями протискивалась к достатку под двери и на чердаки, поровила забраться под меховые плащи. Нищие и бродяги замерзали под кровом канав и плотин, бедняки помирали от стужи на соломенной подстилке, да и скотине у богатых было немногим лучше.

Потом буря затихала и наступала трескучая морозная тишь. Суровые времена приспели странам и народам: зимняя расплата за летнюю дурь — шведская армия переправилась через датские воды.

Потом наступил мир. За ним и весна пришла, светло-зеленая и погожая. Но в тот год зеландские парни на май не скакали верхом по городу: повсюду кишело шведскими солдатами. Был мир, но все равно чувствовались тяготы войны, и похоже было, что мир этот недолго проживет. Так и вышло.

Когда майская зелень потемнела и зачерствела, обожженная июльскими жарами, шведы двинулись на копенгагенские валы.

Во второе воскресенье августа, после поздней обедни неожиданно распространился слух, что шведы высадились в Корсере.

На всех улицах сразу же сталолюдно. Народ шел спокойно и чинно, но говорили не переставая, говорили все зараз, и звуки голосов и шагов сливались в единый гул, мощный, смутный, жужжащий; ни на минуту не усиливаясь, ни на минуту не ослабевая, он не прерывался, а все длился, длился и длился, подавляя странной, тяжелой монотонностью.

Слух проник в церкви как раз в середине проповеди. Быстрым задыхающимся шепотом перескакивал он из нижнего ряда стульев к кому-то, сидевшему во втором, к трюим в третьем, минуя одинокого старца в четвертом, к тем, что сидели в пятом, и все дальше и выше. Люди, сидевшие в середине, оборачивались и многозначительно кивали задним. На самом верху кое-кто встал и выжидающе смотрел на двери. Немного спустя не было уже ни одного лица, которое смотрело бы на проповедника. Все сидели, опустив голову, словно раздумывая над словами

проповеди, а на самом деле шептались, порой умолкали, на миг прислушивались напряженно к пастору, как бы отгадывая, долго ли еще до конца, и опять перешептывались. Глухой гул толпы на улице был слышен все яснее, слушать его становилось все невыносимее. Прихожане начали тайком совать псалтыри в карманы.

«Аминь!»

Все лица обернулись к пастору. В начале молитвы все размышляли о том, знает ли что-нибудь пастор. Потом молились за царствующий дом, за государственный совет и рядовое дворянство, за всех, кто имел высокий чин или отправлял важную должность, и тут у многих показались слезы. А когда дошло до следующего стиха молитвы, то кое-кто и завсхлипывал, и сотни губ шептали тихо, но внятно:

— Смилуйся, господи, и отврати впредь от сих царств и народов войну и кровопролитие, язву моровую и кончину скоростпжную, голод и недород, грозу и бурю, потоп и пожар, яко же и мы восхвалим и восславим за милость отчую пресвятое имя господне.

Не успел окончиться псалом, как церковь опустела и в ней раздавались лишь звуки органа.

На следующий день народные толпы, которые вновь были на ногах, имели определенную цель, знали, куда им идти, ибо ночью шведский флот встал на якорь у Драгера. Однако в этот день люди волновались меньше уже потому, что всюду стало известно о выезде двух членов государственного совета на переговоры с врагом, и, как говорили, при таких широких полномочиях, что это непременно приведет к заключению мира. Но когда во вторник советники возвратились с известием, что мира не добиться, то наступила внезапная и резкая перемена.

Не стало больше степенно рассуждающих горожан, собиравшихся кучками и встревоженных великими и грозными вестями. Был сущий водоворот странных лиц и фигур, даже подобия которых не было видано в пределах городских стен, и были они совсем непохожи на тех, кто жил в спокойных, благорассудительных и чинных домах со всякого рода приметамн немудреных повседневных ремесел.

Какая страстность в долгополых кафтанах и камзолах в обтяжку! Какой адский шум подняли, как раскричались эти почтенные уста! А эти руки в тесных рука-

вах — как властно они размахались! Никто не хочет быть один, никто не хочет сидеть дома — и вот стоят они посреди улицы в страхе и отчаянии, плачась и сетуя.

Взгляните на этого статного старца с непокрытой головой и глазами, которые налились кровью! Повернувшись землисто-серым лицом к стене, он молотит по ней кулаками. Послушайте, как тучный живодер клянет государственный совет и эту злосчастную войну! Чувствуйте, как на юных ланитах кровь закипает от ненависти ко врагу, несущему с собой все те ужасы, которые пришлось уже теперь претерпеть в воображении.

Как неистово рычат они от бешенства, мня себя беспомощными — боже праведный! — какие моления, какие безумные молитвы!

Повозки останавливаются посреди улицы, прислуга бросает в подъездах и воротах корзины и ведра, там и сям кое-кто выходит из дому, расфрантившись и раскрасневшись. Озадаченные, они озираются, осматривают себя с головы до пят, снуют среди народа и усердно болтают, дабы отвлечь внимание от своего нарядного вида. О чем они думают? И откуда только берутся все эти голодраные пьянчужки? Ими кишмя кишит. Горлают и шатаются, ругаются и валяются, сидят на каменных ступенях лестниц, маются болезнями, заливаются хохотом, гоняются за бабенками и лезут в драку с мужчинами.

Это был первый страх, страх инстинктивный. К полудню он прошел. Людей позвали на валы. Работали там, как на празднике, — видели, как лопата углубляет рвы и повышает брустверы. Мимо прошли солдаты. Подматерья, студенты и челядь, вооружившись тем, что под руку попало, стояли на карауле. Подкатили пушки. По валам проехал верхом король, и было известно, что он останется тут.

Дела пошли на лад, ладными стали и люди.

Днем позже, пополудни, был подожжен посад у Западных ворот. Пожарный чад повалил в город и взбудоражил народ, а когда в сумерках алое зарево осветило обветренные стены Богородицкой колокольни и заиграло на золотых шарах шпиля Петровского собора, то прокатился слух, что враг уже спускается с Вальбю, и тогда словно вздох испуга пронесся по всему городу; по всем улицам, переулкам и закоулочкам звучало испуганно и судорожно: «Шведы! Шведы!» Мальчишки метались по

городу, выкрикивая это пронзительными голосами, люди кидались к дверям и боязливо устремляли взор на запад, лавки запирались, торговцы скобяным товаром торопливо собирали и уносили свою рухлядь, — люди добрые вели себя так, словно ожидали, что вражеское войско вот-вот хлынет в город.

Вдоль вала и в соседних улицах было черным-черно от народа, который глазел на огонь, но многие собрались и в таких местах, откуда пожара совсем не было видно: у потайного хода и у Водомета. Речи там велись разные: прежде всего, когда же шведы пойдут на приступ — нынешней ли ночью или же только завтра.

Герт Пюпер, красильник, живший у Водомета, полагал, что они сразу же двинутся, как только оправятся после марша. С чего бы им мешкать?

Исландский купец Эрик Лауритцен с Красильной улицы полагал, что будет предерзко брать приступом чужой город, когда хоть глаз выколи и не знаешь, где земля, а где вода.

— Вода! — сказал Герт Красильник. — Дай-то, боже, нам и вполонину так ведать наши воинские уряды, как швед их знает. И не говорите мне! У него везде лазутчики; там, где и не подумаешь, и то есть! Так-то-с! Что бургомистру, что совету об том доподлинно известно, потому как спозаранья капралы в жилые и нежилые места понаведались, ищучи изловить соглядатаев. Да поди-ка подстереги его! Швед, он провор, особливо по этой части, знает сию коммерцию. Сплутовать — это у него в крови. Знаю их, на себе изведал. Уж лет десять тому, а я все еще ему не забыл и не забуду плутню эту самую... Индиго краска, изволите видеть, красит в черный цвет, красит и в кубовый, и в голубой, смотря какая протрава. В травлении, значит, вся суть да дело. Наладить красильный котел да варить — это тебе любой подмастерье сумеет, тут только и надобна, что сноровка, а вот травить, да чтобы по всем правилам, — это уже художество. Потравишь покрепче, ах и пережет пряжу или сукно или что там. И пошло ползти по ниточкам. А недотравишь, так краска пипочем не будет держаться, хоть ты самым раздорогим сандалом сандаль. Потому, изволите видеть, травление есть строжайший секрет-с, который никому не поверишь. Сыну — пожалуй, а подмастерьям — ни-ни! Н-е-е-ет!

— Истинно так, мастер Герт, — сказал купец. — Что верно, то верно.

— Ну-с, — продолжал красильник, — как уж я собрался рассказывать, жил у меня в подмастерьях, лет десять тому будет, малый. Мать же у него была родом шведка. И вот удумал он, лукавец, доведаться, что за протраву я для коричневого цвету лажу. А как я протраву всякий раз, замкня двери, отвешиваю, так приступить-то ему было не больно споро. И что бы вы думали мне он подсудобил, стервец этакой? Вы только послушайте! У нас там, у колодца, житья от коньков-скаунков нет: гложут нам кровопийцы и шереть и хлопчатую пряжу. По таковой причине мы, что нам в краску отдают, в аккурате к потолку в парусиновых мешках подвешиваем. Так неужто же этот вражий сып не сыщет работника, чтобы тот его в мешке к потолку подвесил?!

И вот захожу это я, вешаю, смешиваю, лажу, и уж скоро бы мне кончить, а тут и пошла потеха — судорогой свело у него ногу, в мешке-то! И давай он благим матом орать, чтобы, дескать, я его вызволил. Уж я его вызволял, вызволял — так навывзволял, аж сам упарился. А и своего, сучий сын, знать, чуть не добился, чуть было меня не обжегорил. Да, да, да! Чуть не обжегорил! И все они таковы до единого, шведы-то. Им верить ни на грош нельзя.

— Нельзя, ваша правда. Худой народ эти свейские, — заговорил Эрик Лауритцен, — дома зубы на полку кладут, а на чужбине в три горла жрут. Что твои приютские ребята — набивают брюхо с голоду зараз, с теперешнего, с будущего да и с прошлого. Уворовать да урвать почище воронья и висельников умеют. А уж до чего кровожадные! Неспроста говорится: хватается за нож, как швед.

— А до чего распутные! — перебил красильник. — Выпроваживает бабу заплечный кнутом из города, спросят его, что, мол, за паскуда такая, — так ответ тебе один: шлюшка свейская.

— Да, кровь у людей разная и у зверей тоже. Швед, он среди людей все равно что мартышка среди тварей неразумных. И столько у него безудержной похоти и скоропалительности в жизненных соках, что рассудок, коим господь от естества всех людей одарил, не может совладать с дурными страстями и греховными вожделениями.

Красильник кивнул несколько раз головой, соглашаясь с тем, что изрекал купец, а потом сказал:

— Верно, Эрик Лауритцен, верно! Шведы особенной и диковинной породы, не как прочие люди. Зайдет ко мне в лавку иноземец, так я сей же момент нюхом чую, швед он или другого роду-племени. От шведа всегда тухлятиной так и смердит, что от козла иль от рыбного рассолу. Я сам над тем частенько задумывался, однако так оно и есть, как вы толкуете, — вся эта вонища у него от горячительных и скотских соков, право от них.

— А и не диво, — вмешалась стоявшая рядом старуха, — ежели от шведов да турков иной дух идет, чем от крещеных.

— Эх, что ты вздор городишь, Метта Горчичница, — оборвал ее красильник. — Что же, по-твоему, шведы не крещеные, что ли?

— Величайте себе их крещеными, Герт Красильник, величайте, коли вам любо, а только по моему месяцеслову выходит, что финны, поганые да колдуны покои веков не бывали крещеные. И уж истинная правда, что при короле Христiane — царство ему небесное, упокой, господи, его душеньку, — тот самый раз, как шведы в Ютландии стояли, тогда вот и было такое, что целый полк примаршировал в новолунье да в самую полночь и разбежались кто куда, оборотились волками да всякой нечистью и давай скакать, ровно оглашенные, по лесам да болотам, и воют, и воют! А людям и скотине от них напасть была.

— Да ведь они по воскресеньям в церковь ходят, как я об том наслышан. И поны у них есть, и пономари, как и у нас грешных.

— Ишь ты! Еще чего! Так я вам и поверила! Ходят они в церковь, чертово отродье! Так же ходят, как ведьмы по ночам на Лысу гору летают: когда нечистый всеобщую служит. Ей-ей, они заговоренные, право слово, заговоренные! Ни пуля их, ни порох не берет. Да и глаз у них дурной, почитай у каждого дурной глаз. А с чего бы, вы думали, как эти нечистики к нам на порог, так оспа и пойдет косить людей? Отвечайте-ка, господин хороший, мастер красильный! Ответьте мне, коли можете!

Красильник собрался было ответить, но тут Эрик Лауритцен, который стоял, беспокойно оглядываясь вокруг, закричал:

— Типе, Герт Пюпер, т-с-с-с! Кто это такой будет, который вон там вроде проповедь говорит, а народ кругом так и толпится?

Они поспешили присоединиться к толпе, и по пути Герт Красильник поведал, что это, пожалуй, некий Йеспер Ким, что прежде проповедовал у Святого духа, а ныне, как он слышал то от людей ученых, стал не столь тверд в вере, сколько сие подобает спасению души и духовному сану.

Это был догообразный человек лет тридцати с длинными гладкими черными волосами, плоским лицом, мясистым носиком, острыми карими глазками и багровыми губами. Он стоял на ступенях крыльца, сильно жестикулируя, и говорил быстро и увлеченно, но шепелявя и заплетаясь:

— В главе двадцать шестой, стихи 51—54, так пишет евангелист Матфей: и вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо. Тогда рече Иисус: вложи меч свой! Ибо подъявший меч от меча и погибнет. Или мыслишь, что я не могу теперь умолить отца моего и он представит мне более нежели двенадцать легионов ангелов? Но как же исполнятся писания? Все так и сбудется.

Да, дражайшие соотечественники! Все так и сбудется. Вот стоит пред жалкими стенами и слабою крепостию града сего рать могучая, воинство всеоружное, а царь его и военачальник отверз уста и указал и повелел огнем и мечом, приступом и осадю подчинить себе град сей и сущих в нем и взять их в подданство и в рабство.

А те, кто в городе и видят, что благоденствие их под угрозою немилосердною и разорение их предрешено, хватаются за оружие, тащат на валы мортиры и прочий погибельный воинский припас и уговаривают себя, говоря: не пристало ли нам огнем пылающим и мечом сверкающим ударить на нарушителей мира, столь решительно ищущих погубления нашего? Чего же ради царь небесный пробудил в груди человеческой кураж и неустрашимость, как не того ради, дабы этакому ворогу противоборствовать, одолеть и сокрушить его? И, яко апостол Петр, извлекают они меч свой, ища отсечь Малху ухо его. Но речет Иисус: вложи в ножны меч свой, ибо подъявший меч от меча и погибнет. Пусть диковинно звучат речи

такие неразумию гневливых и скудомыслием предстают незрячей слепоте ненавидящих! Но слово есть не кимвал бряцающий, дабы только внимали его. Подобно трюму корабельному, нагруженному многими вещами преползными, нагружено слово разумностию и размышлением, ибо слово есть путь ко разумению и пониманию. А посему да углубимся в слово и преуспеем в отыскании, как же его толковать подобает. По какой причине мечу оставаться в ножнах, а подъявшему меч от меча и погибнуть? Надлежит нам обдумать это по трем статьям.

Согласно статье первой, человек есть премудро и несравненно великоленно благоустроенный микрокосмос, сиречь говоря земля малая, мирок и добра и зла. Ибо если, по слову Иакова апостола, один язык, и тот есть целый мир неправды, то как же не быть миром и всей плоти нашей — очам вожделеющим, стопам проворным, рукам загребушим, и чреву ненасытному, и коленям преклоненным, и ушам внемлющим? А ежели тело есть мир, то как же не быть миром драгоценнейшей и бессмертной душе нашей, не быть ей садом, исполненным сладкого и горького зелия, садом, где во множестве, аки дикие звери свирепые, пребывают злострастия и аки агнцы белые — добродетели?! И надо ли того, кто такой мир погубляет, почитать иначе, нежели поджигателем или насильником или же татем рыночным? А вам ведомо, какую кару такому положено вынести и претерпеть.

Тут уже совсем стемнело, и толпа вокруг проповедника виднелась лишь как огромная, черная, слабо колышавшаяся и постоянно возрастающая масса.

— Согласно статье второй, человек есть микрофеос, то есть отражение или подобие господя всемогущего. И не должно ли того, кто на подобие господня руку поднимет, почитать злее тех, кто во храме крадет сосуды священные и ризы или же насильем дом господень ограбляет? А вам ведомо, какую кару такому положено вынести и претерпеть.

Гласит же статья третья и последняя, что имеет человек долги перед господом и обязан за него воинствовать и сражаться, облеченный светлою бронею жизни непорочной и препоясанный разящим мечом правды. Удел ему, так вооруженному воину господню, сражаться, разрывая глотку адову и попирая чрево сатанинское. Посему надлежит нам вложить в ножны меч плотский, ибо несть

сомнения, что вдосталь еще придется нам потрудиться мечом духовным.

Было видно, как с обоих концов улицы то и дело подходили люди, которые возвращались домой, освещая себе дорогу ручными фонариками. Набредая на сборище, они становились в передние ряды, и вскоре образовался извилистый полукруг из мигающих огоньков, которые гасли и вспыхивали, смотря по тому, как двигались люди. Нет-нет да и поднимался какой-нибудь фонарь вверх, и свет его тревожно трепетал, обшаривая беленые стены и темные окна домов, пока не успокаивался на строгом лице проповедника.

— «Но как? — скажете вы в сердце своем, говоря. — Неужели же мы, связанные по рукам и по ногам, сами должны предаться врагу, в рабство горестное, на поношение и унижение?» О, чада мои возлюбленные! Не говорите так! Ибо тогда можно почесть вас за тех, кто думает, что Иисус Христос не смог бы умолить отца своего представить более нежели двенадцать легионов ангелов. О, не впадайте в уныние, не роищите в сердце своем противу промысла господня! Да не будет совесть ваша нечиста противу воли его. Ибо кого захочет господь порадовать, раздавлен будет, а кого захочет вознести, пребудет во благоденствии. И есть он многими путями нас выводящий из пустынь и дебрей погибели. Не может он, что ли, обратить сердце вражеское, не он ли напустил ангела смерти на стан Сеннахерибов? Ужели забыли вы всепоглощающие воды Черного моря или же скоростижную гибель царя Фараона?

Здесь Йеспера Кима прервали.

Толпа слушала его сначала довольно спокойно, только из передних рядов нет-нет да и вырывалось приглушенное, угрожающее бормотанье. А тут пронзительный голос Метты Горчичницы врезался в его речь:

— У, ты, чертов посланец! Замолчишь ли ты, пес окаянный? Прямой ты пес! Не слушайте его, шведские дежки из него говорят.

На миг стало тихо, но потом разразилось: брань, издевки и проклятия посыпались на проповедника. Он попытался говорить, но тогда крики стали еще громче, а люди, стоявшие у самой лестницы, начали угрожающе напирать на него. Седой старичонка, который стоял совсем рядом с ним и проплакал всю проповедь, теперь,

разгорячившись, пхнул в него длинной тростью с серебряным набалдашником.

— Долой его! — раздавалось кругом. — Долой его! Пускай отречется от того, что говорил! Пускай признается, сколько получил, чтобы сбить нас с толку! Долой его! Тащи его сюда на дознание! Мы у него живо подготовную допытаем.

— В подвал его! В подвал! — кричали другие. — В магистратский погреб! Стаскивай его! Стаскивай сюда!

Несколько верзил уже сгребли его. Несчастный крепко уцепился за перила лестницы, тогда парни понатаужились и столкнули его вместе с перилами на улицу, прямо в толпу. Его встретили пинками и кулаками. Бабы вцепились ему в волосы, рвали одежду. Мальчишки, совсем еще карапузики, которые держались за отцову руку, запрыгали от радости.

— Дайте пройти Метте! — закричали задне. — Отойти! Отойти! Метта вчинит ему дознание.

Метта вышла вперед.

— Заткнешься ты со своей чертовой проповедью? Заткнешься или нет, ирод ты окаянный?!

— Ни за что, ни за что! Должно повиноваться богу, более, нежели человекам, как сказано в писании.

— Должно? — сказала Метта и, сняв деревянный башмак, погрозила им проповеднику. — А деревянные башмаки у людей на что? Вот он, башмачок-то! Сатания ты наемник, а не господень. Исколочу я тебя, как бог свят, исколочу, так исколочу, аж мозги вои на ту стенку вылетят.

И стукнула его башмаком.

— Не берите греха на душу, Метта! — простонал магистр.

— А, нечистый тебя распро... — завопила она.

— Тише! Да тише вы! — послышались крики. — Поберегись! Не напирай! Не напирай! Гюлленлёв сюда едет, генерал-лейтенант!

Высокая фигура всадника двигалась мимо них.

— Многая лета Гюлленлёву! Удатому Гюлленлёву! — рычала толпа. Замахали шляпами и шапками, и крикам не было конца. Потом фигура направилась к валу.

Это был генерал-лейтенант ополчения, полковник от инфантерии и кавалерии Ульрик Христиан Гюльденлеве, сводный брат короля.

Толпа рассенвалась, людей становилось все меньше и меньше, и вскоре осталось совсем немного.

— А прекуррьеэно, однако, — сказал Герт Красильник. — Вдребезги разбиваем голову тому, кто толкует о замирении, и орем аж до хрипоты «ура» тому, кто больше всех в войне повинен.

— С богом, Герт-Пюнер, с богом! И пошли он вам доброй ночи! — сказал, прерывая его, купец и поспешил прочь.

— Это он об Меттином башмаке помнит! — пробормотал красильник. Потом и сам ушел.

На лестнице же одиноко сидел Йеспер Ким и держался за трещавшую голову, а по валу медленно прохаживались дозорные, вглядываясь в темный берег, где было тихо, совсем тихо, хотя тысячи врагов стояли там лагерем.

4

Полосатое оранжевое зарево вознеслось над серой как море отмелью тумана на горизонте, и воздух над заревом загорался нежным золотисто-розовым пламенем, которое, ширясь и ширясь, бледнея и бледнея, дотянулось до узкого продолговатого облачка, ухватилось за его волнистую кромку, и стало облачко золотым, раскаленным, слепящим.

На Каллебостранде было светло от фиолетовых и красноватых отблесков из облаков в солнечном углу. Искрилась роса в высоких травах на Западном валу, и воробьи по садам и по крышам чирикали так, что в воздухе стоял сплошной переливчатый звон. Из садов узкими полосками шел еле уловимый парок, а увешанные плодами ветви медленно клонились, когда подувало с Зунда.

Тягучий, трижды повторенный трубный сигнал прозвучал у Западных ворот, и на него ответили из других концов города. Оживленные заходили одинокие дозорные на своих постах вдоль вала, отряхали плащи и поправляли шапки: ведь скоро смена караула!

На ближайшем к Западным воротам, северном бастиионе стоял Ульрик Фредерик Гюльденлеве и смотрел на белых чаек, которые, как парусники, скользили и вздымались над водной гладью, блестящей во рву у вала.

Легучие и легкие двадцатилетние воспоминания, то тусклые и туманные, то красочные, жаркие, совсем как

живые, пронеслись в его душе. Являлись они в душном запахе роз и со свежим духом лесов, долетали охотничьим гиканьем, звучанием скрипок и прибоем хрустящего шелка. Потянулись мимо детские годы в голштинском городке с красными крышами и, озаренные солнцем, ушли далеко, миновали. Он видел высокую фигуру матери, фру Маргариты Паппе, и черный Молитвенник в ее белых руках, видел он матушкину веспушчатую горничную с узкими лодыжками и опухшего фехтмейстера, сизо-багрового и кривоногого. Прошлы мимо Готторповский сад, а вот и луга со свежими стогами у самого фьорда. И стоял там егерев косолапый Генрих, который умел петухом петть и еще так бесподобно гонять по воде блинчики. Появилась церковь с ее странным полумраком, стонущим органом, с такой таинственной железной решеткой у часовни и тощим Христом, в руке у которого был красный флажок.

У Западных ворот вновь протрубили сигнал, и тут же ударило сквозь тучи солнце, пронзительное и ярое, и разогнало туманы и мглистые тона.

Потом была охота, на которой он застрелил своего первого оленя, и старый фон Детмер помазал ему лоб кровью, а столпившиеся егеря остервенело трубили в фанфары. Потом букет для Малены, дочки дворецкого, и серьезное объяснение с гофмейстером, а потом путешествие за границу с первой дуэлью росистым утром, с касками звонкого смеха Анетты, с балетом у курфюрста и одинокой прогулкой за городскими воротами, когда голова трещала с первого похмелья. Потом потянулся золотой туман со звоном кубков и винным ароматом, и была там Лисхен, и была там Лотта, был там и белый затылок Марты и пухлые плечи Аделаиды. Наконец, поездка в Копенгаген, милостивая аудиенция у царственного отца, дни суетливо скучной придворной жизни и разгульные ночи, когда рекой лилось вино и бушевали поцелуи, прерываемые веселым гамом роскошных охотничьих праздников и нежнейшим шепотом ночных рандеву в саду у Ибструпа или в раззолоченных залах Хиллередского дворца.

Но куда яснее всего этого видел он ягучие черные глаза Софии Урне, куда больше был захвачен воспоминаниями о ее сладострастно-мягком прелестном голосе, который, затихая, увлекал, словно охватив белыми руками,

а повышаясь, взвивался пичужкой, которая, поднимаясь
вывсь, все дразнит и дразнит задорным щебетом, а сама
улетает.

Шорох в кустах на откосе вала пробудил его от грез.

— Кто идет? — крикнул он.

— Да я это! Даниэль, господин Гюллеплеу,¹ Даниэль
Кнопф, — послышался ответ, и подагрический человечек
вышел из кустов и поклонился.

— Как?! Карла! Какого черта, чума тебя побери, ты
тут делаешь?

Человечек уныло смотрел в землю.

— Ох, Даниэль, Даниэль! — сказал Ульрик Фредерик и улыбнулся. — Досталось тебе нынешней ночью в
«Пещи огненной»; видать, немецкий пивовар лишнего под-
пустил тебе огоньку.

Подагрик принялся карабкаться по откосу.

Даниэль Кнопф, которого называли также из-за его
телосложения Карлой-Недомерком, был богатый оптовый
торговец, лет двадцати с небольшим, не менее известный
богатством, нежели острым языком и умением фехтовать.
Он много общался с молодыми дворянами, то есть с опре-
деленным кружком, который был известен под названием
*cercle des mourants*² и образовался по преимуществу из
молодых людей, стоявших ближе всего ко двору. Ульрик
Фредерик был душой этого кружка, который был скорее
кружком жизнелюбов, чем мудролюбов; слава у кружка
была скорее дурная, чем добрая, но, в сущности говоря,
вызывал он восторгов и зависти не меньше, нежели воз-
мущения.

Не то в гофмейстерах, не то в шутах ходил Даниэль
у этих людей. Он не встречался с ними в дворянских до-
мах или на людных улицах, зато на фехтовальном плацу,
в питейных заведениях и трактирах без него не обходи-
лось. Никто не умел столь методически и на ученый лад
рассуждать об игре в мяч и выучке собак или столь уми-
лительно говорить о финтах и парадах. Лучше его никто
не знал вин. У него имелись глубокомысленные теории
игры в кости, а равно и любовного искусства, и он умел
пространно и на ученый манер толковать о неуместности

¹ Гюллеплеу — народная и поэтическая форма фамилии
Гюльденлёве. (Примечание переводчика.)

² Кружок умирающих (франц.).

скрещивания отечественных кобыл с зальцбургскими жеребцами. Наконец, знал анекдоты обо всем, и, что чрезвычайно импонировало другим молодым людям, у него были твердые суждения обо всем.

К тому же, он был в высокой степени покладистый и услужливый, никогда не забывал о различии между собой и дворянами, и выглядел он так чудно и уморительно, когда они, бывало, расшалившись или с пьяных глаз, вырядят его на тот или иной дурацкий манер. Нимало не сердясь, он позволял себя отлаять на чем свет стоит и вообще был так добродушен, что иной раз жертвовал собою, лишь бы этим приостановить разговор, который начинал принимать оборот, угрожавший миру на пирушке.

Это-то и давало ему возможность знаться с такими людьми, а он *должен* был с ними знаться. Для него, увечного плебей, дворяне были полубогами, только они и жили, только их тарабарский язык и был речью человеческой, лишь их бытие утопало в свете дня и море благовоний, а другие сословия влачили существование в серой мгле и смрадном чаду. Он клял свое плебейское происхождение, считая его куда большим несчастьем, чем свое увечье, и наедине с собой сокрушался так ожесточенно и яростно, что это уже граничимо с безумием.

— Ну, Даниэль! — сказал Ульрик Фредерик, когда коротышка взобрался к нему. — Видно, густоват туман нынче ночью у тебя в глазах стоял, поелику тебя сюда на всех парусах пригнало и ты здесь, у Западного вала причалил. Или же настоечка стояла вечер на таком высоко-превысоком уровне, что я вижу тебя здесь, просохшего и возлежащего на покое, яко Ноев ковчег на горе Араратской?

— Принц Канарийский, бредить изволите, ежели полагаете, что прошлую ночь я был с вами в компании.

— Так что с тобой, какого дьявола тебе надо? — крикнул нетерпеливо Ульрик Фредерик.

— Господин Гюлленлеу! — ответил Даниэль уже серьезно и поднял на него взор, полный слез. — Пропащий я человек!

— Купчишка ты, мелочишка и больше ничего! Право, купчишка паршивый! Не за шхуну ли свою с селедками трясешься, что у тебя ее швед заберет? Или прискорбно стало, что в негодии твоей застой будет, шафран силу потеряет, а перец да кардамон плесневеть начнут? Эх ты!

Конечная твоя душа! Словно бы честному гражданину другой заботы нет, как думать да тосковать, а не порушат ли у него к чертовой матери его скарбишко, когда тут гибелью пахнет и королю и королевству!

— Господин Гюлленлеу!

— А, не канючь! Проваливай к дьяволу со своим нытьем!

— Нет, господин Гюлленлеу! — произнес Даниэль торжественно и отступил на шаг. — Ибо не сетую я ни на убытки по нашей торговой части, ни на денежный ущерб или что деньги ценность потеряют. На лешего мне сдались селедка да шафран?! Грош им цена! Но чтобы и офицеры и простой народ да гнали меня, как прокаженного или как бесчестного гражданина, — это уж, господин Гюлленлеу, просто грех! Потому я и провалялся всю ночь в траве, скуля,



как пес паршивый, которого из дому вышвырнули. Оттого-то и скорчился и скрючился, как самая поганая тварь ползучая. Во скорби и немощи своей воззвал я к отцу небесному и тяжбу с ним завел — почто же единственно меня должно презирать и отвергать? Почто же руку мою должно считать отсохшею и ни к оружию, ни к стрельбе не годною, а в это самое время и челядь и подмастерья вооружаются...

— Да кто же, сатаны и славы его ради, протурил тебя?

— Да вот, господин Гюлленлеу, побежал я себе на валы, как и прочие все бежали. Зайду с одного боку — говорят, что у них и без меня довольно, зайду с другого — издеваются, что они, дескать, горожане, люди простые, а их благородиям, господам дворянам и знатным особам, тут места мало будет, ну и почище того брехали. А в иных местах и так говорили, что калек и знать не хотят, потому как от них-де одна беда, да и пули за ними следом летают, а у них у самих никакой-де охоты нету понапрасну жизнь и здоровье на азарт пускать, взяв к себе человека, которого сам господь бог заклеил. Домогался я после того у генерал-майора Алефельдта, чтобы меня на какой-нибудь пост определили, а он знай только головой качает да посмеивается: дело, дескать, еще не из рук вон плохо, чтобы затыкать строй обрубками да недомерками, от которых одна помеха, а не подмога.

— А что же ты не сходил к офицерам, знакомцам твоим?

— И к ним ходил, господин Гюлленлеу. Сразу же о серкле нашем вспомнил и побеседовал с двумя умиранами, с Подподольным царем и с Позлащенным рыцарем.

— Ну и помогли тебе?

— Уж так ли, господин Гюлленлеу, помогли, так помогли, господин Гюлленлеу, что накажи их за это господь! Даниэль, сказали они, ступай-ка домой, Даниэль, да знай себе сливы-вишни посасывай! Они, дескать, думали, что у меня политесу станет, чтобы не являться к ним сюда и паяса корчить. Одно дело, что я им в комедианты и шуты гороховые на веселом попивоне гош, ну, а коли они при службе, так чтоб и духу моего тут не было. Ладные ли то речи, господин Гюлленлеу? Нет, грешно

этак, право грешно! А что они в питейных со мной запросто якшались, так не затем, что за своего почитали, чтобы мне, дескать, к ним сюда приходиться, возомня, что будут со мной знаться и водить компанию, когда должность отправляют. Пренавязчив стал я им, господин Гюлленлеу! Мне бы и думать не след, что я могу к ним сюда, на этом самом месте, в компанию затесаться: здесь им потешных дел майора не надобно. Вот что сказали они мне, господин Гюлленлеу! А ведь чего я добивался? Только и просил, чтобы жизнь свою отважить бок о бок с прочими градскими людишками.

— Н-да... — сказал Ульрик Фредерик, позевывая. — Понимаю, обидно тебе, что во всем этом деле без тебя обходятся. Да к тому же, верно, и впрямь скучновато покажется сидеть да потеть за прилавком, когда судьба королевства решается здесь, на валах. Что ж, и тебя возьмем в дело. Ибо... — Он недоверчиво смерил Даниэля взглядом. — А тут нет подвоха, мастер, а?

Малышка затопал о землю от ярости. Побледнел он как белая стена и заскрежетал зубами.

— Ну, ну, полно! — продолжал Ульрик Фредерик. — Верю тебе. Но ведь не можешь же ты притязать на то, чтобы тебе верили, как если бы ты имел право дать честное слово дворянина. Да помни: свои же тебя первые отвергли и... Чу!

Прогремел выстрел с одного из бастионов у Восточных ворот, первый за эту войну.

Ульрик Фредерик выпрямился, кровь бросилась ему в лицо, взгляд жадно и восхищенно следил за белым дымком, и когда заговорил, то в голосе у него была какая-то странная дрожь.

— Даниэль, — сказал он, — не позже полудня можешь мне доложиться да не думай о том, что я тебе говорил.

И он быстро зашагал по валу. Восторженно смотрел ему вслед Даниэль, потом вздохнул глубоко, сел на траву и заплакал, как плачет несчастный ребенок.

Было за полдень. Сильный порывистый ветер дул на улицах и завивал тучи из стружек, соломинок и пыли, кружа и перекидывая их с места на место. Он срывал черепицу, загонял дым в трубы и баловался с вывесками. Темными дугами взметывал в воздух длинные кубовые

знамена красильщиков, шелкая имп, как кнутом, извивал их черными зигзагами и гудел, захлестывая их вокруг раскачивающихся шестов.

Колеса прялочников вертелись взад и вперед, вывески скорняков бились лохматыми хвостами, а ослепительные стеклянные солнца стеклодувов мотались в сумбурной тревоге и взблескивали наперебой с отполированными тазами цирюльников.

На задних дворах хлопали двери и оконца, куры спасались за бочками и сараями, и даже свиньи в свишарниках тревожились, когда ветер свистал сквозь светлые от солнца щели и пазы.

Несмотря на ветер, морило от зноя. Жару нагоняло сверху. Сидя в домах, люди зевали и пыхтели от духоты, и только мухи оживленно жужжали в распаренном воздухе.

На улице было невмочь, а в пристройках сквозило. Поэтому все, у кого были сады, перебирались туда. В большом саду на задах усадьбы Кристоффера Урне, на Вертоградской улице, в тени одного из больших кленов сидела девушка.

Сидела и шила.

Высокая стройная фигура была почти чахлой, грудь же была широкая и пышная. Цвет лица был бледный и становился еще бледнее от пышных черных кудрявых волос и пугливых громадных черных глаз. Нос был острый, но изящный, рот большой, но не грубый, а улыбка отдавала какой-то болезненной сладостностью. Губы же у нее были ярко-красные, подбородок островат, но все-таки крепкий и четкой формы. Платье на ней было не бог весть какое: старая роба из черного бархата, с поблекшей золотой вышивкой, новая зеленая поярковая шляпка с большими белоснежными страусовыми перьями и кожаные туфли с порыжелыми носками. Волосы у нее были в пуху, ни воротник, ни узкие белые руки не отличались чистотой.

Это была София, племянница Кристоффера Урне.

Отец ее, государственный советник и маршал Йёрген Урне, помещик из Альслеу, кавалер ордена Слона, умер, когда она была ребенком, а мать, фру Маргрета Марсвин, — несколько лет спустя. Поэтому ее приютил старый дядюшка, и, поскольку он был вдовец, она, во всяком случае по званию, числилась хозяйкой в доме.

Сидела она и шила и мурлыкала песенку, покачивая в такт туфелькой на кончике ноги.

Над головой у нее гудели, как буруны, и метались от сильного ветра густолиственные кроны. Высокие мальвы, словно одержимые безумием, бешено размахивали цветистыми набалдашниками, вычерчивая неровные дуги, а малинник, малодушничая, гнул спину и запрокидывался светлой изнанкой листвы, при каждом порыве ветра меняя окраску. Сухие листья стремительно плыли по воздуху, трава вплотную прижималась к земле, а на кусте таволги, на светлой волне зелени качалась белая цветочная пена, то вскипая, то рассыпаясь.

Потом ненадолго все затихло, все распрямилось, как бы еще трепеща от страха, и, не дыша, замерло в ожидании. А в следующий же миг, визгливо заголосив, снова накинудся ветер, и тревожный вал, бурля, клокоча и блистая, буйными переливами загудел, завыл и опять неудержимо разбежался по саду.

Филлис в лодочке сидела,
Но как только задудела
Коридонова свирель,
Так весло из рук ушало
И челнок попал на мель,
И челнок пошал...

От калитки в другом конце сада шел Ульрик Фредерик. София удивленно поглядела туда, снова склонилась над шитьем и продолжала напевать.

Ульрик Фредерик лениво брел по дорожке, то и дело останавливался, смотрел на цветы — в общем, притворялся, что не заметил в саду никого. Потом свернул на боковую тропку, стал за большим кустом жасмина и оправил мундир и пояс, снял шляпу и взъерошил волосы. И тогда отправился дальше.

Тропка шла полукругом и выводила прямо к Софии.

— А, здравствуйте, йомфру София! — воскликнул он, совершенно изумленный.

— Здравствуйте! — сказала она спокойно и приветливо, нерешительно воткнула иглу в шитье, разглядила его рукой и, улыбнувшись, подняла глаза и кивнула. — Будьте гостем, господин Гюлленлеу!

— Das kenn' ich blindes Glück,¹ — сказал он, кланяясь. — Я чаял застать здесь только вашего кузена, сударыня.

София быстро взглянула на него и улыбнулась.

— Его тут нет, — сказала она и покачала головой.

— Да, нет, — промолвил Ульрик Фредерик и потупился.

После небольшой паузы София вздохнула и сказала:

— Как, однако, парит нынче!

— Да, парит! Похоже, что быть грозе, ежели ветер уймется.

— Да-а! — протянула она и в задумчивости стала смотреть на дом.

— Выстрел нынче поутру изволили слышать? — спросил Ульрик Фредерик и выпрямился, словно давая понять, что собирается уйти.

— Да уж, до чего же тяжкие времена приспели нам в нынешнее лето! Того и гляди ума лишиться, как подумаешь, что грозит людям да и имению их. А ежели есть у кого столько милой сердцу родни и добрых друзей, как у меня, которые все к тому же попали в эту злополучную affaire² и подвергаются опасности либо жизни лишиться, либо покалечиться, или же все достояние потерять, так поневоле всяческие странные и жалостные мысли в голову приходят.

— Нет, ненаглядная йомфру София! Вы не должны, ради всего святого, проливать слезы. Вы изображаете себе все чересчур мрачно.

Toujours Mars ne met pas au jour
Des objets de sang et de larmes,
Mais...

И он схватил ее за руку и поднес руку к губам.

...toujours l'Empire d'amour
Est plein de troubles et d'alarmes.³

София простодушно посмотрела на него.

Ну, не красавица ли она была! Властная, всепогло-

¹ Это называется нежданно-негаданно повезло (нем.).

² Историю (франц.).

³ Не всякий день тела в крови
Нам Марс дает на обозренье,
Но что ни день, в стране Любви
Царят тревога и смятенье (франц.).

ищающая ночная тьма очей, откуда свет дневной извергался мельтешащим роем вспышек, подобно черному алмазу, играющему на солище. Мучительно прелестный изгиб губ, горделивая лилейная бледность щек, медленно исчезающая в золотисто-розовом румянце, словно облачко, озаренное утренним солнцем, и тонкие виски в темных прожилках, как гладкие лепестки, которые таинственно терялись в темных волосах...

Рука ее дрожала в его руке, холодная как мрамор. София тихонько потянула ее и потупилась. Шитье соскользнуло у нее с колен.

Ульрик Фредерик опустился на одно колено, чтобы поднять, да и остался в этой коленапреклоненной и согбенной позе.

— Йомфру София! — сказал он.

Она положила ему ручку на рот и смотрела на него с прежней серьезностью, чуть ли не мучительно.

— Ульрик Фредерик, милый! — умоляла она. — Не поймите меня в превратном смысле, если я заклинаю вас не давать себя увлечь мгновенному чувству, чтобы не вызвало оно перемены в приятных септиментах, которые досель между нами были. Добра от сего не будет, а лишь будет нам досадно и огорчительно. Оставьте же неразумную позытуру, встащите и сядьте учтивым манером рядом со мной, вот сюда, на скамейку, дабы могли мы побеседовать со всею спокойностью.

— Нет, сей же час хочу раскрыть книгу судеб моих, — сказал Ульрик Фредерик, не вставая с колен. — Верно, мало вам ведомо, какой великой амурной страстью я к вам пылаю, ежели вы могли помыслить, что удовольствуюсь быть попросту другом вашим. Ради Христа и всех святых, не верьте тому, что никак, ну решительно никак невозможно. Любовь моя к вам не какая-нибудь там искорка или дымящийся уголек, который вы можете дыханием уст ваших раздуть или затушить, как вам заблагорассудится. Par dieu!¹ Она пламень и всепожирающий огонь, но в вашей воле, будет ли он разнесен и разметан на тысячи буйных вспышек и блуждающих зарниц, или же будет гореть спокойно, грея и вздымаясь к небесам.

¹ Клянусь богом! (франц.)

— Но, милый Ульрик Фредерик, будьте же милосердны и пожалейте меня. Не вводите во искушение, которому я, может быть, и воспротивиться не смогу, ибо верьте, милы вы и дороги моему сердцу, но как раз по сей причине буду я до крайности упорствовать, дабы не поставить вас в фальшивую и безрассудную позицию, которую вы *fideliſter*¹ никоим образом удерживать не сможете. Вы, пожалуй, лет этак на шесть моложе меня, самое меньшее, и то, что в моей персоне нынче вам прельстительно, старость может с легкостью обезобразить или превратить в омерзительное. Да, улыбайтесь себе, но предположите-ка, что вы, когда вам минет тридцать, таскаете всюду за собой морщинистую ведьму в чине дражайшей супруги, которая мало что принесла вам в приданое, да и ни на какой другой манер вашему карьеру не способствовала. Не думаете ли, что тогда вы пожалели бы, что не женились, когда вам было двадцать, на молоденькой из княжеского роду, как то вам и по возрасту и по рождению паче всего приличествовало, и она авансировала бы вас не в пример лучше, нежели заурядная дворяночка? Ульрик Фредерик, душа моя, спроси вы у своих высокородных родственников, они сказали бы вам то же самое. Но не сказали бы вам, что, приведя в дом девицу из дворянок старше вас, она замучила бы вас до смерти ревностью. Ревновала бы ко всякому вашему взгляду и даже к самым потаенным мыслям вашим. Ибо как раз потому, что она знала бы, сколько вы упустили, дабы изловить ее, и тщилась бы изо всех сил сотворить из любви своей для вас всю вселенную. Верьте мне, она окружила бы вас своей идолопоклоннической любовью, как чугунной решеткой, а приметь она, что вам хоть на минуту на волю захотелось, так и терзалась бы днем и ночью, отравляя вам каждый час своей неутешной печалью.

Она встала и протянула ему руку.

— Прощайте, Ульрик Фредерик! Горше смерти мне паша разлука, но пройдут года, и стану я поблекшей старой девицею или пожилою супругою какого-нибудь старика, тогда вы сами удостоверитесь, что София Урне правду говорила. Да хранит вас десница господня! Помните ли гишпанскую книгу, роман гишпанский, то место, где писано об индийском ползучем растении, которое в

¹ Верой и правдой (лат.).

молодости находит себе опору в дереве, но продолжает обвиваться вокруг него и много времени спустя, как дерево сгниет и погибнет, и напоследок только им и держится, иной опоры не имея. Поверьте, Ульрик Фредерик, что и всем помыслам моим любовь ваша будет поддержкою и опорой еще долго после того, как она увянет и развеется.

Она посмотрела ему прямо в глаза и повернулась, чтобы уйти, но Ульрик Фредерик крепко держал ее за руку.

— Вы что же, хотите довести меня до полного и совершенного бешенства? Ужели надо говорить, что теперь, когда я знаю, что любим тобой, никакая сила на свете не сможет нас с тобой разлучить? Ужели ты не чуешь, что безрассудно говорить о том, что мы хотим, ты или я? Разве же не упоена моя кровь тобою? Разве владею я теперь сам собой? Я помешался на тебе, и если бы ты сей же час отвратилась от меня душой, все едино ты должна была бы стать моей, наперекор тебе, наперекор мне! Люблю тебя до ненависти! О твоём счастье я и не помышляю. Что мне до того, будешь ли ты счастлива или несчастлива, — лишь бы мне радоваться твоей радостью, лишь бы мне твоею мучиться мукой, лишь бы мне...

Он рванул ее к себе и притиснул к груди.

Медленно подняла она голову и долго смотрела на него заплаканными глазами, потом улыбнулась: «Тогда будь по-твоему, Ульрик Фредерик!» — и страстно поцеловала его несколько раз подряд.

Через три недели с великой пышностью была отпразднована помолвка. Король охотно дал согласие, чтобы положить-таки конец разгульному холостячеству Ульрика Фредерика.

5

После крупных вылазок второго сентября и двадцатого октября весь город славил Ульрика Христиана Гюльденлеве, Чертова полковника, как его называли горожане. Его имя было у всех на устах. Не было в городе такого ребенка, который не знал бы Белларину, его рыжую кобылу с белыми бабками, и, когда он проезжал по улице, копенгагенские девчоночки с восхищением оглядывали его стройную высокую фигуру в широкополом голубом гвар-

дейском мундире с огромными белыми обшлагами, красным шарфом и португеей шириной в пядень. И гордились, если их личики удостаивались кивка или взгляда дерзкого солдата. И даже сами степенные отцы семейств и матроны в гофрированных чепцах, зная, что он за птица, и ведая про его амурные забавы, при встрече с ним тем не менее, довольные, кивали друг другу и углублялись в труднейший вопрос — какво пришлось бы городу, не будь его, Ульрика Христиана.

А в том, что солдаты и ополченцы боготворили его, не было ничего удивительного, ибо он обладал в той же мере, как и его отец, король Христиан, даром привлекать и покорять народные сердца. Но и в других отношениях унаследовал он многое; ему передались отцовы вспыльчивость и невоздержанность, но с ними же и часть его талантов — находчивость и сметливость. К обинякам он не привык и был весьма прямодушен. Многолетнее пребывание при чужеземных дворах не сделало из него придворного, да и воспитания он был не очень-то порядочного: в обыденной жизни до обидного перазговорчив, а на службе рта не раскроет, чтобы не чертыхнуться и не обляяться, как последний матрос.

Но уж солдат он был так солдат. Несмотря на молодые годы (ему было только двадцать восемь лет), он наладил оборону города и руководил опаснейшими, но важными вылазками с таким превосходным пониманием дела и такой зрелостью планов, что вряд ли оборона была бы лучше в руках кого-либо из других подданных Фредерика Третьего.

Понятно, что имя Ульрика Христиана затмевало все прочие и что виршеписцы в своих стихотворных отчетах о вылазках восклицали, обращаясь к нему: «Победоносный Гюлленлеу, отечества спаситель!» — или приветствовали его:

«О, славься, полупощный Марс,
Давид отважный датский!»

и желали ему, чтобы жизнь его стала подобной *cornu copiae*, сиречь рогу изобилия, исполненному хвалы и славы, здравия, благоденствия и счастья. И было вполне естественно, что не одна тихая вечерняя молитва заканчивалась мольбой к богу спасти и сохранить и ныне и присно господина Ульрика Христиана. Находились даже и такие праведные души, которые с воздыханием молили

господа, да уведет стопы его со скользкой дворянской стези греховной и отвратит помыслы его ото всего дурного и обратит их к сияющему нимбу добродетелей, дабы тот, кто полною мерою добыл себе славу мира сего, причастился бы единственной истинной и праведной славе.

Марию Груббе очень занимал этот близкий тетушкин родственник. Ей все как-то не доводилось встретиться с ним ни у госпожи Ригитце, ни в другом месте. Видела она его лишь на улице, один раз, в сумерки, когда ей показала на него Люси.

Все говорили о нем. Почти каждый день рассказывали ей новые подробности о его храбрости. Она и слышала и читала, что он — герой, а рокот ликования, пронесшийся в толпе в тот сумеречный час, когда он проскакал мимо, произвел на Марию неизгладимое впечатление.

Великое имя, имя героя, вознесило его над толпами заурядных людей. Она, в сущности говоря, никогда и не представляла себе, что герои впрямь существуют, как и другие люди. Вот царь Александр Македонский, Ольгер Датский, рыцарь Баярд и им подобные, вот это были герои так герои! Великие, далекие, блистательные фигуры, которые скорее были образцами или чем-то вроде того, нежели людьми, как все прочие. И подобно тому, как она, будучи поменьше, никогда не думала, чтобы кто-то мог научиться писать столь же красиво, как написано в прописях, так ей ни разу и на ум не пришло, чтобы кто-нибудь да мог стать героем. Герои — это нечто былое, что-то некогда существовавшее. А что можно было повстречаться с героем, героем живым, увидеть, как он скачет по Большой Перевозной, — этакая дичь ей и во сне не снилась. Жизнь показалась вдруг совсем иной: на свете были не только будни. Величие, красоту, многоцветную пышность, то, о чем повествуется в хрониках и песнях, — со всем этим, оказывается, можно повстречаться. Существовало и в самом деле такое, к чему можно было стремиться всей душой. Все, о чем толковали в народе и писали в книгах, — все это что-то значило, чем-то было въяве. Был смысл в ее неясных грезах и желаниях. Не с ней одной было так. Даже взрослые верили в это. Жизнь была великолепна, ослепительно великолепна.

Мария еще только смутно догадывалась об этом, была убеждена, что это — правда, но не могла еще увидеть воочию и ощутить, что это было именно так. Только один Ульрик Христиан был для нее чем-то осязаемым, лишь он был ей залогом, что все это так и есть. Поэтому все мечты ее и мысли вертелись вокруг него, и по сту раз на дню, заслышав конский топот, бросалась она к окну, а выходя из дому, нередко уговаривала покладистую Люси дать крюку, пока идут до дворца, — но они никогда его не видели.

И вот однажды в самых последних числах октября, после обеда, сидела она на подоконнике и плела кружева в продолговатой комнате, где был камин. Госпожа Ригитце сидела у камина, возле нее стоял тазик с пылающими углями. Из коробочки, которую она держала на колених, брала она то и дело щепотку засушенных цветов и корицы и клала на уголья. Воздух в низком покое был жаркий, чадный и приторный, и сквозь широкие гардины, испещренные темными цветами, проходило очень мало света. Из соседней комнаты слышалось жужжание прялки, и госпожа Ригитце помаленьку начала клевать носом в своем мягком кресле.

Мария Груббе разомлела от жары. Она вздумала охладить разгоревшиеся щеки о маленькие запотевшие стекла и одновременно то и дело поглядывала на улицу, где от тонкого слоя только что выпавшего снега воздух стал такой светлый, что глаза резало. А когда опять смотрела на комнату, то становилось вдвойне темнее и тягостнее. Вдруг в дверях показался Ульрик Христиан. Он вошел так стремительно, что госпожа Ригитце даже подскочила. Он не заметил Марии и тотчас же уселся у камина. Затем сказал в свое извинение несколько слов о том, что давным-давно не навещивался, добавил, что утомился, пересел на кресло поближе и, подперши рукой щеку, умолк, лишь краем уха слушая бойкую речь госпожи Ригитце.

Мария Груббе совсем побледнела от волнения, когда увидела, что он входит. На мгновение она закрыла глаза, словно у нее закружилась голова, потом зарделась как маков цвет, и у нее перехватило дух, — было такое ощущение, как будто пол под ней проваливается или будто вся комната с креслами, столами и людьми парит в воздухе и опускается. Все привиделось таким четко очер-

ченным и точным, но и таким тревожным,—казалось, что ей невозможно было удержать это взглядом, и все это выглядело вдобавок таким новым и таким чужим. Однако это продолжалось недолго, головокружение прошло, и она опаматовалась. Так, значит, он здесь! Ей захотелось быть где-нибудь далеко-далеко, или пусть даже наверху в своей светелке, в ее мирной светелочке. Ей было так жутко! Она заметила, что у нее руки трясутся. Только бы он ее не увидал!

Беззвучно протиснулась она еще глубже в нишу окна и лишь теперь посмотрела в упор на теткина гостя.

Так вот каков он собой! А разве не выше, не на много-много выше? И глаза-то у него были вовсе не черные, не блестящие, а голубые, на редкость голубые грустные глаза. Вот уж чего она не думала! Был он такой бледный и с виду такой удрученный. Вон улыбнулся, да не очень-то весело, зубы белые-белые! А рот какой красивый, маленький ротик да такой ладный!

Чем дольше она смотрела на него, тем красивее он ей казался, и она удивилась, что могла воображать его себе выше, да и вообще другим. Начисто забыв о своем испуге, она думала только о том славословии и восхвалениях, которые слышала о нем. Не спускала с него глаз, представляя себе, как он скачет во главе своих войск под ликующие возгласы народа и все отступает или отпрядывает, как отпрядывают волны, когда они, пенясь, насакаивают на широкую грудь кораблю. Загремели пищади, заблестали палаши, и засвистали пули в непроглядном грозовом дыму. Но он ринулся вперед, смелый и стройный, волоча у стремени победу, как написано в летописи, которую она когда-то читала.

Весь восхищение и восторг, взор Марии излучался на Ульрика Христиана.

Внезапно повернувшись, он поймал этот взор. Отвернулся, посмотрел на пол и еле подавил торжествующую усмешку, потом встал и притворился, что только теперь заметил Марию Груббе.

Госпожа Ригитце сказала, что это ее маленькая племянница, и Мария сделала реверанс.

Ульрик Христиан изумился и даже несколько разочаровался, узнав, что глаза, смотревшие на него в упор, были глазами ребенка.

— Ma chère,¹ — сказал он чуть-чуть схибно и взглянул на ее работу, — ты великая мастерица работать à la sourdine² и молчком, таких я и не видывал. Ведь за все время и не слышать было коклюшек.

— О, — ответила Мария, которая прекрасно поняла его, — как я увидела вас, господин генерал-лейтенант, — и она отодвинула тяжелую подушку с коклюшками на подоконник, — мне сразу же на ум пришло, что нынче времена такие, чтобы корпию щипать, а не об чепцах думать.

— Полагаю, однако, чепцы и в военное время, как и в иное, премило к лицу будут.

— Так-то так, но кому об этом забота в такие времена, как нынешние!

— Многим, — сказал Ульрик Христиан, начиная забавляться ее серьезностью. — К примеру, мне.

— Да, понимаю, — сказала Мария и серьезно посмотрела на него. — Вы разговариваете с девчонкой, и только.

Она церемонно поклонилась и взялась за коклюшки.

— Повремените, ma petite demoiselle!³

— Ах, нет, не принуждайте меня более чипить вам неудобства.

— Послушай-ка, — сказал он и крепко схватил ее за запястья и перегнул к себе через стол с коклюшками, — ты, ей-богу, строптивная какая-то! Но, — зашептал он, — ежели со мной таким взглядом здороваются, каким на меня ты глянуть изволила, так я не хочу, чтобы со мной тут же раз-два и распрощались, не хочу! А теперь — поцелуй-ка меня!

Со слезами на глазах Мария прижалась губами к его губам, он разжал объятья, и она опустила на стул около столика, положив голову на руки.

Мария была в смятении. И в этот день и на следующий у нее было ощущение, что она — рабыня, что она уже не свободна больше. Словно наступили ей ногой на затылок, словно растоптали ее в прах и ей уже не подняться. Но горечи в этом чувстве не было, у нее и в мыслях не было противиться, не было желания отомстить. Странное спокойствие нашло на нее: ни грез, летящих

¹ Милая моя (франц.).

² Втихомолку (франц.).

³ Моя маленькая барышня (франц.).

пестрым роем, ни даже тоски — ничего. К Ульрику Христиану она не чувствовала ничего определенного, знала только, что если он скажет: «Иди сюда!», то она должна будет идти, а если скажет: «Ступай прочь!», то она должна будет удалиться. Она этого не понимала, но это было так, должно было быть так и не могло быть иначе.

Целый день она вязала и шила с необычной выдержкой и за работой напевала все известные ей грустные песни о розах любви, цвет которых поблек и вновь вовек не расцветет; о добром молодце, которому пришлось покинуть свою девицу и уйти в чужие края, откуда ему во веки веков не вернуться; про узника, сидевшего во мрачной башне страсть как долго, и про то, как у него сперва сокол ясный умер, а после пес верный умер, и напоследок серый конь ратный умер, а блудная жена его Мальвинка жила себе поживала, ни забот, ни горя не знала.

Цела Мария и эти песни и другие, порой вздыхая, а порой чуть не плача, так что Люси подумала, не заболела ли Мария, и уговаривала ее положить себе в чулки листьев подорожника.

Когда же Ульрик Христиан через несколько дней опять заглянул к ним и заговорил с ней премо и прелюбезно, то и она отвечала тем же, словно между ними ничего и не было и не бывало. Но с ребяческим любопытством смотрела на большие белые руки, которые сжали ее тогда так крепко, и пыталась подглядеть, что же было особенного у него в глазах и в голосе, что заставило ее так оробеть. Разглядывала и рот с узкими свисавшими усиками, но наблюдала исподтишка и с каким-то втайне покалывающим страхом.

Вскоре он стал приезжать ежедневно или через день, и Мария Груббе все больше и больше увлекалась им. Когда его не бывало, ей казалось, что старое подворье опустело и вымерло, и она томилась по Ульрику Христиану, как томятся от бессонницы и ждут рассвета. А когда он приезжал, то все равно не бывало у нее радости полной и вольной, вечно она чувствовала себя перед ним так неуверенно.

Однажды ночью ей приснилось, что он едет верхом, а на улице полным-полно народа, как тогда, в первый вечер. Но не слышно было ликования, и все лица смотрели на него холодно и равнодушно. От этого молчания ей самой стало жутко, и, не смея улыбнуться ему, она спряталась в толпе. Огляделся он тут тоскливым

недоуменным взглядом, и остановился на ней этот взгляд, и протиснулась она в давке к нему, бросилась прямо перед конем, и холодной подковкой наступил он ей на затылок...

Мария проснулась, села на постели и удивленно оглядела холодную, озаренную месяцем светелку. Ах, так это было во сне! И она вздохнула — ей так хотелось показать ему, как крепко она его любит. Да, так оно и есть! Прежде она и не знала, что любит его. От мысли об этом ее словно в огонь бросило, в глазах у нее зарябило, а сердце так и стучит, так и стучит, так и стучит. Она его любит! До чего же дивно повторять, что она любит его! Было тут столько прелести, столько гордости, было это явью, явью властной, но явью несбыточной. Господи боже! Что из того, что она полюбила! И от жалости к самой себе на глаза у нее навернулись слезинки — но будь что будет! И она свернулась калачиком под теплой и ласковой периной, — сладко и уютно было все-таки лежать вот так и думать о нем и о своей любви, о большой, большой любви.

Когда Мария в следующий раз увидела Ульрика Христиана, то от чувства неуверенности в ней и следа не осталось: наоборот, тайна, которую она хранила в себе, возвысила ее в собственных глазах, а от страха выдать себя у нее появилось больше самообладания и манеры стали почти как у взрослой. Пришла теперь пора мечтаний, пора томлений, сказочно чудесная пора! Разве же не чудесно было посылать Ульрику Христиану, когда он уходил, сотни воздушных поцелуев, украдкой от него и от других, или, когда приходил, воображать, как сердечный друг обнимет ее, станет называть самыми что ни есть ласковыми именами, сядет рядышком, а как бы они тут любовались друг на друга — долго-долго! — а она гладила бы его рукой по мягким русым кудрям.

И что же за беда, что этого не случилось! Напротив, она краснела как кумач при мысли, что этакое и на самом деле могло случиться.

То были чудесные, счастливые дни... Но вот в конце ноября Ульрик Христиан опасно заболел. То ли здоровье его, уже давно подорванное всякого рода излишествами, не смогло вынести непрерывных ночных бдений и напряженной работы, связанной с его должностью, то ли еще и новые беспутства надломили его, но его поразил тягост-

ный изнурительный недуг с бредом, лихорадкой и вечной тревогой, принявший через короткое время такой опасный оборот, что не было сомнения, что имя этой немочи — смерть.

Было одиннадцатое декабря.

По циновкам искусного плетения, устилавшим пол в большом кирпично-красном покое рядом с комнатой, где лежал больной Ульрик Христиан, беспокойно расхаживал королевский духовник Ханс Дидрихсен Бартскьер. В рассеянности он останавливался перед картинами на стенах и, казалось, с великим вниманием созерцал нагих дебелых нимф, простертых в тени под мрачными деревьями, купающихся Сусанн и слащавую Юдифь со здоровенными голыми плечами. Но они не смогли пленить его надолго. Он отошел к окну и безостановочно блуждал взором по серовато-белесому небу, по медной крыше, мокрой и блестящей, и по продолговатым сугробам грязноталого снега на дворцовом дворе. А потом опять принялся беспокойно ходить взад и вперед, бормоча и жестикулируя.

Ему показалось, что дверь открыли, — он сразу же остановился и прислушался: нет! Потом тяжело перевел дух и повалился в кресло. Сидел и вздыхал и смущенно тер ладонь о ладонь, когда дверь в самом деле открылась и пожилая женщина в цепце красным горошком, с оборками, осторожно поманила его.

Священник подтянулся, сунул требник под мышку, обдернул подрясник и вошел в комнату больного.

Это был большой овальный покой: с пола до потолка темная обшивка, посреди панели резкие глубокие выемы, откуда свирепые, пестро размалеванные хари турок и арапов скалили белые зубы. Тонкая серо-голубая ткань, которой было занавешено сверху донизу узкое и глубокое решетчатое окно, оставляла нижнюю половину комнаты в глубоком сумраке, а свет вольно играл на плафонной росписи, где сумбурно нагромоздились и перемешались кони, мечи и нагие тела, и на балдахине кровати с желтым камчатым пологом, обшитым серебряной бахромой.

Теплым, спертым от мазей и других лекарственных зелий воздухом ударило в нос священнику, как только он вошел, и чуть было не задушило. Он схватился за стул и, опершись на него, в полуобмороке, пошатываясь,

увидел, как все перед ним завертелось — стол с бутылочками, скляпочками и урыльником, окно, сиделка в чепце, кровать с больным, оружейница и дверь, отворенная в соседнюю комнату, где в камине пылал огонь.

— Мир вам во Христе, сударь! — поздоровался дрожащим голосом священник, когда головокружение прошло.

— Какого черта тебе тут надо? — рывкнул больной, приподнимаясь с постели.

— *Semach, gnädigster Herr, gemach!*¹ — унимала его Анэ Башмачница, сиделка, подойдя к постели и ласково глядя рукой по одеялу. — *Es ist de hochwürdige Confessionar seiner Majestät, der hergeschicket is und Euch beichten soll.*²

— Милостивый государь мой! Досточтимейший и благороднейший господин Гюльденлеве! — начал пастор, приближаясь к постели. — Знаю я, что непричастны вы были к лику сих мудрых простодушием или мудростию простодушных, коим слово божие было извечным жезлом и опорой, а дом его — всегдашним кровом и приютом, и хотя бог, мортирам грома греметь повелевающий, он же есть бог, в деснице золотые пальмы победы или же кровоточащие кипарисы поражения предреждающий, должно, однако, человеку, если и не простить, то уразуметь, что тот, кому надо множеством людей начальствовать дано и оными предводительствовать, пример доблести являя, тот может иной раз и позабыть, что мы есмы яко суще ничтожество, тростник зыблемый и черенки немощные в руке господней, да и мыслит по неразумию своему: сие мною совершено, деяние сие есть плод, возвращенный мною до спелости и совершенства.

Но, дражайший мой господин Гюльденлеве! Ныне, когда вы на сем суровом скорбном одре поконитесь, ныне бог, который есть любвеобильный бог милосердия и благодати, просветил несумненно разум ваш и обратил к себе сердце ваше, так что вы со страхом и трепетом томительно алкали исповедаться в неотпущенных грехах ваших, дабы во утешении приять милость и прощение, кои он любвеобильными дланями встречу вам ниспосылает. Зубастый червь раскаяния...

¹ Не тревожьтесь, сударь мой, не тревожьтесь! (нем.).

² Их преподобие, духовник его величества прислан вас исповедать (нем., диал.).

— Перекрести мя спереду, перекрести мя сзади, покаяние да искупление, отгущение грехов и живот вечный... — передразнил Ульрик Христиан и, поднявшись совсем, сел на постели. Или ты думаешь, постная твоя харя, или ты думаешь, дубовая твоя башка, что ежели у кого кости по кусочкам с гноем из тела лезут, так он тебе по той причине больше приклонен будет побасенки твои поповские слушать?

— Милостивый государь мой! Во превеликое зло вы употребляете ту привилегию, которую дают вам ваше высокое звание, а паче того ваши жалости достойный недуг, беспричинно понося смиренного служителя церкви божией, который всего лишь исполняет долг свой, нытаясь обратить ваши мысли на то, что вам ныне единственно потребно. Ох, ваше высочество! Что толку прати противу рожня! Не умудрил ли вас сей пизурительный недуг, поразивший вашу плоть, разумением, что никто не уежит кары господней и что бич небесный бичует как великих, так и малых мира сего?

Расхотавшись, Ульрик Христиан прервал его:

— И скажете же вы! Провалиться мне в преисподню! Совсем как мальчишка-несмышлениш. То, что гложет мне нутро, сам я себе учинил, но чести и совести сам. А ежели вы полагаете, что небеса или там преисподня на людей такую хворь насылают, так я вам скажу, что у них такое бывает от пьянства, ночных кутежей да амурного усердия и от тому подобного, в сем можете быть уверены! Ну, а теперь уноси-ка отсюда, да поживее, свои высокоученые кости, не то я...

Тут у него опять начался приступ, и, корчась и стоная от резких болей, он стал ругаться такой поносной бранью и так богохульно, что священник побледнел от ужаса и досады и молил бога даровать ему крепости и силы убеждения, дабы дано ему было открыть сей закоснелой во грехах, заблудшей душе доступ к истине и благолепному утешению веры. А когда больной опять успокоился, он снова начал:

— Сударь! Сударь! Слезным голосом взываю к вам и молю оставить столь омерзительную ругань и божбу. Вспомните, что секира уже у корней дерева, и быть ему вскоре срублену и кинути в огонь, когда будет бесплодно оно и в последний час не покроется цветом и не завяжет плода. Оставьте ваше нечестивое упорство и падите,

исполняя раскаяния и молитвы, к стопам спасителя нашего...

Ульрик Христиан, когда пастор начал говорить, уселся на изголовье, а теперь грозно указывал на дверь и выкрикивал:

— H'raus — поп! H'raus!¹ Марш! Не потеряю тебя боле!

— И, сударь мой, — продолжал священник, — если вы ожесточаетесь, отчаясь снискать прощения, ибо непомерна гора грехов ваших, то внимайте, ликуя, что неисчерпаем есть кладезь милосердия господня.

— Да уйдешь ли ты, пес ты оголтелый, поповская твоя образина?! — зашипел Ульрик Христиан, стиснув зубы. — Eins, zwei!²

— ... и будь грехи ваши алее крови и даже аки пурпур сидонский...

— Rechts um!³

— ...он сотворит их белыми, яко ливапскую...

— Так разрази тебя сам святой Сатана и все аггелы его пречистые! — взревел Ульрик Христиан, спрыгивая с кровати. Выхватил из оружейницы шпагу и сделал энергичный выпад в священника. Но тот проворно укрылся в боковой комнате и захлопнул за собой дверь. Разъяренный Ульрик Христиан побежал к двери, но, сразу обессилев, грянулся об пол, и его должны были отнести на кровать. Шпагу же он взял с собой.

Остаток полдня прошел в дремотном спокойствии. Болей не было, а усталость, овладевшая Ульриком Христианом, показалась ему приятной и желанной. Он лежал и смотрел на крапинки света, проникавшие сквозь нити ткани, которой было занавешено окно, и считал черные кольца на железной решетке. Порой он улыбался — если вспоминал погоню за попом, и раздражался лишь тогда, когда Анэ Башмачница уговаривала его закрыть глаза и постараться заснуть.

Вскоре после полудня раздался громкий стук в дверь, и сразу же после этого вошел священник от Троицы, магистр Йенс Юстесен. Высокий толстый мужчина с грубыми, крупными чертами лица, черными, коротко остри-

¹ Вов! (нем.)

² Ать, два! (нем.)

³ Направо кругом марш! (нем.)

женными волосами и большими, глубоко запавшими глазами сразу же подступил к постели и поклонился:

— Здравствуйте!

Как только Ульрик Христиан увидел, что у его постели опять поц, он так разъярился, что затрясся с ног до головы, а брань и божба градом сыпались и на пастора, и на Анэ Башмачницу, которая не может получить обещанную ему покой, и на царя небесного со всеми святыми.

— Умолкните, несчастный вы человек! — загремел господин Йенс. — Что пустословить тому, кто одной ногой уже в гробу? Приберегите-ка еще тлеющую в вас искру жизни лучше на примирение с господом богом, а не тратьте ее на брань и препирательство с людьми. Вы поступаете подобно тем беззаконникам и преступникам, которые, видя, что приговор им изречен и что не избежать им кнута и топора, уже припасенных для них, и вот грозятся они в мерзком бессилии своем, и богохульствуют, и, обезумев, поносят господа бога нашего срамными словесами, дабы набраться крепости и помощью оной держаться на море прямо-таки звериной сокрушенности, трусости расслабленной и рабского неутешного раскаяния, в каком напоследок этикие молодчики и тонут и чего они, пожалуй, поболее страшатся, нежели смерти и мук смертных.

Ульрик Христиан слушал спокойно, покуда не вытянул украдкой из-под перины шпагу, — тогда он крикнул: «Поберегись, поповское пузо!» — и сделал выпад в господина Йенса, но тот уверенно парировал удар своим широким требником.

— Бросьте пажеские замашки! — сказал он насмешливо. — Для них мы уже вышли из годов. А ты там, — и он повернулся к Анэ Башмачнице, — оставь-ка лучше нас одних.

Анэ ушла. Священник придвинул свой стул к кровати, а Ульрик Христиан положил шпагу перед собой на пуховик.

Потом священник пустился красноречиво говорить о грехе и воздаянии за грехи, о любви господней к роду человеческому и о смерти на кресте.

Пока священник говорил, Ульрик Христиан лежал, поигрывая шпагой так, чтобы полированное лезвие взблескивало на свету. Он то ругался, то напевал отрывки каких-то похабных песенок, то порывался прерывать



священника богохульными вопросами. Однако господин Йенс не давал сбить себя с толку и продолжал говорить о семи словах на кресте, о тайной вечере, об отпущении грехов и о блаженстве в царствии небесном.

Но тут Ульрик Христиан выпрямился на постели и брякнул господину Йенсу прямо в упор:

— То всё — пустые бредни и враки!

— Провалиться мне на этом месте, ежели вру! — заорал священник. — Каждое словечко — правда!

Да так стукнул по столу, что кружки и стаканы заскакали и полезли друг на друга. И встал он тогда, и заговорил с Ульриком Христианом строгим голосом, и сказал:

— Стóбите вы того, чтобы во гневе праведном отряс я прах со стоп своих и бросил вас одного валиться здесь верной добычей дьявола и царства его, ибо туда вы как пить дать угодите. Вы из тех, кто каждодневно распинает Христа на крестной дыбе и кому уготованы хоромы адавы. Не насмехайтесь над устрашающим именем ада, ибо сие есть звон, огненные муки в себе содержащий, и



боле того, заключает он в себе жалобное вопияние пытуемых и стенающих и скрежет зубовой страдания. Ох, горе и муки адовы горше, нежели люди умом постичь могут, ибо если кто умрет колесованный и калеными клещами терзанный и очнется в геенне огненной, то будет тосковать он по лобному месту своему, яко по лону авраамову. Верно — горьки плоти человеческой хворь и недуги, когда, сквозняку подобно, по вершочкам во все жилки пробираются и мышцы натягивают, так что те того гляди лопнут, когда жгут они черева круче огня и соли и тупыми зубами до мозга костей вгрызаются. Муки же адовы — яко ревущий ураган страданий, которые за каждый суставчик в теле дергают, яко гроза они, горестями взвихренная, яко вековечный вихрь сетований и мучений: ибо как одна волна набегает и бьет о берег, а за нею другая, и еще одна следуют, и еще до бесконечности, так же и пошалающие бодения и бои адовы следуют один за одним и ныне и присно и во веки веков, без конца и без меры.

Больной смятенно огляделся кругом.

— Не хочу! — бормотал он. — Не хочу! Нечего мне делать ни с вашим адом, ни с царством небесным. Умереть я хочу, попросту умереть, и вся недолга, и не надо мне ничего больше.

— Вы, конечное дело, помрете, — сказал пастор, — но у смерти в темном переходе, в конце его лишь двое врат: один во блаженство царствия небесного, а другие во стенание адское. И никакого иного пути нет, право же нет.

— Есть, поп, есть! Ужели нет? Отвечай! Разве нету могилы глубокой-преглубокой, да, к тому, плотно убитой, для тех, кто шел своим собственным путем? Глубокой черной могилы, туда, вниз, в ничто, в самое что ни есть ничто?

— Те, кто шел своим собственным путем, направятся в царство сатанино. Они так и кишат у врат адовых, знатные и подлые, старые и молодые, тцатся, толкаяся и тискаясь, убежать пасти разверстой и жалостно вопиют к богу, чьим путем не хотели следовать, дабы увел их от туда прочь. Вопли бездны над главами их, и корчатся они в ужасе и горестях, но врата адские сомкнутся над ними, как смыкаются воды над утопающим.

— Да есть ли хоть какая правда в том, что вы рассказываете? Есть? А не вымысел это? Поклянитесь, поклянитесь же саном и честью, что нет!

— Нет, не вымысел!

— А я не хочу! Обойдусь без вашего господа бога!! Не хочу в царствие небесное, умереть хочу, и все тут.

— Так ступай же на страшное лобное место, где казнятся осужденные навек, где кипучие волны беспредельного серного моря швыряют толпы нечестивых, руки-ноги у них сводит судорогой от мучений, а воспаленные уста тцатся глотнуть воздуху посереде огней, играющих по верх моря. Вижу, как тела их мечутся, словно белые чайки над морем, нет — мчатся они, словно пена летучая от дуновения бури, и вошли их — яко рык земли, когда землетрясение рвет у нее нутро, и стенаниям их нет предела. Ах, несчастный! Всем сердцем бы рад тебя отмолить, но закрыла благодать лик свой и солнце милосердия закатилось.

— Так помоги же мне, поп, помоги! — простонал Ульрик Христиан. — Какой же ты поп, когда помочь не можешь? Молись! Бога ради — молись! Язык, что ли, отсох у тебя молиться? Или давай мне, как его бишь, вино да хлеб — говорят же, что искупление в вине и хлебе! Или то — ложь одна, постыдная ложь? Ползать буду перед твоим богом на карачках, словно школяришка, и каяться. Он ведь вон какой сильный, такой безутешно могучий!

Задобри же его, своего бога, убогатвори, помири его со мной! Смирюсь, смирюсь! Не могу я больше!

— Молись!

— Буду молиться, буду сколько нужно, буду. — И он стал в постели на колени и молитвенно сложил руки. — Так ли? — спросил он и взглянул на господина Йенса. — А что мне говорить?

Священник не отвечал.

Ульрик Христиан лежал в земном поклоне и пристально смотрел вверх большими, лихорадочно блестящими глазами:

— Нету слов, поп! — жаловался он. — Господи Иисусе! Нету, ни единого не осталось!

И, заплакав, рухнул на постель.

Внезапно он сорвался, схватил шпагу, переломил ее и завопил:

— Господи Иисусе Христе! Видишь, ломаю шпагу?

И он поднял вверх сверкающие обломки.

— Сдаюсь, Иисусе, сдаюсь!

Тут пастор обратился к нему со словами примирения и поспешил напутствовать его, ибо похоже было, что больной недолго протянет. Потом господин Йенс кликнул Анэ Башмачницу и ушел.

Поскольку болезнь считалась заразительной, никто из близких к больному не заходил, но в нижнем покое собралось несколько родственников и друзей, королевский лейб-медик и два-три придворных кавалера, чтобы принимать лиц благородного происхождения, послов, офицеров, придворных и советников, которые приезжали справиться о здоровье Ульрика Христиана. Поэтому мир и тишина в комнате больного не нарушались, и он опять был наедине с Анэ Башмачницей.

Начало смеркаться. Анэ подкинула дров в камин, зажгла несколько свечей, вытащила молитвенник и уселась поудобнее. Натянула чепец на лоб и сразу же уснула.

В передней караулили цирюльник и лакей, на случай, если что произойдет. Они растянулись на полу перед окном и играли в кости на циновке, чтобы не слышно было стука. И так они увлеклись игрой, что не заметили, как через переднюю кто-то проскользнул, пока не услышали, как за ним закрылась дверь в комнату больного.

— Лекарь! — сказали они, перепуганно глядя друг на друга. Это была Мария Груббе.

Беззвучно приблизилась она к постели и наклонилась над больным, который лежал себе и дремал. При сонном неверном свете свечей он казался таким бледным и чужим, лоб белый-белый, как у покойника, веки громадные, а исхудалые восковые руки устало и беспомощно шарили по темно-синему тюфяку.

Мария заплакала.

— Разве ты так болен? — пробормотала она.

Опустилась на колени перед постелью, оперлась локтями о станину кровати и посмотрела ему прямо в лицо. Он застонал и открыл глаза. Взгляд был испытующий и тревожный.

— Ульрик Христиан! — сказала она и положила руку ему на плечо.

— Есть здесь еще кто? — простонал он вяло.

Она покачала головой.

— Ты очень болен? — спросила она.

— Да, скоро кончусь.

— Нет, нет! Нельзя, не быть тому! Кто же у меня останется, ежели тебя не будет? Нет, нет! Как мне это снести?!

— Жить? Жить легко, а я уже отведал предсмертного вина и предсмертного хлеба и должен умереть... да, да, да... хлеб и вино, плоть и кровь... ты думаешь, от этого можно... нет, нет! Ради Христа, ради Христа! Помолись, девочка, помолись крепче!

Мария сложила руки и стала молиться.

— Аминь! Аминь! Молись опять! Я такой великий грешник, девочка! Надо много-много — молись опять! Читай молитву, длинную, чтобы слов было много-много. Ох, нет! Да что же это? Зачем кровать вертится? Держи крепче, крепче держи — ходуном ходит... как гроза, горестями взвихренная, вековечный вихрь страданий и... Ха, ха, ха! Пьян я опять, что ли? Что за чертовщина такая? А с чего бы я, с какого черта пьян-то стал? С вина! Вино пил, конечно, вино! Ха, ха! Lustig, mein Kind, lustig! ¹ Поцелуй-ка меня, цыпушка!

Herzen und Küssen
Ist Himmel auf Erd. 2

¹ Веселей, детка, веселей! (нем.)

² Ласки, лобзанья —
Вот рай на земле! (нем.)



Целуй еще, лапушка! Я холодный, а ты мягкая да жаркая... Поцелуй пожарче... А ты чистенькая да пухленькая, беленькая да гладенькая...

Он охватил Марию руками и притиснул к себе перепуганную девочку. В это время проснулась Ана Башмачница и увидела, что больной сидит и забавляется с посторонней женщиной. Грозно замахнулась она молитвенником и завопила:

— H'raus du höllisch' Weib!.. Sitz mich das lose Ding und tändelieret mit de sterbende Gnad'! H'raus, wer du bist — elender Bote des Menschenfeindes, des lebendigen Teufels! ¹

— Teufel! ² — зарычал Ульрик Христиан и в ужасе отшвырнул Марию. — Отыди, сатана! Вон, вон! — И он стал мелко креститься. — Ах, дьявол проклятый! Ты хотела ввести меня во грех при последнем моем издыхании, в последний час, когда человеку так надобно воздержанье. Ступай, ступай прочь! Сгинь во имя господне! Сгинь-пропади, наваждение ты дьявольское!

Вытаращив глаза, ужасаясь каждой чертой лица, он вскочил и, стоя на постели, указывал на дверь.

Ни слова не говоря и не помня себя от страха, Мария ринулась вон.

Большой упал ниц и все молился и молился, пока Ане Башмачница медленно и громко читала одну молитву за другой из своего молитвенника крупной печати.

Через несколько часов Ульрик Христиан умер.

6

После штурма Копенгагена в феврале пятьдесят девятого года шведы отступили и удовольствовались тем, что не снимали осады с города.

Осажденные вздохнули теперь свободнее, тяготы войны уменьшились, наступила передышка, и можно было порадоваться тому, что было сделано, и тому, чего добились — как по части славы, так и по части привилегий. Находились, правда, и такие, кто, войдя во вкус бурной военной жизни, с неудовольствием смотрел, как унылое, нудное перемирие разворачивает свои будничные сцены. Главная же масса населения была рада, и на сердце у нее было легко. И отводила себе радость душу на веселых пирушках, ибо все свадьбы, крестины и помолвки, которые были отложены, пока враг грозил, стоя

¹ Вон, окаянная баба!.. Расселась мне тут, вертопрашка эдакая, да шуры-муры разводит, а его милость при смерти! Вон отсюдова! Знаю, кто ты есть, — злосчастный вестник врага рода человеческого, дьявола во плоти (*нем., диал.*).

² Дьявол! (*нем.*)

под самым городом, собирали теперь радостные толпы в каждом переулке и закоулке.

Приспела теперь пора заняться и соседями и делать из сучка в их глазу бревно. Приспела пора клеветать друг на друга, завидовать и ненавидеть. Ожили со всей силой недоброжелательство профессиональное и зависть неудачников, а старинная вражда обернулась новой злобой и новой жаждой мщения.

Был некто, умноживший в последнее время число врагов своих и призвавший на голову свою чуть ли не всеобщую ненависть. И был это Корфитц Ульфельдт.

До него было не добраться, ибо во вражеском стане был он недосягаем, но на тех из родни его и родни его жены, которых считали благорасположенными к нему, подозрительно косились, подстерегали и оскорбляли, а при дворе их и знать не хотели. Таких было немного, но среди этих немногих была София Урне, невеста Ульрика Фредерика.

Королева, ненавидевшая жену Ульфельдта больше, чем самого Ульфельдта, была уже с самого начала против брачного союза Ульрика Фредерика с дамой, столь тесно связанной с Элеонорой Христиной, а теперь, когда последние действия Ульфельдта выставили его и его родню в свете еще большей ненависти, нежели прежде, королева вновь принялась настраивать и короля и других, чтобы расторгнуть этот союз.

Немного понадобилось времени, чтобы у короля возникло то же самое желание, что и у королевы, ибо ему изобразили и впрямь склонную к интригам Софию Урне такой коварной и опасной, а Ульрика Фредерика таким легкомысленным и податливым, что ему стало ясно, сколько раздора и неприятностей могло из этого произойти. Но, коль скоро он соизволил дать согласие, ему было не к лицу идти на попятную, ибо он был чувствителен и к данному им слову и к своей чести. Поэтому он попробовал уговаривать Ульрика Фредерика. Указывал ему, как легко особа, по справедливости противная ему, королю, и королеве, затем что ее симпатии всецело были на стороне врагов королевского дома, могла бы испортить то хорошее положение, которое он, Ульрик Фредерик, занимает при дворе, и далее, что он стоит поперек пути собственному счастью, поскольку вряд ли доверяли бы почетные должности тому, кто заведомо находится под

постоянным влиянием кругов, враждебных двору. Наконец, король намекнул на интриганский характер йомфру Софии и выразил сомнение, что она на самом деле питает любовь к Ульрику Фредерику, «ибо подлинная любовь, — сказал он, — скорее отстранилась бы, нежели стала бы подвергать предмет любви своей превратностям и тяготам, скорбно затаилась бы, нежели бы ликовала неприкрыто. А йомфру Софию совесть не грызет, напротив того, она воспользовалась его молодостью и слепой любовью».

Так говорил король, но ровно ничего не добился, ибо Ульрику Фредерику ясно помнилось, каких уговоров ему стоило, чтобы девица София открылась в своих думах, и, уходя от короля, он решил еще тверже, чем прежде, что ничему не разлучить их. Сватовство к Софии было первым серьезным шагом в его жизни, и он считал делом чести сделать этот шаг. Всегда было слишком много рук, готовых вести его и управлять им, но теперь он, слава богу, не маленький, пора и самому ходить. Что ему двор и благоволение короля, что почести и слава противу его любви! Лишь ради нее он будет бороться и терпеть лишения.

Но король велел уведомить Кристоффера Урне, что он против этого союза, и Ульрику Фредерику отказали от дома. Лишь тайком мог он теперь наведываться к йомфру Софии. Поначалу это лишь подлило масла в огонь, но мало-помалу подействовало так, что он стал видеться с невестой реже, стал приглядываться к ней пристальнее, и бывали минуты, когда он сомневался в ее любви и даже не знал толком, не увлекала ли она его в тот летний день, прикидываясь, что сдерживает.

Двор, принимавший его до сих пор с распростертыми объятиями, относился теперь к нему с ледяной холодностью. Король, который прежде с такой теплотой заботился о его будущем, был теперь воплощенным равнодушием. Ниоткуда больше не протягивалось рук, чтобы вести его, и ему начало недоставать их, — не таков он был, чтобы плыть против течения: если оно само не несло его, он падал духом. Еще с рождения вручили ему путеводную золотую нить; иди он, держась за нее, так и дошел бы до счастья и славы, а он выпустил нить из рук, захотел самому себе вперед забежать... Нить еще виднеется... Схватиться за нее опять? И мужества не мог он на-

браться, чтобы королю наперекор пойти, и Софию не мог упустить.

Окольными путями, пускаясь на хитрости, приходилось ему теперь видаться с Софией. Оттого что нужно было проползать ужом, страдала его гордость. Он привык являться во всем блеске, разнаряженный в пух и прах, привык каждый шаг свой делать по-княжески, а теперь все было иначе. В бесплодных размышлениях, в мертворожденных планах миновали дни, миновали недели. Ему омерзела собственная беспомощность, он стал презирать себя, да тут еще и сомнение: а не убили ли его вечные колебания любовь в Софии? Или же она никогда и не любила его? Говорили, что она такая умница... Конечно, умница! Но уж такая ли, как говорили? Э, нет! Что же такое любовь, если она не любит! И все же, и все же...

За садом Кристоффера Урне шел потайной лаз, такой узкий, что впору было протиснуться только одному человеку. Этим путем и должен был проходить Ульрик Фредерик, когда хотел повидаться с невестой. И любил он тут брать с собой Карлу караулить у конца лаза, дабы никто с улицы не увидел, как он, Ульрик Фредерик, карабкается через забор.

Стояла теплая лунная летняя ночь. Люди уже три-четыре часа как почивали. Завернувшись в плащ, Даниэль уселся на обломках свиного корыта, которое было выброшено в лаз из соседнего подворья. Он благодумствовал, видно клюкнув чуть-чуть, и потихоньку хихикал над своими забавными мыслями.

Ульрик Фредерик перебрался уже через ограду в сад. Сильно пахло сиренью, на лужайке длинными белыми полосами лежали свежесмытые холсты. Тихий шест пробежал по клею, под которым он стоял, и в розовых кустах рядом с ним. На кустах было полно красных цветов, но от сильного сияния месяца они показались ему почти белыми.

Он направился к дому... Вон он, дом, с ослепительно белой стеной и палевым поблескиванием стекол. Какая тишь кругом, тишь и сияние!

Вот задыркал кузнечик, и дребезжащие стеклянные звуки пронесли по воздуху. Белая стена была словно расписана тенью мальв, резкими, сипеватыми, нежный

парок подымался над холстами... Теперь крюк с двери! И вот он очутился во мраке! Ощупью пробирался он по старой лестнице, навстречу ему несло спертым пряным запахом с чердака, а под ногами скрипели и скрипели гнилые половицы. Месяц светил в чердачное оконце и вычерчивал его четырехугольную форму на ровной поверхности кучи зерна... Скок через кучу! — Пыль взвилась за Ульриком Фредериком и заклубилась на свету. Вот он и у двери в мансарду! Дверь отворилась изнутри, от слабого красноватого мерцания свечи выступили на миг из темноты куча зерна, покосившаяся, желтая от перегоревшей сажи труба и стропила...

Потом все это исчезло, и он стоял перед Софией в платейной каморе. Камора была маленькая и низкая, заставленная грузными платяными шкапами; под потолком висели кожаные мешки с пухом и пером, по углам торчали старые прялки, а стены были увешаны связками красного луку и сбруей с серебряной насечкой. У самого окна, закрытого деревянными ставнями, на окованном латунью сундуке стоял фонарик. София открыла в нем роговое окошечко, чтобы было побольше свету. Волосы у нее распустились и падали на спинку отороченной мехом шерстяной душегреи, которую она надела поверх домотканого платья. Лицо было бледное и огорченное, но она весело улыбнулась и с места в карьер затараторила, обращаясь к Ульрику Фредерику, который стоял и молчал. Но тараторила она со страху, ибо ее испугал надушенный вид Ульрика Фредерика.

— Ну, что ж ты ничего не скажешь, господин Молчун-Серчай? Уж если тебе за сотни часов не пришли в ум сотни предметов, о которых тебе хотелось бы шепнуть мне на ушко... о! в таком разе ты и не думал тосковать, как я тосковала.

Она поправила пальцами свечу в фонарике и сбросила на пол горящий нагар, а Ульрик Фредерик невольно шагнул вперед и затоптал искру.

— Вот и ладно! — продолжала она. — Ступай-ка сюда и садись! Но прежде ты должен стать на колени, вздыхать и умолять меня смилостивиться, потому что я вот уже третью ночь сижу здесь и тебя караулю. И вчера и третьего дня понапрасну сидела, ждала да так тосковала, что свету не взвидела.

Она угрожающе подняла руку:

— На колени, сударь мой, господин Изменник! И умоляйте, как если бы умоляли о жизни вашей!

Сказав это с шутливой торжественностью, она улыбнулась и повторяла полуумоляющим-полунетерпеливым тоном:

— Подойди же и стань на колени, ну, подойди и стань!

Ульрик Фредерик почти сердито оглянулся вокруг: смехотворно было становиться на колени здесь, в чулане у Кристоффера Урне, однако он опустил на колени, обнял ее за талию и спрятал лицо у нее на груди, но не сказал ни слова.

Молчала и она, смущенная и испуганная. Она заметила, что Ульрик Фредерик бледен, вид у него измученный, а во взоре робость и тревога. Рука ее беспечно играла его волосами, а сердце колотилось от страшного предчувствия.

Долго сидели они в такой позе.

Вдруг Ульрик Фредерик вскочил.

— Нет, нет! — воскликнул он. — Так длиться более не может! Видит господь бог, отец наш небесный — ты мне милее жизни, так что и помыслить никогда не смогу, как это мне жить без тебя. Но что в том проку? К чему это приведет? Ведь все они ополчились противу нас с тобой. Никто слова утешительного не промолвит, любой и каждый от нас отворачивается. Как завидят меня, так сжатся, словно тень на них надвинулась, а бывало, придду, так словно солнышко на них глянуло. Совсем один я остался, София, один-одинешенек! Да, знаю, знаю — ты меня остерегала, и совестно мне, и зазорно, и грешно обращаться с такой просьбой, но сдает меня этот раздор, высосал из меня бодрость и достоинство, и вот, сгорая от стыда, и все же малодушно и униженно прошу тебя: уволь меня, верни мне мое слово, девица моя ненаглядная!

София поднялась — стояла твердая и холодная, как статуя, и строго глядела на него, пока он говорил.

— Я беременна, — сказала она спокойно и решительно.

Скажи она «да», освободи его, Ульрик Фредерик — он чувствовал это — не принял бы дара: он бросился бы благоговейно к ее ногам. Будучи в ней уверен, он пошел бы наперекор и королю и всем. Но она не сделала этого, она только дернула за цепь, чтобы показать ему, как крепко он привязан.

О, не зря говорили, что она умница!

Все в нем так и закипело. Он готов был броситься на нее, сдавить ей белое горло, чтобы вырвать у ней правду, чтобы заставить ее выложить перед ним каждый лепесточек розы любви со всеми его складочками и оттенками, дабы мог он наконец увериться! Но он сдержался и сказал, улыбаясь:

— Ну-ну! Знаю... Я просто пошутил, ты же сама понимаешь.

София тревожно взглянула на него: нет, не просто пошутил, нет! Если это шутка, то почему же он не подошел и не поцеловал ее, зачем остался стоять в тени, так что видны были только глаза? Нет, он не шутил! Спросил так же серьезно, как она ответила. Ах, этот ответ! Она смутно чувствовала, что она потеряла, ответив так: он не оставил бы ее, если бы она сказала «да».

— О, Ульрик Фредерик! — заговорила она. — У меня только и думы было, что о нашем дитяти, но коль я тебе больше не мила, то ступай, ступай отсюда и устраивай свое счастье — удерживать тебя я не стану.

— Не понимаешь разве, что я просто пошутил? Уж не думаешь ли, что я мог бы выклянчить назад свое обещание и улизнуть с ним на позор себе и на подлое посрамление?! Ведь пришлось бы мне, — продолжал он, — всякий раз, как подыму голову, бояться, что взор, видевший мое бесчестие, встретится с моим и заставит его опуститься долу.

И он искренне думал так, как говорил. Если бы она любила его столь же горячо, как он ее любил, — тогда возможно, а теперь — ни за что на свете!

София подошла к нему, положила голову ему на плечо и заплакала.

— Прощай, Ульрик Фредерик! — сказала она. — Ступай, ступай! Даже если бы малым волоском могла тебя привязать, и то не стала бы держать; только заскучай ты — тут же и отступилась бы.

Он нетерпеливо затряс головой.

— Душа моя София! — сказал он, высвобождаясь из ее объятий. — Нечего нам друг перед другом лицедейничать. Долг мой и пред тобой и пред самим собой — чтобы священник соединил наши руки. Только наспех этого не сделаешь, и посему будет это через несколько дней, но произойдет во всей тайности, ибо нет резону восстанавливать против нас людей пуще прежнего.

София ничего не посмела сказать на это, и они уговорились, где и как это будет сделано, и наконец нежно распрощались.

Когда Ульрик Фредерик спустился в сад, луны уже не было и все потемнело. Редкие крупные капли падали с черного неба. По дворам перекликались бессонные петухи, а Даниэль заснул на своем посту.

Неделю спустя в своем парадном покое Ульрик Фредерик был тайно обвенчан с девицей Софией неким захудалым попиком. Но тайна соблюдалась так плохо, что королева уже через несколько дней заговорила о них с королем. Следствием этого было, что через месяц брак был расторгнут королевским указом и почти одновременно дворянскую девицу Софию с согласия ее родни отослали в женский монастырь в Итцехое.

Ульрик Фредерик даже и не попытался воспрепятствовать этому шагу. Он, правда, чувствовал себя оскорбленным, но, усталый и оцепенелый, склонился с глухим недовольством перед тем, чего, как он говорил, все равно не миновать. Почти ежедневно он напивался и, когда вино оказывало свое действие, до смерти любил, плача и сетуя, перед несколькими закадычными собутыльниками, с которыми он теперь единственно и водился, расписывать ту сладкую, мирную, благодатную жизнь, какая могла бы стать его уделом, и всегда заканчивал тоскливыми намеками на то, что дни жизни его сочтены и что скоро понесут сокрушенное сердце его в ту здравницу, где постель стелят черными перинами, а черви ходят в лекарствах.

Дабы положить конец такой жизни, король отправил Ульрика Фредерика сопровождать войска, которые голландцы перебрасывали на Фюн, а оттуда в середине ноября он возвратился с известием о победе под Ньюборгом. Теперь он снова занял свое место в рядах царедворцев, был произведен в полковники кавалерии и, видимо, опять стал самим собой.

7

Семнадцать лет теперь Марии Груббе.

В ужасе убежав от смертного одра Ульрика Христиана Гюльденлеве в тот вечер, ринулась она к себе в светелку и, ломая руки, металась по комнате и стонала,

словно от сильных физических болей, так что Люси помчалась что есть духу вниз, к госпоже Ригитце, и бога ради просила ее подняться и самой посмотреть, потому как у барышни, видно, внутри надорвалось. Госпожа Ригитце поднялась вместе с Люси наверх, осмотрела Марию, но ни слова от нее не добились: девочка, упав перед креслом, уткнулась лицом в сиденье, и на все, о чем спрашивала госпожа Ригитце, у нее был один ответ: она хочет домой, домой хочет, никак не может больше оставаться! И она плакала, всхлипывала и мотала головой со стороны на сторону. Тогда госпожа Ригитце надавала Марии оплеух и выбрала Люси, потому что они, пустомени, чуть было до смерти ее не довели своей бестолочью, и оставила их управляться со своими делами как знают.

Марии было безразлично, что ее побили. Вот если бы в счастливые дни любви... Да доведись ей тогда наполучать оплеух, так они свалились бы на нее как самое горькое горе, вот тогда бы то была всем срамотам срамота. А теперь ей было все равно, теперь, когда в ней все стремления, вера и всякая надежда в одночасье увяли, скоробились и развеялись. Ей вспомнилось — видела она однажды дома, в Тьеле, как работники насмерть забили камнями собаку, забравшуюся в обнесенный высокой изгородью утиный пруд. Несчастное животное немо плавало у берегов, вылезти оно не могло: кровь из него так и лила, а камни разили его один за другим.

И вспомнилось ей, как всякий раз, когда летел камень, она молила бога, чтобы этот камень добил наконец собаку, ибо такая это была жалкая тварь, что пощадить ее было бы грехом из грехов. А теперь вот и она чувствовала себя бедной Дианкой и с радостью призывала на себя любое горе и беду, лишь бы они прикончили ее, ибо ей, несчастной, только и надежды осталось, только и хотелось, чтобы ее тоже добили. О, если вот он каков, конец всякого величия — раболепное хныканье, похотливое безумие и коленопреклоненный страх, — о, тогда, значит, и нет на свете никакого величия. Герой, о котором она прежде мечтала, подъезжал к вратам смерти, бряца шпорами и звякая сбруей, обнажив голову и опустив меч, но не было у него страха в бессмысленном взоре, трясущимися губами не молил он о пощаде. Значит, и нет на свете увенчанных ореолом созданий, чтобы тосковать по ним, любить их и боготворить, нет солнца, чтобы смотреть на

него, пока не померкнет свет в очах, смотреть, чтобы все сияло, блистало, переливалось красками. Серо и тускло... Все было серым, тусклым и пустым, непробудные будни, сплошная повседневная вялая маята.

Вот как думала она первое время. Ей казалось, что на краткий миг занесло ее в дивный пестроликий сказочный мир, где на жарком жизнетворном воздухе все существо ее распустилось, как диковинный заморский цветок, излучая солнце из каждого листика и дыша ароматом из каждой прожилки, и, уживаясь светом и ароматом, рос он да рос всей гурьбою листвы, расправляя листок за листком, от неумной силы и крепости. А теперь все это минуло, вновь стала она жалким пустоцветом, бесплодной и оцепенелой от стужи. И весь мир был таков, и все люди вокруг, все они были такие же. А все-таки жили они себе да поживали как бог на душу положит, жили до глупости деловито. Ох, сердце у нее изболелось — так тошно было ей видеть, как кичатся они и пыжятся в безобразном убожестве своем и гордо прислушиваются к полновесному бряцанию собственного пустозвонства.

И вот ухватилась она, как за драгоценный клад, за старинные духовные книги, которыми ее так часто угощали прежде и от которых она столь же часто отворачивалась. Теперь же она обретала унылое утешение в строгих словах о суете мирской и бренности всего земного. Но была одна книга, над которой она просиживала дольше, нежели над любимыми другими, и постоянно возвращалась к ней. И было то Откровение Иоанна Богослова. Наглядеться она не могла на велелепие небесного Иерусалима, рисуя его себе во всех подробностях, исходила все его закоулки, заглядывала во все дома. Ослепляли ее лучистым сиянием халкидоны и вириллы, хризопразы и яхонты, отдыхала она под сенью врат жемчужных и гляделась в чистое золото улиц, прозрачное как стекло. Часто раздумывала она над тем, как повели бы себя она и Люси и тетушка Ригитце, да и все остальные копенгагенцы, если бы первый ангел излил чашу гнева божия на землю, а второй излил бы свою, а третий свою, — дальше у нее не шло, и она всякий раз начинала сызнова.

Сидя за работой, она неустанно распевала высоким жалобным голосом предлинные псалмы о страстях Христовых, а если бывала свободна от дел, то читала длинные молитвы из «Четок богомола» или из «Двунадесяти

месяцев господних», потому что знала обе книги наизусть.

Во всем этом благочестии была доля замаскированного честолюбия, ибо, хотя и чувствовала она на самом деле тяготу уз греха и тосковала по общению с богом, — все равно в основе всех этих богоугодных упражнений была не совсем ясная страсть властвовать, полусознанная надежда стать одной из избранных праведниц, одной из первых в царствии небесном. Ото всего этого характер ее полностью изменился. Она стала замкнутой и нелюдимой, да и внешность ее стала иной: она побледнела и исхудала, а в глазах появился суровый жгучий блеск. И неудивительно, ибо жуткие видения Апокалипсиса как живые проносились перед ней по ночам, во сне, а днем мысли ее с утра до вечера вертелись вокруг всего, что есть мрачного и тяжелого в жизни; вечером же, когда засыпала Люси, Мария вставала с постели и находила мистико-аскетическую усладу в том, чтобы стать голыми коленями на пол и молиться, пока не затекут ноги или пока ступни не ооченеют от холода.

Потом пришла пора, когда шведы отступили, и весь Копенгаген только и знал, что подносил как хозяин да пил как гость. И в один из таких дней в Марии произошла перемена, ибо в этот день госпожа Ригитце, сопровождаемая швеей, поднялась в светелку и завалила столы и стулья кучей юбок, кофт и расшитых бисером чепцов, которые перешли к Марии от ее покойной матери. Именно теперь госпожа Ригитце сочла, что пора уже Марии одеваться по-взрослому.

Было так занято оказаться предметом внимания во всей этой суматохе, которая ворвалась в светелочку, стать той, для кого все эти распарывания и снятания мерки, закройки и приметывания. А разве не мил был этот пунсовый атлас, когда он так и горел, тяжело свисая обильными длинными складками, или сверкал и переливался, когда сидел в обтяжку? А разве не прелесть, ну, как же не прелесть прислушиваться к ревностным диспутам о том, не будет ли оный шелковый камлот чересчур толст, чтобы как должно облегать фигуру или пойдет ли к цвету лица вот этот турецкий гроденапль? Никакие угрызения совести, никакие меланхолические грезы не могли устоять перед этой радостной сияющей явью. А чего только стоит сидеть за столом на пиру — а теперь она стала

бывать на пирах, — когда на тебе белоснежный гофрированный воротник, сидеть среди других благородных девиц с такими же гофрированными воротниками! Тогда и подавно все это бывшее станет вчуже, как недавний сон... А чего стоит выступать в сарабане и паване, когда на тебе тяжелое парчовое платье с длинной юбкой, кружевные нарукавники, а белье из пестрого полотна! Доведут же ее эти душевные порывы до того, что щеки у нее зардеются от стыда.

И пришлось ей стыдиться, и пришлось ей выступать в сарабане и паване, ибо дважды в неделю ей надобно было ходить вкупе с прочими благородными девицами на танцевальные экзерсии в парадную палату ко Кристену Скелю, где старик мекленбуржец обучал их статуре, па и реверансам на самый повеиший гишпанский манер. Кроме того, ее выучили играть на лютне и заметно поднаторили во французском языке, ибо госпожа Ригитце, верно, что-то замыслила.

Мария была счастлива.

Подобно тому как юная наследная принцесса, которую томили взаперти, а теперь, избавив от темничного мрака и грубого обращения тюремщика, сразу же возносятся на трон под ликующие клики народа и возлагают ей на кудри золотую диадему власти и славы, видит, как все преданно и почтительно улыбаются ей, видит, как все склоняются перед ней и признают ее право самодержицы, — так и Мария шагнула из своей светлички в мир, и все присягнули ей на верность, льстили ей, словно была она королева, и, улыбаясь, склонялись перед властью ее красоты.

Есть цветок, который называется жемчужным гиацинтом. Вот такой же голубизны были ее глаза. Но по блеску они напоминали переливчатую каплю росы, а по глубине — сапфир, покоящийся в тени. Они могли опускаться застенчиво и замирать, как нежный звон, и взметываться дерзко, как фанфара. Тоскливый — да, когда близится день, то звезды тускнеют, светя ржавым, трепещущим светом, — таков был ее взор, когда бывал тоскливым. Мог он и улыбаться, доверчивый и спокойный, и тогда вам казалось, что вас, хоть и далеко, как во сне, но настойчиво окликают по имени. А когда он мрачнел от горя, безнадежно и жалобно, то словно слышно было, как каплют капли крови.

Таково было впечатление, которое она производила. И она сознавала это, хотя и не вполне. Если бы она сознавала это все да была постарше, то, может быть, и превратилась бы чуть ли не в камень от собственной красоты и стала бы смотреть на себя как на редкостный самородок, который нужно держать лишь в светлой и дорогой оправе, дабы он мог стать желанным для всех, и тогда, спокойно и равнодушно, позволяла бы любоваться собой.

Но пока еще было не так. Красота ее оказалась настолько старше ее самой и она так неожиданно узнала власть красоты, что прошло много времени, прежде чем Мария всем существом своим могла спокойно и уверенно опереться на эту власть и продвигаться с ее помощью; наоборот, она изо всех сил старалась понравиться, стала изрядно кокетливой и пристрастилась к нарядам, а уши ее упивались любой лестью, как и глаза — восхищенными взглядами, и все это она честно хранила в душе.

Теперь ей было семнадцать лет, а сегодня было воскресенье, первое воскресенье после заключения мира. Утром она побывала на благодарственном молебне, а теперь наряжалась на послеобеденное гулянье с госпожой Ригитце.

Весь город в этот день был взбудоражен, ибо впервые с заключения мира открылись городские ворота, которые были заперты полных двадцать два месяца.

Ясно, что теперь каждому не терпелось выйти и посмотреть, что стало со слободой, где стоял неприятель и где сражались наши; надо было спуститься в траншею и подняться на брустверы; нужно было заглянуть в минные подкопы и подергать за габионы. Вот здесь стоял такой-то, а там убило такого-то, этот прорвался тут, а вон там его окружили. И все было достопримечательным, начиная с колесных следов от пушечных лафетов и углей дозорных костров до простреленного старого дощатого забора и побелевших на солнце конских черепов. И пошли рассказы и объяснения, догадки и дебаты на валах и по шанцам, у стен и у свай.

Герт Пюпер, важно вышагивая, гулял там со всей семьей. Наверное, не меньше сотни раз он топнул ногой об землю, и все-то ему казалось, что звук идет какой-то особенно пустой, а дородная половина его опасно дергала его за рукав и умоляла не быть таким отчаянным. Мастер Герт, однако, топал с прежней силой. Взрослый

сын показывал своей маленькой невесте, где он стоял в дозоре той ночью, когда ему продырявило пулей фризский кафтан, и где снесло голову сыну прялочника. А меньшие тем временем ревели, что им не отдадут пулю, которую они нашли, потому что в ней может быть яд, как говорит Эрик Лауритцен. Ведь и он был за городом — ходил и ковырялся в полусгнившей соломе на том месте, где прежде стояли бараки, ибо он вспомнил рассказ про солдата, которого повесили под Магдебургом, а под изголовьем его постели семеро его товарищей нашли столько денег, что дезертировали, как раз перед тем, как должно было начаться разграбление города.

А народу все прибывало да прибывало! Люди черными крапинками испещрили зеленые поля и сероватые дороги, бродили, разглядывая хорошо знакомые места так подробно и внимательно, словно это был вновь открытый мир или неведомый ранее остров, поднявшийся со дна морского. Многих, когда они видели, как на открытой местности вольно расстилаются поле за полем и луг за лугом, охватывало внезапное желание странствовать, и они шли и шли, дальше и дальше, как бы опьяненные простором, необъятным, беспредельным простором.

Но под вечер, ближе к ужину, большинство направилось к городу и устремилось в Нерре, на кладбище Петровского собора и в окрестные большие сады, ибо издавна было уж так заведено, что летом, по воскресеньям прогуливались там после вечерни и дышали свежим воздухом под сенью зеленеющих деревьев. В то время, когда враг стоял вплотную у валов, обычай этот отпал сам собой и кладбище и в праздники и в будни пустовало, но сегодня обычай возродился, и с обоих концов Неррской улицы народ валом валил; дворяне и мещане, меньшие люди и знать — все вспомнили про развесистые липы на Петровском кладбище.

Между зелеными холмиками и на широких надгробных плитах веселыми семьями расположились горожане — муж с женой, детишки и знакомые — и ужинали в свое удовольствие. Подмастерье стоял сзади и, довольный, с хрустом уписывал сдобный воскресный калач, а сам поглядывал на корзинку. Малыши, еле удерживая ручонками объедки, неуклюжей рысцой семенили, взбираясь к нищим ребятишкам, которые сидели у стены. Любопытные мальчишки разбирали по складам надгробные

надписи, а родитель прислушивался и восторгался, маменька же с дочками разглядывали наряды гуляющих, ибо по широким аллеям расхаживала знать. Она явилась попозже и откушала либо дома, либо в ресторациях, расположенных в садах позади кладбища.

Были тут чопорные барыни и субтильные девицы, престарелые советники и молодые офицеры, чванные кавалеры и чужеземные резиденты. Вот здесь гулял юркий седой Хапс Нансен, он улыбался на все стороны, а сам принаравливал шаг к старому богатею Виллему Фьюрену и прислушивался к его свистящему голосу. Вои там появился Корфитц Тролле с чопорным Отто Крагом, а тут стояла прекрасная госпожа Ида До и беседовала со старым Акселем Урупом, который вечно улыбался, показывая лошадиные зубы, а его скрюченная супруга фру Сидсель Груббе медленно проковыляла вперед вместе со своей сестрицей Ригитце и нетерпеливой Марией. Были тут и Герсдорфф и Шак, был и Туресен с гривой льняного цвета, и Педер Ретц с испанскими манерами и в испанском наряде.

Ульрик Фредерик был тоже тут. Его сопровождал, оживленно жестикулируя, Нильс Розенкранс, бравый подполковник, француз по духу и привычкам.

Они повстречались с госпожой Ригитце и прочими.

Ульрик Фредерик здоровается холодно и хочет пройти мимо, ибо со времени развода с Софией Урне он все еще дуется на госпожу Ригитце, подозревая, что она, одна из наиболее горячих приверженниц королевы, сунула свой нос в это дело. Но Розенкранс останавливается, а Аксель Уруп так любезно просит их отужинать вместе в саду у Йохана Адольфа, что увильнуть было бы мудрено, и оба соглашаются.

Немного спустя вся компания сидит в каменном павильоне и угощается сельскими кушаньями, которыми их потчует огородник.

— Правда ли, можно ли поверить, — спросила госпожа Ида До, — будто шведские офицеры обходились столь галантным манером с зеландскими барышнями, что те прямо толпами уезжали с ними на чужбину?

— Да! — ответила фру Сидсель Груббе. — Во всяком разе, сие достоверно известно насчет этого дерьма собачьего, барышни Дюре.

— Из каких же она Дюре? — спросила госпожа Ригитце.

— Из сконских, сестрица, из тех, ну знаешь, душенька, которые такие белесые. Они еще все породнились с Повитцами, а та, что за границу-то сбежала, дочка она Хеннингу Дюре Вестернесгорскому, тому самому, который взял за себя Сидонию, старшую у Ове Повитца. И прихватила же она с собой отцовского добра ворохами! Тут тебе и простыни, и подушки, и серебро столовое, и паличные.

— Что и говорить, — усмехнулся Аксель Уруп, — с великой любви и воз потянешь.

— Конечно, само собой... — подтвердил Олуф До. Говоря, он всегда размахивал левой рукой. — Любовь... само собой... она... как бы это... сильна-а-а.

— Люб-б-бовь, — сказал Розенкранс и деликатно провел по усам мизинцем, — есть подобна Герк-кулесу в дамском одеянии. Обхождением мила и шармирует, с виду сама мягкость и кккротость, да только ссстанет у нее силы и хххитрости совершить все двенадцать пппподвигов Геркулеса, вкупе взятых.

— И то! — прервала его госпожа Ида До. — Уже по любви йомфру Дюре видно, что с одним-то геркулесовым подвигом она запросто бы управилась, коли вычистила из сундуков да шкафов все, что в них было, подобно тому, как он вычистил Уриевы, или как бишь его, конюшни. Да вы знаете, о ком я...

— А я скорее думаю, — сказал Ульрик Фредерик, повернувшись к Марии Груббе, — любовь — это как в пустыне заснуть, а проснуться в прекрасном и сладительном парке. Ибо так уж благодетельна любовь, что всю душу в человеке переворачивает, и то, что прежде мнилось бесплодным и пустым, сияет теперь взору сплошным великолепием и усладою. Ну, а что же вы помышляете о любви, прелестная йомфру Мария?

— Я? — переспросила Мария. — Я считаю любовь алмазу подобной, ибо как на алмаз любо-дорого поглядеть, так же и любовь любезна и дорога сердцу, и, как алмаз — яд тому, кто его проглотит, так же и любовь есть некий род отравы или вредоносный недуг бешенства для того, кто ею поражен. По крайности, делаешь о сем суждение по тем чрезвычайным жестам, которые у влюбленных персон замечаются, и по ремаркабельным речам их.

— Да, — галантно шепнул Ульрик Фредерик, — свечке-то куда как легко говорить резоны бедной мошке, которая совсем помешалась от ее блеска.

— И впрямь, Марья, ты, чаю, правду молвила, — начал Аксель Уруп и приостановился, чтобы улыбнуться и кивнуть ей. — Уж что так, то так, вполне дашь веру, что любовь — одна отравя, которая в кровь попадает. Как же иначе знахари внушали бы персонам совсем бесчувственным помощью волшебного зелья или чудотворного decoкта самую что ни есть наипламенную страсть?

— Эх, тебя! Тыфу, вот пакость-то! — закричала фру Сидсель. — Никогда и не поминай про такое мерзостное богопротивное дело, да еще в воскресенье!

— Сидсе! Матушка! — ответил он. — Ей-богу же, в том нет греха, напротив... нет... нет... Может быть, вы сие за грех почитаете, господин полковник, сударь мой, господин Гюлленлеу? Нет? Ну, конечно же, нет! Да разве же не поминается и в священном писании про волшебниц и злосудия? Поминается, уж что поминается, так поминается! Да нет же! Что бишь я хотел сказать!? Все аффекты наши, чаю, коренятся у нас в крови, ибо как разгорячишься, так разве не чувствуешь, что кровь у тебя сама собой так и заходила, так и заходила, и к ушам и ко глазам приливает? А со внезапного перепугу кровь вот тебе словно в ноги схлынет, не правда ли? И тот же миг и похолодеешь. Или, по-вашему, попусту молвится, что горе-злосудие бледное бывает, в лице ни кровинки нет, а радость — алая, будто роза? Ни в коем разе, говорю вам, ни в коем разе! Все страсти человеческие причиняются некоторым состоянием крови и свойствами ее. А любовь и подавно! Кровь, она годов до семнадцати — осьмнадцати бывает попеременно то теплая, то холодная, а когда созреет, так и начинает по жилам бродить, что доброе вино. Вот тут только и любовь приходит, ибо любовь есть брожение в крови: теснит и пучит, в жар кидает и так разохотит, что человек сам не свой делается, кокуда с ним такое творится, а после того отстаивается, как любая иная бродячая субстанция, утихомиривается, смягчается, делается не столь горячей и мягучейся. Да, есть и еще сходство с вином: ибо, совсем как благородное вино, всякий год начинает шинеть и пениться, словно бродить собралось, когда весенняя пора приходит и лоза в цвету стоит, так же вот и чувства у всех людей,

и у стариков даже, по весне на короткое время влечение к любви являют. А истинная сему причина в том, что кровь никогда не может совсем забыть про брожение в весеннюю пору жизни и опять о нем вспоминает, лишь год снова к весне подходит, и вновь бродить пробует.

— Да уж кровь... — вставил Олуф До, — само собой... кровь, она... само собой... материя премного субтильная... само собой.

— Так оно и есть, — кивнула госпожа Ригитце, — все воздействует на кровь: и солнце и луна, а бывает, что и перед непогодю. Уж это как по-писаному.

— А равно и чужие мысли, — прибавила фру Ида. — Я знаю это по своей старшей сестре. Спали мы в одной постели, и каждую ночь, не успеет она глаз сомкнуть, как сразу же завздыхает, а погами сучит, руками машет, будто встать хочет и идти куда-то, откуда ее позвали. А бывало так оттого, что жених ее, который был в Голландии, ужас был какой страстный, все тосковал, лежит и о ней ночь и день думает, так что в ту пору ей ни часу покоя не было, а со здоровьем и вовсе худо. Фру Сидсель, ведь и вы, голубушка, чай, помните, какой у нее был вид, жалкий да хворый, пока Йёрген Вилле домой не вернулся?

— Еще бы! Что и говорить! Но как же она, душенька, опять расцвела — ни дать ни взять розанчик! Розанчик, да и все тут! А ее первые роды — господи боже!

И она зашептала.

А Розенкранс повернулся к Акселю Уруну:

— Так вы полагаете, следственно, — сказал он, — что *élixir d'amour*¹ нечто вроде ббббродящей материи, которую вспрыскивают в ккккровь, и та начинает бббббурлить! Так это вполне согласимо с тою любовною авантюрою, про которую мне рассказывал покойник Ульрик Христиан, когда мы с ним отправились на вал.

Было сие в Антвввверпене, в «*Hotellerie des trois brochets*»,² где он на квартире стоял. Утром, за обедней приметил он рссссспрпрекрасную девицу, по виду из дворянок. Гггглянула она на него с этакой, знаете, нежностью... Однако у него целый день и мысли о ней не было. Заходит он под вечер к себе в апартаменты

¹ Любовный эликсир (франц.).

² Гостиница «Три щуки» (франц.).

и видит — лежит на постели в изголовье роза. И берет он ту розу и нюхает, и спю же минуту обббблик прекрасной девы вживе предстает его взору, словно тут же на стене нарисованный. И живейшее томление по оной девице возникло у него, да столь внезапно и с такою силой, что, по его словам, он готов был завопить благим матом от ббббболи. Бббббольше того, он совсем словно опалел и взбесился. Пппппотом ппппулей из дому и, стая, приступился бегом с одной улицы да в другую, будто его околдовали. И сам себя не ппппомнил. Словно что-то так и влекло его, так и влекло! А внутри у него огнем палило, и так вот он до самого утра и пробегал.

В том же роде беседовали они долго, и солнце зашло прежде, чем они расстались и отправились домой по сумеречным улицам.

Ульрик Фредерик был все время очень молчалив и старался уклониться от участия в общей беседе, ибо опасался, что если он станет и дальше говорить о любви, то это будет воспринято как личные воспоминания и впечатления от его взаимоотношений с Софией Урне. Да, впрочем, он вовсе и не был расположен к разговорам и, оставшись наедине с Розенкрансом, отвечал так кратко и рассеянно на все вопросы, что тот вскоре заскучал и пошел своей дорогой.

Тогда и Ульрик Фредерик направился домой.

В ту пору ему были отведены покои в Розенборге. Слуга куда-то отлучился, свечей не зажег, и вот он сидел чуть ли не до полночи один во мраке огромной комнаты.

У него было такое странное, отчасти удрученное, отчасти полное предчувствий настроение, такое слегка дремотное состояние, когда безвольную душу словно уносит медленно скользящей рекой, а туманно-зыбкие картины тянутся поверх темных деревьев на берегу и какие-то полумысли, как огромные, слабо мерцающие пузыри, медленно поднимаются из мрачного потока, скользят по течению, скользят и лопаются.

Это были отголоски разговора, кишащая пестрядь и суета на кладбище, улыбка Марии Груббе, фру Ригитце, королева, королевские милости и королевский гнев в тот раз... движения рук Марии, София Урне, бледная и далекая... еще бледнее, еще дальше... роза в изголовье, и голос Марии Груббе, звучание одного-единственного слова, его интонация...

Он сидел и вслушивался в него и снова и снова слышал, как слово порхало в тиши.

Встал. Подошел к окну, открыл его и, лежа на локтях, перевесился через широкий подоконник: как свежо было на улице, как тихо и прохладно!

На него пахнуло сладким с кислинкой запахом роз, застывших от росы, свежей горечью молодой листвы и винным, приправленным пряностями ароматом цветущего клена. Мелкий-мелкий дождик бисерной россыпью моросил с неба и расстилал над садом голубоватый трепещущий морок. Черные сучья лиственниц, вуалевидные убранства берез, буки в пышных буклях стояли как тени, навеянные на зыбкую, скользкую завесу тумана, а подстриженные макушки тисов вздымались как черные колонны храма, у которого обвалилась крыша.

Тихо было как в могиле; лишь однообразный шорох легких, как снежинки, дождевых капель слышался, словно почти неуловимый, все время замирающий и все время возникающий шепот вон там, за блестящими от сырости стволами.

Как странно было вслушиваться в этот удивительный шепот, как тоскливо звучал он! Не рой ли былых воспоминаний, легко ударяя крылами, пронесся вдаль? Иль то тихонько шелестела поблекшая листва утраченных иллюзий?

Ах, совсем один, один-одинешенек, забыт и покинут! Даже и среди тысяч сердец, которые стучали кругом в полуночной тиши, ни одного, ни единого не отыщется, чтобы по нему тосковало...

Надо всей землей растянута сеть из невидимых нитей, которые связывают душу с душой, — нитей крепче, нежели нити жизни, крепче, нежели смерть. Но ни одна изо всей сети не протянулась к нему.

Бездомный, отверженный! Отверженный?.. А не кубки ли зазвенели, не поцелуи ли прозвучали? Не мелькнули ли там, за окном, белые плечи и черные очи? Не звонкий ли смех прокатился в ночи? Э, да что там! Нет уж, пусть лучше медленно каплющая полынная горечь одиночества, чем эта омерзительная приторная отравка! Будь она проклята! Отрясу я прах твой с мыслию моих, непутевая жизнь, собачья жизнь... жизнь для слепцов... для побирušек... Как роза! Спаси и сохрани ее, боже, в эту темную

ночь!.. О, если бы стать ей опорой и защитой, устлать ей дорожку ковром, ветру не дать на нее дунуть... Такая красавица... а слушает, будто дитя малое... как роза.

Сколько почета ни оказывали Марии Груббе, она быстро заметила, что хоть и вышла из детской, а в компании совсем взрослых ее все-таки не считали за ровню. Таких молодых девиц, несмотря на все комплименты и лесть, в обществе всегда держали на своем месте, рангом ниже. Они чувствовали это по сотням мелочей, из которых каждая сама по себе была пустяк, ну, а все, вместе взятые, они означали удел. Во-первых, дети обращались с ними запанибрата и, словно назло, превосходно чувствовали себя в их обществе, совсем как равные. А тут еще и челядь! Была явная разница в манере, с которой принимал старый слуга плащ у барыни и у барышни, и совсем крохотный оттенок в угодливой улыбке горничной, смотря по тому, помогала ли она раздеваться замужней или незамужней даме. Фамильярный тон, который позволяли себе брать желторотые дворянские сынки, бывал донельзя несносен, а то, что обиженные взгляды и ледяные отказы мало их трогали, доводило прямо-таки до отчаяния. Легче всего было с молодыми кавалерами, ибо если они даже и не бывали влюблены, то все-таки оказывали приятнейший респект и говорили всевозможные прелестности, какие только могли придумать, да с той галантной почтительностью в минах и жестах, которая возвышает тебя в собственных глазах. Но было среди них, конечно, до скуки много и таких, кто делал это, как можно было заметить, большею частью упражнения ради. Среди пожилых попадались мужчины, совершенно несносные, с чрезмерными комплиментами и шутливо любезным ухаживанием. И, однако, хуже всего было с дамами, особенно с недавно вышедшими замуж: этаким не то ободрительный, не то отсутствующий взгляд, голову этак снисходительно слегка набок, да улыбочка, чуть-чуть насмешливая, чуть-чуть сочувственная, с которой тебя слушают... Нет уж! Это хоть кого взбесит. А потом и взаимоотношения между самими девицами; у них дело вовсе не клеилось: ладу между ними не было никакого. Если одна другую могла унизить,

так и унижала. Считали они друг друга за совершенных ребятишек и совсем не умели, как молодые дамы, достичь того, чтобы обходиться одна с другой уважительно и со всевозможными проявлениями внешней почтительности, окружая и себя ореолом достоинства. В общем, положение это было незавидное, и поэтому, когда госпожа Ригитце запнулась Марии о том, что вместе с другими своими родичами надумала сочетать ее браком с Ульриком Фредериком, то это сообщение совершенно естественно, хотя Мария и не думала влюбляться в Ульрика Фредерика, было воспринято как желанная весть, открывавшая широкие просторы приятным перспективам. А когда ей еще и расписывали при этом, как почетен и выгоден такой брак, как ее будут принимать в узком придворном кругу, в какой роскоши ее будут холить и какой путь прямо к славе и высшим почестям проторен Ульрику Фредерику, как побочному сыну короля и — что еще важнее — его признанному фавориту, да когда она сама себе втихомолку добавляла, какой он красавец, какие у него благородные манеры, как он учтив и как влюблен, то ей чуть ли не казалось, что такого счастья и быть не может, и ей становилось жутко-жутко при мысли, что все это еще вилами по воде писано, пустые разговоры и пустые надежды.

Но госпожа Ригитце знала, на чем строить свои планы. Ульрик Фредерик не только поверил ей свои думы, прося замолвить за него словечко перед Марней, но и уговорил ее разведать, будет ли на то милостивое соизволение королевы и короля. И тот и другая приняли это весьма благосклонно и изъявили свое одобрение — король, правда, после некоторого колебания.

Между королевой и фру Ригитце, ее верной наперсницей и весьма доверенной статс-дамой, эта партия была уже куда раньше обсуждена и решена, а короля, помимо резонов со стороны королевы, убедило, конечно, еще и то обстоятельство, что Мария числилась невестой богатой, у короля же с деньгами было чрезвычайно туго, и хотя Ульрик Фредерик и получил в лен Вордингборг, но при своем пристрастии к роскоши и расточительству он все время нуждался, а выручать его приходилось прежде всего королю, а не кому-либо другому.

Поскольку Мариина мать, фру Мария Юль, уже умерла, то Мария, выйдя она замуж, получила бы материн-

ское наследство, а отец ее, Эрик Груббе, владел в ту пору поместьями Тьеле, Винге, Гаммельгор, Бигум, Тринперуп и Нэрбек, не считая мелких угодий окрест, так что после него ожидалось порядочное наследство, тем более что он слыл за рачительного хозяина, который на ветер гроша не выбросит.

Итак, все шло на лад, Ульрик Фредерик мог без опаски посвататься, и через неделю после Иванова дня их торжественно обручили.

Влюбился Ульрик Фредерик сильно, но не так бурно и тревожно, как тогда, когда его сердечной думой была София Урие. Эта любовь была мечтательная, пежно взволнованная, почти тоскливая, а не свежая, не жизнерадостная, не краснощекая.

Мария рассказала ему про свое безрадостное детство, и он любил мысленно рисовать себе ее детские страдания с тем же самым сострадательно-сладострастным чувством удовлетворения, какое пронизывает молодого инок, видящего в мечтах своих, как белотелая красавица мученица истекает кровью на острых зубьях пыточных колес. Потом наступило время, когда его терзали мрачные предчувствия, что ему не суждено будет удержать Марию за собой, что ранняя смерть вырвет ее у него из сомкнувшихся объятий, и тогда с отчаяния он готов был клясться самому себе страшными клятвами, что будет ее на руках носить и не то что зловонию — ветерку не даст на нее дунуть, будет радовать ей младую душу каждым золотым лучиком исполненного желания и ни за что не причинит ей горя, никогда, никогда.

Но бывало и так, что он ликовал и чуть ли не плясал от мысли, что вся эта дивная душа предана его власти, как душа покойника — господу богу; можно растоптать в прах, если захочешь, вознести, если захочешь, смирить, унижить, согнуть в дугу.

В том, что подобные мысли могли в нем пробуждаться, Мария была отчасти и сама виновата. Ибо ее любовь, если только она любила, была любовью природы необычайно гордой и надменной. Было бы лишь неясной и лишь наполовину верной метафорой, если сказать, что ее любовь к покойному Ульрику Христиану была как озеро, исхлестанное, загнанное и взбаламученное бурей, а любовь ее к Ульрику Фредерику можно было сравнить с тем же озером в вечерний час, когда погода прояснилась: зер-

кально-чистым, студеным и прозрачным, когда ничто не шелохнется, — только в темных тростниках у самого берега лопаются пузырьки. И все же образ в одном смысле был бы схвачен, пожалуй, верно, — не только в том, что она была холодна и спокойна по отношению к Ульрику Фредерику, но еще больше в том, что все те пестрые, мельтешащие мечты и мысли о жизни, которые повлекла за собой та первая страсть, поблекли и развеялись в бессильном затишье последнего чувства.

Конечно, она любила Ульрика Фредерика, но скорее не оттого ли, что он был волшебной палочкой, которая распахивала перед ней двери в жизнь, жизнь в роскоши, жизнь в величии? И не роскошь ли она, в сущности, и любила больше всего?

Порой могло показаться, что это не так. Когда она в сумерки сидела у него на коленях и, сама себе аккомпанируя, пела ему коротенькие французские арийки о Дафнисе и Амариллис, и нет-нет да и останавливалась и, беззаботно играя пальцами со струнами цитры, склонялась головой к нему на плечо, то находились у нее такие сладостные и согретые любовью слова для его приклоненного слуха, слаще которых никакая настоящая любовь не сыщет, а на глаза ей наворачивались нежные слезинки — росинки, какие проступают только у тихой заботливой любви; и все-таки — не могло ли быть так, что она с тоски создала себе из воспоминаний о минувшем чувстве настроение, которое под мягким покровом сумрака, вскормленного воспаленной кровью и сладкими звуками, одуряло ее саму, а его делало счастливым? Была ли это лишь девичья застенчивость, которая среди бела дня заставляла ее скупиться на ласковые слова и противиться ласкам? Или то был всего лишь девичий страх — показаться девически слабой, — страх, который придавал ее взгляду насмешливость, а устам презрительность, когда, бывало, Ульрик Фредерик умолял поцеловать его или хотел любовными клятвами выманить у нее с языка то слово, которое так любят слышать все любовники? И отчего же это так получалось, что она очень часто, когда оставалась одна и фантазия ее уставала в тысячный раз живописать себе великолепие будущего, могла неподвижно глядеть перед собой вдаль таким безнадежным и потеряннным взором и чувствовать себя такой бесконечно одинокой и покинутой?

В конце августа пополудни Ульрик Фредерик и Мария, как часто бывало и прежде, ехали верхом вдоль Зунда по песчаной дороге за Восточными воротами.

Воздух был освежен утренним ливнем, солнце над водой — как в зеркале, сизые грозовые тучи перекатывались уже вдаль.

Быстро, насколько позволяла дорога, скакали они вперед, они и лакей в долгополом кармазинном кафтане. Ехали мимо садов, где зеленые яблоки просвечивали сквозь темную листву, мимо развешанных мрежей, где на нитях еще висели искрящиеся дождевики... Рыбачий домик короля с его красной черепитчатой крышей — мимо! — и галопом по двору клееварни, где дым, прямой как столб, стоял над трубой.

Они шутили и хохотали, улыбались и хохотали, и погоняли вперед и вперед.

У Гюлленлунского трактира свернули и поехали лесом прямо к Оуэрдрупу, а оттуда размеренной рысцей затрусили по кустарнику к блестящей глади Оуэрдрупского озера.¹

Большие развесистые буки отражались зелеными куполами в чистом озере, а сочная осока и бледно-розовая кашка образовали широкую и неструю бахрому на меже, где откос, побуревший от жухлой листвы, сбегал прямо в воду. Высоко в воздухе, под нависшим пологом листвы, там, где полоска света пробилась к земле сквозь прохладный сумрак, в беззвучном танце резвились комары; на миг загорелась там багровая бабочка, потом выпорхнула на солнце и улетела за озеро, где, отливая голубоватой сталью, молниеносно сверкали над водою стрекозы, а щуки, гоняясь за добычей, чертили на поверхности равномерно бегущие волнистые линии. С усадьбы за кустарником доносилось кудахтанье, а по другую сторону озера, под сводчатыми буками Дюрехаве, ворковали лесные горлянки.

Придержали коней и пустили их медленно шлепать по воде, чтобы ополоснуть бабки и дать напиться. Мария задержалась в воде несколько дольше, чем Ульрик Фредерик. Она опустила поводья, чтобы кобыла могла свободно нагнуть голову. В руке у Марии была длинная бу-

¹ Оуэрдрупское озеро — ныне Оуэрдрупское болото. (Примечание автора).

ковая ветка, которую она ощипывала листик по листику, роняя их в еле всплескивающуюся воду.

— Верно, гроза будет, — сказала она, внимательно следя за слабым дуновением ветра, от вихревого движения которого по озеру пошла рябь круглыми темными завитками.

— Тогда вернемся, — посоветовал Ульрик Фредерик.

— Ни за какие блага! — ответила она и припустила коня на берег. Шагом объехали они озеро и поехали по дороге в высокий бор.

— Хотелось бы мне знать... — сказала Мария, вновь ощутив у себя на щеках лесную свежесть и долго, глубокими вздохами, глотая прохладу, — хотелось бы мне знать...

Она не договорила и сияющими глазами смотрела вверх, на зеленую листву.

— Что же хотелось бы тебе знать, душа моя?

— Да вот, не могут ли от лесного воздуха и умные люди одуреть? Ах, сколько же раз я бегала по лесу в Линдуме и забиралась все дальше и дальше, в самую гущину и чащобу! Бывало, совсем ошалело от радости и пою во все горло. Иду-иду, цветы рву, сорву цветок да и кину. Пташки взлетят, а я им вдогонку ухаю, пока вдруг сразу ни с того ни с сего жуть возьмет, — миг и оробею. Ох, и стану тут такая несчастная, сердце щемит, не знаю куда деться. Ветка хрустнет — так и встрепенусь. Своего же голоса боялась, да, пожалуй, больше всего прочего. А с тобой такого не бывало?

И не успел Ульрик Фредерик ответить, как она запела, голоса на весь лес:

Мне любо по лесу гулять,

На яблоньки гляжу

И на шелковы башмачки

По розе подвяжу!

Попляши!

Попляши!

Ай да хороши

Алы ягодки на боярышнике!

А хлыст так и свистал, ударяя по лошади, а Мария хохотала, визжала от радости и мчалась во весь опор, что было у коня силы, неслась по узенькой лесной тропке, где ветки размахались и хлестали ее по голове, разгорелись глаза у нее, разругались щеки. Она не слышала, что кричал ей Ульрик Фредерик... Поцелкивал хлыст — и вперед, все вперед, опустив поводья... Хлопьями пена ви-

села на вьющейся по ветру юбке, рыхлая земля градом взлетала по бокам у коня, а Мария смеялась и стегала хлыстом по высоким папоротникам.

Внезапно свет как бы поднялся с листьев и ветвей и припустился удирать от мрака, набрякшего влагой. Затихли кусты, замолк стук копыт; Мария ехала по просеке. По обе стороны тяжелой и темной крепостной стеной — лес. Над нею — грозное черное небо, по которому несутся косматые серо-бахромчатые тучи. Впереди — до жути иссия-черная гладь Зунда, окаймленная туманом. Мария натянула поводья, и измученное животное послушно стало. Дав большого крюку, промчался мимо Ульрик Фредерик, потом круто повернул к Марии и вскоре остановился рядом с ней.

В тот же миг над Зундом грузной серой мокрой завесой навис и поволочился косой ливень. Ледяной влажный порыв бури прошумел над закачавшейся травой, просвистел в ушах и забушевал, как буруны, в далеких вершинах деревьев. Как из треснувшего мешка, забарабанив, посыпались огромные приплюснутые градины, жемчужными ожерельями ложились в складках одежды, брызгами вспыхивали и отскакивали от конских грив, и прыгали и катались в траве, словно высыпали из-под земли.

Укрываясь от града, они поехали под деревьями, выбрались к берегу залива и вскоре остановились у низких дверей шинка «Заходи-ка!»

Работник принял лошадей, а дылда кабатчик, кланяясь, отвел их в горницу, где, по его словам, уже был какой-то гость.

Это был Карла. И тотчас же он встал перед пришедшими и, низко поклонившись, назывался очистить комнату для высокородных господ, но Ульрик Фредерик милостиво велел ему остаться.

— Да чего уж там, оставайтесь! — сказал он. — И будете потешать нас, когда такая поганая, прости господи, погода. Надобно тебе знать, душа моя, — обратился он к Марии, — что сей невзрачный Карла есть достославный комедиант и кабацкий петрушка Даниэль Кнопф, изрядно намуштрованный в свободных искусствах, как-то: игра в зернь, фехтование, винопийство, машкерадное скоморошество и им подобные, а впрочем, почтенный и честный купец во славном граде Копенгагене.

Даниэль лишь краем уха слушал это похвальное слово — так он был поглощен созерцанием Марии Груббе и усилиями составить поизысканнее пожелание счастья. Но когда Ульрик Фредерик разбудил его, огрев по широкой спине, лицо Карлы вспыхнуло от обиды и стыда, и он гневно повернулся к Ульрику Фредерику и произнес с ледяной усмешкой:

— Мы ведь еще не напились, господин полковник.

Ульрик Фредерик расхохотался и, дав ему под бок тумака, заорал:

— Ах ты, шенапан треклятый! Дебошан ты анафемский! Да что же ты, чертов сын, опозорить меня, что ли, собрался, словно я тебе враль какой, у которого нет бумаги с печатью, чтобы подтвердить свои разглагольствования? Тьфу, пакость! К черту! Да ладно ли этак? Да не я ли раз двадцать сей благородной девице твою искусность нахваливал, так что она чаще частого изъявляла величайшее желание увидеть и услышать твои прославленные диковинные кунштюки! Могли бы вы, право, сударь, попредставлять нам слепого птицелова Корнилия с его пташками-свистуньями или изобразить фарсу о больном петушке и кудахчущей наседке.

Тут и Мария вставила слово, сказав с улыбкой, что все так и есть, как говорит полковник Гюльденлеве, что ей давным-давно не терпелось узнать, за какими же такими изысканными и особенными забавами молодые кавалеры коротают досуг в поганных кабаках да еще просиживают по полдня, а то и ночи напролет, и просила мастера Даниэля удовлетворить ее желанию и не заставлять себя упрашивать подолгу.

Даниэль изысканно раскланялся и ответил, что хотя его немудрые фарсы больше годятся к тому, чтобы предоставить захмелевшим кавалерам удобный случай погоготать и побуянить более обычного, нежели быть дивертисментом для столь благовоспитанной и знатной барышни, но он тем не менее сим же моментом начнет, дабы, ни-ни, не вздумали сказать, что вот, дескать, их милость, да еще такая раскрасавица, хоть раз ему приказали или просили о чем-нибудь, а он возьми да и оплошай, не исполни того приказа без промедления.

— Смотрите же! — произнес он совсем другим голосом и, брякнувшись на скамью, навалился на стол, широко расставив локти. — Ныне я есмь вся честная компа-

ния знатных приятелей и особо закадычных дружков ва-
шего нареченного.

Он вынул из кармана горсть серебряных талеров, по-
ложил их на стол, начесал прядь волос на глаза и рази-
нул рот, лениво отвесив нижнюю губу.

— Черт меня забодай! — мямлил он и побрякивал
деньгами, как будто это были кости. — Чтобы меня, сына
и наследника его благородия Эрика Косе, да ни в грош не
ставили! Ась? Ты что же, боров ты этакий, плутом меня
ославить хочешь? Десятку я выкинул, прах меня побери,
десятку, — аж забрякало! Не видишь, что ли, скот ты
этакий? Не видишь, говорю, а? Не видишь, что ли, минога
ты худоногая, а? Или прикажешь вспороть тебе мамон
вот этим дырендалем, тогда потроха твои, и печенки, и
селезенки, всё небось живо увидят. Хочешь, а? Вспо-
роть, а? Балбес ты безмозглый, придурок ты непотребный!

Даниэль вскочил, и лицо у него вытянулось.

— Стращась? Гра-а-азишь? — зашипел он с севе-
росконским акцентом. — А знаешь ли, сопливец, кому гра-
зишь-то? Расшиби меня гром, коли я тебя, сатанюку...
Нет, нет! — произнес он своим обычным голосом. — На-
чать с такого будет, поди, немного того, чересчур увесе-
лительно. Нет, вот как надобно!

И он сел и, упираясь ладонями в колени, широко рас-
ставил ноги, как бы вываливая брюхо. Напыжился и, на-
дув щеки, спокойно и задумчиво, но слишком медленно
засвистал песенку про господина Педера и Розочку. По-
том остановился, помедлил, влюбленно закатил глаза и
позвал томно и нежно:

— Поц-ка! По-почка!

Опять засвистал, но ему было трудно одновременно с
этим сложить губы в лъстивую улыбку.

— Куколка моя сахарная! — звал он. — Пряничек мой
медовый! Поди ко мне, малюточка, глянь на меня! Винца
полакать, кисанька? А? Винца полакать, сладенького вин-
ца из кружечки?

Опять изменив голос, он сгорбился на стуле и, подми-
гивая одним глазом, приглаживал скрюченными пальцами
воображаемую окладистую бороду.

— Уж ты только останься, Карен! — умасливал он. —
Уж ты только останься со мной, красавица! А я тебя не
покину, а тебе и вовсе бросить меня не след. — И его
голос хрипел от слез. — Нипочем и вовек не оставим мы

друг друга, голубонька ты моя, лапушка! Ни за что на свете! Поместье и добро всякое, золото, честь и слава дворянская, порода дворянская и род мой древний — провались они! Это мне все трып-трава! Пропади они пропадом! Плевать я на них хотел! Барышни разные благородные да барыни — начхать на них, говорю, начхать! По мне, им до тебя далеко, как до звезды небесной, ишь ведь какая роскошная ты бабепочка! Что у них гербы, да печати, да герольдии всякие, так, стало быть, уж они и лучше тебя стали, что ль? И у тебя есть свой гербишко! Есть! Красная меточка на белом плечике, что тебе выжжет каленым железом сам мастер Андерс. Вот это так печать! Начхал я на свой герб, только бы эту печаточку целовать. И поцелую, и поцелую! Вот во что я гербы-то ставлю, вот как-с! Ибо, спрашиваю, да сыщется ли во всем крае Зеландском такая баба, чтобы благородней и красивей тебя была? Есть, спрашиваю, иль нет? Нет, не сыщешь, днем с огнем не сыщешь, и похожего-то ничего не найдешь.

— Эт-то, эт-то... само собой... враки! — закричал он новым голосом, вскочил и размахался руками над столом. — Жена моя Ида... само собой... брехун ты полоротый! Вот так уж вышла стáтью, слышишь? Само собой, и ручки у ней, и ножки, и все такое, говорю тебе, прохвост ты облезлый!

Здесь Даниэль опять было хотел шлепнуться на стул, но в это время Ульрик Фредерик выхватил из-под него стул, Карла упал и покатился по полу.

Ульрик Фредерик хохотал как бешеный, а Мария подскочила и протянула обе руки, как бы собираясь помочь Даниэлю встать. Полулежа, полустоя на коленях, Карла схватил ее руку и смотрел на Марию таким благодарным и преданным взором, что она долго не могла о нем забыть.

Потом поехали домой, и никто из них и не подумал, что эта случайная встреча в шинке «Зайди-ка!» окажется куда значительно, чем казалась теперь.

Государственное собрание, которое, как только кончили убирать урожай, открылось в Копенгагене, привлекло в город большое число поместных дворян. Все они стремились отстаивать свои права, да, кстати уж, и

поразвлечься после летних трудов праведных. А к тому же, были не прочь пустить пыль в глаза коцсигатенцам, которые после войны стали поговаривать изрядно громко, ослепив их пышностью и богатством, и напомянуть им, что между лучшими людьми отечества и подневольным сбродом все еще остается твердая и незыблемая грань, невзирая на королевские привилегии, невзирая на воинские доблести и победную славу горожан, невзирая на умножение дукатов в ларцах торгашей.

Разодетые дворяне с женами кишмя кишели на улицах, проходу не было от расфранченных лакеев и породистых коней в сбруе, изукрашенной серебром, и в пестрых полонах с гербами. И пошло по всем дворянским домам гощенье и потчеванье — до поздней ночи из освещенных хором на весь город звучали скрипки, возвещая дремлющим жителям, что лучшие люди отечества горячат благородную кровь, проходясь в стройном танце по паркетам и осушая прадедовские кубки с пенным вином.

Все это миповало Марию Груббе. Никто, никто не звал ее в гости, ибо, по-первых, считалось, что некоторые из Груббе, по причине связей своих с царствующим домом, держали больше сторону короля, нежели сторону дворянского сословия, а во-вторых, потому, что доброе старое дворянство открыто ненавидело довольно многочисленную высшую знать, которая за последние десятилетия образовалась из побочных королевских детей и их близких родственников. Марию, таким образом, обходили по обеим причинам, а двор, который за все время государственного собрания жил очень замкнуто, ничем не мог возместить ей за чинимую обиду.

Поначалу переносить это было для Марии, пожалуй, несколько тяжело. Но положение не менялось, и тогда в ней быстро проснулось природное легко возбудимое упрямство и весьма естественно привело к тому, что Мария все тесней и искренней привязывалась к Ульрику Фредерику, и он стал ей еще дороже, ибо из-за него-то, как ей думалось, с ней и обходились несправедливо. И это чувство продолжало расти и крепнуть, так что, когда их втихомолку обвенчали шестнадцатого декабря тысяча шестисот шестидесятого года, имелись самые лучшие виды на счастливую семейную жизнь и у нее и у королевского егермейстера — это звание и должность были теми ми-

лостями победоносного царствующего дома, которые выпали на долю Ульрика Фредерика.

Венчание прошло совсем тихо, хотя было задумано совершенно иное: давным-давно было решено, что король справит им свадьбу во дворце, как отпраздновал Христиан Четвертый свадьбу госпожи Ригитце и Ганса Ульрика. Однако перед самой свадьбой стали колебаться, полагая, что из-за прежнего брака и развода Ульрика Фредерика надо бы ото всего этого отказаться, да и отказались.

И вот они люди женатые и живут своим домом. А время течет, время бежит, и все хорошо. Но замедлило время ход, поплелось, поползло, потащилося. Потому что это ведь дело обычное: если Леандр и Леонора проживут вместе с полгода, то уже и не всяк день дух любви будет воспарять над Леандром, хотя Леонора и любит его еще сильнее и еще искреннее, нежели в дни помолвки. Ибо если она остается похожей на малыша, которому старая сказка по-прежнему кажется новой, как бы часто ее ни рассказывали — теми же словами, с теми же неожиданными приключениями и с той же самой присказкой: «По усам текло, а в рот не попало», то Леандр уже настолько взыскателен, что утомляется, как только чувство перестает из него делать нового человека для него же самого. Не успеет дурман рассеяться, как он уже и отрезвел, и даже чересчур. Опьяняющий прилив блаженной гордости, придававший ему самоуверенность и спокойствие полубога, начинает отступать. Он пугается, задумывается, его берут сомнения. Он оглядывается на тот тревожный путь, который прошла в жизни его страсть, вздыхает, как водится, и зевает. И тоскует, чувствуя себя человеком, который вернулся домой из утомительно долгого путешествия по чужим краям и — вот на тебе! — снова видит такие знакомые и такие давно забытые места, глядит он на них, глядит да и начинает, сам не понимая почему, удивляться, ужели его и впрямь так долго не было здесь, в этом родном уголке земли.

Вот какое настроение создалось у Ульрика Фредерика в дождливый сентябрьский день.

Напустив в комнату собак, он позабавился с ними, попробовал почитать и сыграл с Марией в дальдес. Дождь

так и хлестал, в такую погоду не погуляешь, и Ульрик Фредерик зашел в свою оружейную палату (как он называл ее) с намерением обозреть и почистить свои сокровища, благо погода была подходящая, и тут вспомнился ему сундук с оружием, доставшийся в наследство после Ульрика Христиана. Он велел принести сундук с чердака, уселся и вещь за вещь поднимал на вытянутой руке и разглядывал полученное наследство.

Были тут и парадные шпаги с синеватым отливом, с золотой инкрустацией, и серебристые с матовой гравировкой, и охотничьи пойки с тяжелыми односторонними лезвиями, с лезвиями длинными, извилистыми, как языки пламени, и с трехгранными, острыми как игла; были и толедские клинки, и немало толедских клинков, легче камышинки и гибче ивового прута, с серебряной рукоятью в агатах, с рукоятью золотого чекану и из золота с венесами; у одного из клинков ручка была простая, из травленой стали, он был проткнут сквозь шелковую ленточку с застежками, на которой красным бисером и зеленым шелковым гарусом были вышиты розы и лозы. Был ли то наручень, или же, как считал Ульрик Фредерик, подвязка, а рапира прошла насквозь.

«Из Испании, — подумал Ульрик Фредерик, — ибо покойник провел там девять лет на армейской службе. Эх, быть бы и ему на иноземной службе, у Карла Густава, но тут как раз случилась война. Видно, никогда уж не придется ему поколесить по заграницам, а ведь ему еще только двадцать три года минуло. Всю жизнь жить здесь, при этом скучном не дворе, а дворике, еще более скучном теперь, когда дворянство отсиживается по домам. Поохотиться, поприсмотреть за поместьем, со временем, буде на то милость королевская, стать тайным советником и кавалером, делать приятное лицо перед принцем Христианом и держаться за свое положение, время от времени править какое-нибудь нудное посольство в Голландии, стариться, мучиться подагрой, умереть и быть погребенным во храме Богородицы — вот какой славный путь был ему уготован... А в Испании-то теперь идет война, там можно было бы добыть себе чести и славы, пожить настоящей жизнью — вот ведь и шпага и подвязка оттуда!

Нет уж! Непременно надо будет поговорить с ко-ролем...»

Дождь все еще шел, и до Фредериксборга ехать далеко, но это не помеха. Ждать он не мог, нужно решать сразу же.

Король одобрил предложение. Противу своего обычая, он немедленно изъявил согласие, к великому изумлению Ульрика Фредерика, который по дороге во дворец все время убеждал себя самого, приводя сам себе всяческие резоны, как этому трудно, невероятно трудно, невозможно сбыться. А король возьми да и согласись!

Еще до святок можно будет уехать, а тем временем могут быть предприняты первые шаги и ответ от испанского короля придет.

Ответ подоспел уже к началу декабря, но Ульрику Фредерику удалось уехать только к апрелю. Надо было так много подготовить заблаговременно — денег раздобудь, людей снаряди, грамоты сочини! Лишь после этого он уехал.

Мария Груббе была не очень-то довольна этим путешествием в Испанию, и сколько госпожа Ригитце ни втолковывала ей, что Ульрику Фредерику необходимо поехать по чужим краям и добыть себе чести и славы, дабы король мог сделать для него побольше и здесь — ибо хотя его величество и самодержец, тем не менее он весьма чувствителен к людским пересудам, а дворянство в нынешние годы пошло такое строптивое да злонаправное, что перетолкует, конечно, каждый шаг короля в самую дурную сторону, — все равно у женщин, что ни говори, есть врожденный страх перед всякими «прощай», а здесь было чего бояться! Ибо если бы Мария и смогла закрыть глаза на военные опасности и дальнюю опасную дорогу, утешаясь тем, что королевского-то сына, уж конечно, будут блюсти, то все-таки она не могла превозмочь боязни, что семейная жизнь, которую они так хорошо начали, от разлуки, да еще, того гляди, многолетней, может так поломаться, что никогда и не станет прежней.

Любовь их была такой молодой и такой неокрепшей! И как раз теперь, когда она пошла в рост, ее нещадно звергают во всевозможные искусы и опасности, — да разве же это не прямой путь погубить ее? И вот чему недолгое супружество научило Марию: в невестах она считала, что куда как легко жить в таком браке, когда и муж и жена — каждый идет своей дорогой, но такой брак,

оказывается, не жизнь, а горе, тьма беспросветная! А ведь этому внешне уже положено начало, упаси господи, чтобы и в душе произошло то же самое. Но распахивать ворота перед этакой разлукой — значит, жестоко испускать счастье.

А еще она сильно ревновала ко всем этим католическим вертихвосткам в этих самых гишпанских краях.

Фредерик Третий, который, как и весьма многие государи и владетельные особы того времени, ревностно занимался алхимией, дал Ульрику Фредерику в дорогу наказ — понаведаться в Амстердаме к славному итальянскому алхимику Бурри, вызнать, не собирается ли он в Данию, и обиняками намекнуть ему, что и король и богач Кристен Скуль из Сострупа сумели бы вознаградить его за труды, когда бы он перебрался сюда.

Поэтому, прибыв в июне месяце шестьдесят второго года в вышеназванный город, Ульрик Фредерик велел Оле Борху, учившемуся здесь и хорошо знакомому с Бурри, свести себя к алхимику.

Алхимик был человек лет пятидесяти с небольшим, ростом ниже среднего, весьма предрасположенный к тучности, легкий на ногу и осанистый, с лица желтоват, волосом черен, борода курчавая, щеки румяные, подбородок жирный, нос горбатый, чуть приплюснутый, а подмигивающие глазки были окружены бесчисленным множеством морщин и морщинок, которые веером расходились из уголков глаз и придавали лицу пронырливый и в то же время добродушный вид.

Наряжен он был в черный бархатный камзол с большими обшлагами и серебряными пуговицами, обтянутыми кисеей, черные панталоны до колен, черные шелковые чулки и черные же башмаки с большими черными розетками. По-видимому, он ценил кружева, ибо в кружевах у него были и грудь и концы шейного платка, а с рукавов и краев панталон свисали густыми складками блондовые брыжжи. Ручки у него были белые, пухлые, сплошь унизанные на редкость аляповатыми золотыми перстнями, так что пальцы все время топырились. Даже на больших пальцах он носил тяжелые, огромные кольца с блестящими камнями.

Не успев сесть, он спрятал, несмотря на то, что стояло лето, руки в большую меховую муфту, ибо, как он выражался, постоянно мерз руками.

Комната, куда он ввел Ульрика Фредерика, была большая и просторная, со сводчатым потолком и стрельчатыми окнами вверху стены. Посредине стоял большой круглый стол, а вокруг него деревянные стулья, на которых лежали мягкие подушки из красного шелка с длинными, тяжелыми кистями по всем четырем углам. В столешницу была вделана серебряная плита, где черной финифтью были изображены двенадцать знаков Зодиака, планеты и важнейшие созвездия. С розетки посреди свода свисали нанизанные на шнур страусовые яйца. Пол был выстлан плитками, размалеванными в серый и красный цвет, а перед дверью, у самого порога, были вогнаны в половицу старые подковы, расплющенные треугольником. Большая ветка коралла стояла под одним окном, темный резной дубовый шкаф, обитый латуњью, — под другим. В углу помещалась восковая кукла в человеческий рост, изображавшая арапа, а вдоль стены лежали глыбы свинцовой и медной руды. Арап держал в руке сухую пальмовую ветвь.

Когда они уселись и обменялись первыми любезностями, Ульрик Фредерик спросил у Бурри — они говорили по-французски, — не пожелает ли тот мудростию своею и опытностью воспомоществовать также и тайнопытателям в земле датской.

Бурри покачал головой.

— Знаю я, правда, — ответил он, — что тайное искусство имеет в Дании знатных и могущественных почитателей, но сколько же я напереобучал государей светских и князей церкви! И если не всякий раз неблагодарность видел и малое к себе уважение, взамен ожидаемой награды, то встречал зато столько превратных суждений и бестолковости, что вряд стану впрямь рядиться в личину наставника столь высокородных школяров. Неведомо мне, по какой *regula*¹ или методе производит свои опыты его величество король датский, а следственно, слова мои ни разуметь его, ни хулы на него содержать не могут, но смею заверить, что попадались мне господа из самого наивысороднейшего дворянства, даже князья

¹ Правилу (лат.).

и помазанники-самодержцы, столь несведущие в *historia naturalis*¹ или *materia magica*,² что и у зауряднейшего шарлатана базарного не бывает такого мужичьего суеверия, как у них. С легкостью склоняли они слух своему даже к повсеместному постыдному поверью, гласящему, что выделывать золото — все равно что сонное питье или пилюлю лекарственную изготовить; лишь бы раздобыть правильный рецепт — а там мешай все вместе, ставь на огонь, скажи *formulam*,³ и извольте — готово золото! Этокое поверье пошло от ловкачей урвать толику и от лиц невежественных — сгинь они окайнные! Ужели такие люди не разумеют, что будь сие правда, так мир утопал бы в золоте? Пусть, как некие добрые сочинители, и верно с полным правом, полагают, что, согласно особому уставу природы, лишь малая доля материи может быть очищена и превращена в золото, — все равно нас затопило бы. Нет, искусство делать золото есть искусство трудное и дорогостоящее. Надобна удачливая рука, должны наличествовать некие особые конstellации и конъюнкции, чтобы золото валом валило. Не всякий год материя равно златоплодна, нет, нет! Поразмыслите только, что сие вам не простая *destilatio*⁴ или *sublimatio*,⁵ но дело касается превращения естества. Да уж если на то пошло, осмелюсь выразиться — содрогаются скинии духов природы всякий раз, когда частица чистого червонного золота высвобождается из тысячетных объятий *materiae vilis*.⁶

— Но, — сказал Ульрик Фредерик, — уж простите, что спрашиваю об этом, а не подвергаешь ли опасности и гибели душу, занимаясь подобными тайными науками?

— Нет, нет! — живо возразил Бурри. — Что это вам вздумалось? А где вы найдете большего мага, нежели Соломон, чьи печати, и великая и малая, чудесным образом сохранены нам и до нынешних времен? А кто наделил Моисея даром волшебства? Не Саваоф ли, дух бури, Устрашающий?

И он прижал камень в одном из перстней к губам.

¹ Естественной истории (лат.).

² Волшебной материи (лат.).

³ Формулу (лат.).

⁴ Дистилляция (лат.).

⁵ Возгонка (лат.).

⁶ Грубой материи (лат.).

— Ну, разумеется, — продолжал он, — знаем мы великие имена Тьмы и грозные опасные слова, и даже зловещие тайные знаки, кои, буде их употребить во зло, как то делают разные ворожейки, колдуны и знахари, вмиг паложат на заклинателей узы геены. Ну, а мы-то, мы призываем их лишь ради того, чтобы освободить святую праматерию от нечистой заразы и совокупления с тленом земным и пеплом. Ибо это вот и есть золото. Золото есть первичное изначальное естество материи, которая существовала, чтобы давать свет, прежде нежели солнце и луна были утверждены на своде небесном.

Долго еще они беседовали об алхимии и других тайных науках, пока Ульрик Фредерик не спросил, не составил ли Бурри ему гороскоп с помощью записочки, которую он переслал с Оле Борхом несколько дней назад.

— В общем, — ответил Бурри, — я мог бы вам, пожалуй, сказать, что вам предуготовано, но если расположение звезд не определить в тот же самый час, когда ребенок родился, то не все мелкие знаки будут учтены и на вывод, следственно, можно лишь весьма мало полагаться. Однако же я кое-что да знаю. Родись вы бюргером и будь вы в скромной должности лекаря, я имел бы поведать вам одни приятности, теперь же вашему земному пути далеко до ровного. В некоторых смыслах приходится весьма сожалеть, что на свете завелся такой порядок, по которому большею частью сын у ремесленника и бывает ремесленником же, купеческий сын — купцом, крестьянский сын — крестьянином, и так далее во всем. Ибо злочастье многих имеет свою причину единственно в том, что они избирают себе иную часть, нежели предуказанная им при рождении расположением знаков Зодиака. Если, к примеру, тот, кто рожден под знаком Овна в начале фазиса, пойдет по военной части, то ни в чем ему удачи не будет — ни раны, ни малое чинопроизводство, ни смерть в молодых летах не минуют его. А если приложит он руки к ремеслу золотых дел мастера или же гранильщика, то все у него пойдет как по-писаному. Тому, кто рожден под знаком Рыб, в первом фазисе, надлежит землепашествовать или же, если он богат, разжиться добрыми угожьями. Тот же, кто рожден в последнем фазисе, пусть пытается счастья на море, будь он хоть простой паромщик, хоть адмирал. Телец в первом фазисе благоприятствует людям военным, в последнем — адвокатам.

Близнецы же, под которыми родились вы, благоприютствуют, как я уже сказал, *medicis*¹ в первом фазисе и купцам во втором. Однако дайте-ка мне теперь посмотреть вашу руку!

Ульрик Фредерик протянул ладонь. Бурри отошел к треугольнику из подков и потер об них башмаки, будто канатный плясун подошвы о накатанную доску, прежде чем стать на канат. Потом стал разглядывать руку.

— Так! — заговорил он. — Линия славы, вижу, цела и длинна и тянется насколько возможно, но не достигает короны. Линия счастья на некоторое время тускнеет, но потом проясняется все больше и больше. А вот линия жизни... выглядит она, к прискорбию моему, совсем дурно. Вам должно, и весьма, остерегаться, покуда не минет вам двадцать семь, а до сего возраста жизнь ваша будет угрожаема сурово и тайно. Но затем линия проясняется, крепнет и доходит до глубокой старости. Однако дает она лишь одно ответвление... впрочем, нет, вот рядом и еще одно, поменьше... Да, будут у вас наследники от двух браков, непременно будут, но от двух браков, и будет их мало.

Он выпустил руку.

— Слушайте, — сказал он строго, — грозит вам опасность, а откуда — не вижу, ясно лишь, что не на войне. На случай падения или иной какой беды в дороге, возьмите-ка вот эти трехгранные малахиты. Они особенного сорта. Поглядите, у меня самого в этом перстне такие же. Они хорошо предохраняют от падения с лошади или если опрокинется карета. Возьмите же их с собой и носите прямо на голой груди или, если дадите оправить их кольцо, то уберете позади золото, затем что они должны касаться тела, коль скоро предназначены охранять. А вот, извольте видеть, яшма-камень. На нем имеется как бы подобие некоего дерева. Камень сей весьма редок, изящен и есть доброе средство противу коварного удара острым оружием из-за угла или жидкой отравы. Еще раз молю вас, сударь, остерегайтесь, милый мой юноша, да хорошенько, особенно женщин. Доподлинно не ведаю, но есть знаки, указующие, что опасность блеснет в руке женщины. Только доподлинно этого я не знаю, это не наверняка. Посему остерегайтесь также лукавых друзей и плутоватых слуг, холодных вод и долгих ночей.

¹ Врачам (*лат.*).

Ульрик Фредерик любезно принял подарки и не преминул на следующий день послать алхимику драгоценную нашейную цепь в благодарность за добрые советы и за добрые охраняющие камни.

После этого поездка продолжалась без остановок до самой Испании.

10

Тихо, тихо стало на подворье в тот весенний день, когда цокот подков замер вдали. Кончилась суতোлка расставания, но еще настезь стояли все двери, еще не убран был стол, за которым откушал Ульрик Фредерик; как скомкал он и швырнул салфетку, так и валялась она возле его куверта, а по всему полу еще виднелись мокрые следы от его ботфорт.

Вот там, у высокого трюмо, он прижал ее к груди, без конца целовал на прощанье и старался утешить клятвенными обещаниями, что они вскоре свидятся.

Невольно подошла она к зеркалу, словно хотела посмотреть, не удержало ли оно тот образ, который она видела минуту назад, когда Ульрик Фредерик обнимал ее. Но из-за светлой, прозрачной глади зеркала двигалась навстречу ее вопрошающему взору одинокая унылая фигура и бледное заплаканное лицо.

Внизу запирали ворота, слуга убирал со стола, а Нерошка, Пассандо, Пустолай и Дельфин, его любимые собаки, сидевшие взаперти, бегали теперь по комнате, жалобно повизгивая и обнюхивая следы. Мария хотела позвать их, но слезы душили ее. Пассандо, огромный лисодав, подошел к ней. Опустившись на колени, Мария похлопывала его и гладила, но пес только помахивал рассеянно хвостом и смотрел на нее в упор удивленными глазами, и скулил, и скулил, и скулил.

Те первые дни... И как же все было пусто и грустно, как лениво бежало время, и как тяжело угнетало ее одиночество, и как потом иной раз тоска была словно соль на открытую рану — как ножом резало!

Да, так было в первые дни, но когда это перестало быть внове и по-прежнему наваливалось все сразу: мрак и пустота, тоска и печаль — день за днем — как тяжелый снегопад, когда валятся хлопья за хлопьями, медленно ниспадающая пелена — одна за другой, — тогда на



нее находили странная безнадежная вялость и спокойствие, даже какая-то бесчувственность, которая располагается поудобнее под сенью скорби.

И вдруг все совершенно изменялось.

Каждый нерв напряжен от сильнейшего возбуждения, в каждой жилке биение жизнелюбивой крови, а воображение, как воз-

дух в пустыне, переполнено пестроликими видениями и дурманящими миражами.

В такие дни Мария чувствовала себя узницей, которая с нетерпением глядит, как ускользает юность, весна за весной, течет мимо, не принося ни плода, ни цвета, тусклая и унылая, и знает одно: гинуть да гинуть, но никогда не возвращаться. И казалось ей, будто отсчитывают ей всю сумму времени, по грошику за час; как только пробьют часы, с последним звоном падает, звякая, к ногам

ее грошик, ломается на кусочки, крошится и превращается в прах. И тогда от мучительной тоски по жизни она была готова ломать себе руки и кричать, как на пытке.

Редко показывалась она при дворе или у родственников, ибо этикет требовал, чтобы она больше сидела дома. А поскольку она не очень-то была расположена радушно принимать гостей, то вскоре к ней перестали ездить и она была полностью предоставлена самой себе.

В итоге, от всех этих тоскливых раздумий и грусти не замедлила явиться какая-то ленивая истома, и дни и ночи кряду Мария валялась в постели, стараясь поддерживать то полубодрящее-полудремотное состояние, которое порождало сказочные грезы, далеко превосходящие по отчетливости туманные видения здорового сна. Эти грезы были почти действительностью и желанной заменой жизни, которой Марии недоставало.

День ото дня становилась она все раздражительнее, даже малейший шум причинял ей боль, и у нее появлялись необычайнейшие фантазии, внезапно возникали сумасшедшие желания, которые могли заставить сомневаться, в здравом ли она рассудке.

И правда, пожалуй, до сумасшествия оставался только шаг от овладевавшего ею странного сладострастного влечения совершить какой-нибудь отчаянный поступок лишь для того, чтобы совершить его, а вовсе не потому, что у нее был хоть малейший повод или даже хоть сколько-нибудь действительное желание.

Случалось иногда, стояла она у открытого окна, прислонясь к косяку, и смотрела в глубину — на мощный двор, и вдруг ее трясло от искусительного желания броситься туда, вниз, лишь для того, чтобы это сделать. Но, сделав воображаемый прыжок, она в тот же миг испытывала острое холодное колотье, которое бывает, когда прыгаешь с высоты, и кидалась прочь от окна в самую глубь комнаты, дрожа от ужаса и представляя себе, как она, вся в крови, лежит на жестких камнях, и виделось ей это так явственно, что нужно было опять подойти к окну и посмотреть вниз, чтобы прогнать видение.

Менее опасной и несколько иной природы было страстное желание, которое ощущала Мария, когда иной раз нечаянно взглядывала на свою голую руку и почти с любопытством рассматривала, как разбегаются под белой прозрачной кожей голубые и темно-лиловые прожилки, —

страстное вожделение впиться зубами в эту пухлую выпуклую белизну. И, повинувшись своей страсти, Мария на самом деле, как свирепый звереныш, вгрызалась зубами, оставляя метку за меткой, но как только становилось по-настоящему больно, переставала и принималась ласкать и баюкать бедную, изувеченную ручку.

А то ей ни с того ни с сего взбрело на ум сорваться с места, уйти и раздеться догола для того только, чтобы закутаться в стеганое красное шелковое одеяло и ощущать прохладное скользкое прикосновение гладкой материи, или чтобы провести ледяной сталью клинка по обнаженной спине.

Таких причуд было у нее много.

После четырнадцатимесячного отсутствия Ульрик Фредерик возвращается наконец домой.

Это было как-то ночью, в июле. Мария не могла заснуть, лежала и прислушивалась к ленивому посвистыванию ночного ветерка, ей не давали покоя тревожные мысли.

За последнюю неделю она ждала Ульрика Фредерика с часу на час, с минуты на минуту, желая, чтобы приехал, боясь, что приедет. Будет ли все по-старому, через четырнадцать-то месяцев? То ей казалось — да, то — нет. Она и теперь еще не могла простить ему эту самую поездку в Испанию, так она постарела за это время, стала такая унылая да вялая. А он-то вернется, привыкший к блеску и суете, еще свежее и моложе, чем прежде, совсем юноша, и увидит, как она побледнела и поблекла, как тяжело у нее на душе и как она ноги волочит, совсем не та, не прежняя. И с первой же встречи будет он с ней как чужой, будет холоден, а от этого она только еще больше оробеет, и отвернется он от нее, но она-то от него никогда не отвернется, ни за что, ни за что! Нет, нет, она будет ему как мать, глаз с него не спустит. А когда ему на белом свете не поздоровится, он придет к ней, и она будет его утешать, будет с ним ласкова, будет ради него терпеть лишения, страдать и плакать, все ради него сделает.

Потом ей снова казалось, что стоит ей лишь увидеть его, как все пойдет по-старому — ну да! Будут они носиться по комнате сломя голову, как проказливые пажы,

галдеть и беситься, а стены отзовутся эхом визга, хохота и радостных криков, а по углам зашепчутся поцелуи.

Думая об этом, Мария погрузилась в легкую дрему, и в сон вторглись шум и возня, а когда она проснулась, шум еще продолжался: быстрые шаги гремели на лестницах, заскрипели ворота, хлопали двери, на улице загрохотали кареты и подковы зацокали по мостовой.

«Он!» — подумала Мария, вскочила, сорвала с постели большое стеганое одеяло и, закутавшись в него как в плащ, помчалась по комнатам. В горнице она остановилась. На полу стояла в деревянном светце сальная свеча, несколько свеч в шандалах уже были зажжены; совсем захлопотавшись, слуга недоделал дела и куда-то убежал. В предзалье разговаривали. То был голос Ульрика Фредерика. Мария задрожала от волнения.

Распахнулась дверь, и ворвался в шляпе и плаще — он, хотел схватить ее в объятия, но успел поймать только руку, потому что Мария отпрыгнула назад. Он показался ей совсем чужим, она не могла понять, что на нем за одежда... Он так загорел и пополнил, а под плащом у него был диковинный наряд, каких она отродясь не видывала. То была новая мода: длинный жилет и камзол с меховой опушкой. От этого фигура его совершенно изменилась и стала еще неузнаваемее.

— Мария! — вскричал он. — Девочка моя любимая! — И рванул ее к себе так, что у нее хрустнуло запястье и она застонала от боли. Но Ульрик Фредерик не заметил этого. Он был изрядно пьян, ибо ночь была не из теплых и на последнем постоялом не раз они в рюмочку заглянули.

Что толку, что Мария противилась? Он целовал ее и хлопал по спине яростно и безудержно. В конце концов она вывернулась и побежала в соседнюю комнату. Щеки у нее пылали, грудь колыхалась. Но потом она одумалась, решила, что это будет, нечего сказать, хороша встреча, и вернулась.

Ульрик Фредерик, ошарашенный и совсем сбитый с толку, стоял на том же месте, разрываясь на части между стремлением заставить захмелевшую голову сообразить, что же все-таки происходит, и тщетным старанием отстегнуть крючок у шейной пряжки плаща. Но и мысли его и руки были одинаково беспомощны; когда же Мария вернулась и высвободила его из плаща, он смекнул, что все происходящее, наверно, просто шутка, и разразился

заливистым рокочущим хохотом. Покачиваясь и пошатываясь, он хлопал себя по ляжкам, корчился и извивался, лукаво грозил Марии пальцем, похохатывал радостно и добродушно, надумав, видно, сказать нечто уморительно потешное, оно вертелось у него уже на языке, и он было начал, но никак не мог выговорить и наконец, обессилев и изнемогая от припадка давившего его хохота, бухнулся в кресло, хрипя, отдуваясь и охая ото всей этой уморы, а по лицу у него расплылась широкая блаженная улыбка.

Мало-помалу улыбка уступала место какой-то сонливой серьезности, Ульрик Фредерик поднялся и зашагал по комнате молчаливо, недовольно и величественно. Встал наконец в позу у каминна, прямо перед Марией, уперев одну руку в бок, а другой опираясь на карниз, и, все еще грузный с великого похмелья, надменно мерял Марию мутным взглядом.

Заплетающимся языком пьяного он разглагольствовал долго и путано о собственном величии, о почестях, оказанных ему за границей, и о том, какое это счастье для Марии, дочери заурядного дворянина, быть супругою человека, который, только пожелай, мог бы взять за себя даже и принцессу крови; засим безо всякого повода он перескочил на то, что хочет быть у себя в доме хозяином, и грозился Марии, чтобы она слушалась, с первого же слова слушалась: он не потерпит никаких резонов, чтоб она у него ни-ни — и пикнуть не смела! Как он ее ни возвысил, а все же она навеки останется его рабой, этаккой маленькой рабыней, маленькой миленькой рабыньчкой. И тут он разнежился, как играющая рысь, плакал, ухмылялся, заигрывал и приставал к Марии с назойливостью пьяного, с вульгарными словами о любви и грубыми ласками — неизбежными, неотвратимыми.

На следующее утро Мария проснулась намного раньше Ульрика Фредерика. Почти с ненавистью рассматривала она существо, спавшее рядом с ней. Запястье у нее распухло и ныло после вчерашнего насильственного приветствия. Лежал он, закинув сильные руки под большой лохматый затылок; беспечно, вызывающе-дерзко дышала широкая грудь, а ленивая, сытая усмешка застыла на багровых, влажных, лоснящихся губах.

Глядя на него, Мария побледнела от досады и зарделась со стыда. Почти как чужой для нее после долгой разлуки вторгся он, настаивая чуть ли не кулаком на ее

любви, как на своем законном праве, надменно уверенный в полной преданности и привязанности ее души, как бывают уверены, что застанут мебель на том же самом месте, где она стояла, когда выходили из дому. Уверенный, что без него скучали, уверенный, что тоскливые жалобы срывались у нее с губ и летели к нему на чужбину, уверенный, что все ее желания сводились к тому, чтобы он сгреб ее в охапку.

Встав с постели, Ульрик Фредерик застал Марию полулежащей-полусидящей на софе в синем покое. Мария была бледна, черты лица обмякли, взор опущен, а большая рука, обернутая кружевным платком, утомленно свисала с колен. Ульрик Фредерик потянулся было к ней, но Мария медленно подала ему левую и, болезненно улыбаясь, запрокинула голову.

Ульрик Фредерик с улыбкой поцеловал протянутую руку и, сделав несколько шуточных замечаний по поводу своего вчерашнего поведения, оправдывался тем, что за все время, пока он был в Испании, ни единого разу не привелось ему выпить, как у добрых людей водится, ибо испанцы пить толком вовсе не умеют. Да и, сказать по чести, он больше любит пить поддельную малагу или аликант из трактира Йохана Лена или же из пивного погреба, нежели настоящую сладкую чертовщину, которой потчуют на юге.

Мария молчала.

Стол к завтраку был накрыт, и Ульрик Фредерик спросил, не откусывать ли им. Есть Марии ничего не хотелось. Она извинилась — пусть он завтракает один, а у нее нет аппетита, да и руку у нее разломало, он прямо размозил ей руку.

Тут только Ульрик Фредерик понял, в чем он провинился, и захотел тогда взглянуть на больную руку и поцеловать ее, но Мария проворно спрятала руку в складках платья и посмотрела на него, как он выразился, взглядом тигрицы, обороняющей своего беззащитного детеныша. Он упрашивал ее, но тщетно. Тогда он, смеясь, сел за стол и ел с таким аппетитом, что Марию это задело за живое. А он спокойно и посидеть не мог: ему надо было то и дело подбегать к окну и выглядывать на улицу, ибо все эти повседневные уличные сцены в родном городе представлялись ему такими новыми и курьезными. Вскоре от непрестанной беготни он растерял по комнате

половину сервировки: пиво у него очутилось на одном окне, хлебный нож валялся на другом, салфетка свисала с вазы, стоявшей на позолоченном геридоне, а на столике в углу лежал крендель.

В конце концов он управился с завтраком и подсел к окну, и сидел долго, и смотрел на улицу, болтая с Марией, которая, лежа на софе, еле отвечала ему, а то и вовсе не отвечала.

Наконец она поднялась и подошла к окну, у которого сидел Ульрик Фредерик. Вдохнула и тоскливо уставилась в пространство.

Ульрик Фредерик улыбался и с великим усердием упорно вертел на пальце перстень с печаткой.

— Подуть на большую ручку? — спросил он жалобным, сочувственным тоном.

Не говоря ни слова, Мария сорвала кружевной платок с руки и продолжала смотреть вдаль.

— Этак ведь она, малюточка моя несчастная, простынет, — сказал он и взглянул на миг вверх.

Мария оперлась, по-видимому бессознательно, большой рукой о подоконник и перебирала пальцами, как бы играя на клавикордах: туда-сюда, с солнца в тень от рамы, и снова из тени на солнце — взад и вперед, туда и сюда.

Ульрик Фредерик довольно улыбался, глядя на эту красивую бледную руку, которая, как шустрый, гибкий котенок, резвясь, носилась по всему подоконнику, сжималась в комок, как бы готовясь прыгнуть, перекачивалась и перевертывалась, выгибала спину дугой... Вот подобралась к ножу, потрогала рукоятку, отползла назад, распласталась на подоконнике, потихоньку опять подкралась к ножу, ловко обвилась вокруг черенка, подняла лезвие на свет, чтобы оно заиграло на солнце, и тут же взлетела с ножом...

В тот же миг нож молниеносно ринулся к нему на грудь, но он оборонился рукой, и лезвие распороло ему длинные кружевные брыжи до самого рукава. Ульрик Фредерик выбил нож в сторону, нож ушел на пол, а Ульрик Фредерик, закричав от ужаса, сорвался со стула. Стул качнулся и опрокинулся — и все это в одну секунду, как бы единым махом.

Мария побледнела как смерть. Она прижала руки к груди, взор оцепенел, в глазах был ужас. Она неподвижно смотрела на то место, где только что сидел Ульрик



Фредерик. Потом веки опустились, резкий мертвящий смех вырвался из полуоткрытых губ, и Мария беззвучно и медленно опустилась на пол, как бы поддерживаемая незримыми руками.

Играя с ножом, Мария внезапно обратила внимание, что кружевная рубашка на Ульрике Фредерике распахнулась и обнажила грудь. И в тот же миг у нее возникло бессмысленное желание ударить холодным блистающим лезвием в эту белую грудь. И она ударила. Не потому, что хотела убить Ульрика Фредерика или даже только ранить его, а может быть, лишь потому, что нож был холодный, а грудь — сильная и здоровая, но уж конечно, прежде всего потому, что не могла не сделать этого, ибо воля ее потеряла власть над мозгом, или же мозг — над волей.

Ульрик Фредерик стоял бледный и опирался ладонями о накрытый стол. Его трясло так, что стол дрожал и посуда подпрыгивала, толкалась и звенела. Впрочем, пугливость не была свойственна Ульрику Фредерику и храбрости в нем хватало, но все это случилось так неожиданно и было — хоть с ума сойди — так непонятно, что он лишь с ужасом, как о призраке, мог думать о теле, которое лежало вон там на полу, у окна, безжизненно и неподвижно. Вновь прозвучали ему слова Бурри об опасности, которая блеснет в руке женщины. Он упал на колени и стал молиться. Ибо ведь всякое надежное спокойствие, всякое разумное упование покинули жизнь земную, а с ними и надежды и уверенность человеческая. Ибо здесь вершило судьбу само небо, неведомые духи властвовали, сверхъестественные силы и знаменья предопределяли. Иначе с чего бы ее толкнуло убивать его, зачем ей это надо было, зачем? Боже всемогущий, зачем же, зачем? Затем, что тому должно было случиться. Должно.

Почти крадучись, подобрал он нож, переломил лезвие и кинул обломки в пустой камин.

Мария все еще не шевелилась.

Уж не поранилась ли она? Нет, нож был, слава богу, чист и крови на брыжах нигде не видно. Но она лежала так тихо-тихо, совсем как покойница. Он подбежал к ней и поднял на руки.

Мария вздохнула, открыла глаза, посмотрела перед собой оцепенелым мертвым взглядом, увидела Ульрика Фредерика и — обвилась вокруг него руками, целовала и ласкалась, но не говорила ни слова. Хоть и улыбалась она радостно и счастливо, но во взоре был какой-то вопрошающий страх. Пошарила взглядом по полу, словно искала чего-то, затем схватила Ульрика Фредерика за руку и пощупала рукав, а увидев, что он разорван и блонды висят ключьями, закричала от ужаса:

— Так, значит, я все-таки сделала это! — восклицала она в отчаянии. — Ах, господи, царю небесный! Не дай ума лишиться! Добром тебя прошу!.. А ты-то что же ни слова не молвишь, ни о чем не спросишь? — обратилась она к Ульрику Фредерику. — Что же не отшвырнешь меня, как гадину ползучую? И все равно, вот тебе крест, нету на мне вины и не причастна я к тому, что сделала! Нашло на меня, не сама — оно подтолкнуло меня, заста-

вило. Вот всеми святыми тебе клинусь, *она* моею рукою водило! А ты не веришь! Да и как поверить-то!

И она заплакала и запричитала.

Но Ульрик Фредерик верил ей всецело. Ведь это было полнейшим подтверждением его собственных мыслей, и он утешал ее добрым словом и ласками, хотя и чувствовал перед ней затаенный страх, как перед тем, кто оказался жалкой, обезумевшей игрушкой во власти треклятых злых духов. И он не преодолел этого страха, несмотря на то, что Мария изо дня в день пускала в ход все умение умной женщины, чтобы добиться его доверия. Если она в то первое утро поклялась себе, что придется-таки Ульрику Фредерику быть как никогда обходительным и набраться величайшего терпения, чтобы покорить ее вновь, то теперь она повела себя так, словно поклялась в противном: каждый взгляд был мольбой, каждое слово — смиренным обетом, и тысячами мелочей — одеждой и жестами, лукавыми сюрпризами и нежной заботливостью — по сту раз на дню признавалась она ему в своей глубокой тоскующей любви, и если бы Мариц было нужно всего лишь побороть воспоминания о выходке в то утро, то и победа ей была бы обеспечена.

Но враги посильнее стояли ей поперек дороги.

Захудалым принцем выехал Ульрик Фредерик из страны, где властное дворянство отнюдь не почитало внебрачных королевских детей выше себя. Самодержавие было еще так внове, а взгляд, что король — это человек, покупающий себе власть тем, что оделяет властью других, такой взгляд укоренился исстари. Ореол полубога, окружавший впоследствии наследного самодержца, если и мерцал уже, то все-таки был еще бледен и слаб, чтобы ослеплять кого-нибудь, кроме стоявших в непосредственной близости.

Из этакой-то вот страны Ульрик Фредерик отправился на службу ко двору Филиппа Четвертого, и вот здесь его осыпали дарами и почестями, пожаловали грандом Испании и обходились с ним ни мало ни много как с самим доном Хуаном Австрийским, ибо король испанский не преминул в лице Ульрика Фредерика всячески чествовать Фредерика Третьего и, расточая небывалые щедроты и милости, выражал свое сочувствие перемене образа правления в Дании и признание увенчавшихся успехом стремлений короля Фредерика стать, наряду с другими,

самодержавным государем. Превознесенный до небес и одурманенный всеми этими почестями, которые совершенно изменили его взгляд на свое собственное значение, Ульрик Фредерик вскоре понял, что поступил непростительно опрометчиво, взяв в супруги дочь заурядного дворянина, а мысли о том, как бы выместить на ней свою же собственную неосмотрительность или, напротив, как бы возвысить Марию, и мысли о том, как бы развестись с ней, пестрыми вихрями налетали одна на другую еще тогда, когда он возвращался на родину. Когда же к этому присоединился суеверный страх, что от Марии исходит угроза его жизни, Ульрик Фредерик решил до поры до времени обходиться с супругой холодно и церемонно, пресекая всякую попытку воскресить былые идиллические отношения.

Фредерик Третий, который отнюдь не был человеком непроницаемым, живо подметил, что Ульрик Фредерик не очень-то доволен браком, и разгадал также, в чем тут причина. Поэтому он пользовался каждым удобным случаем, чтобы выдвигать и отличать Марию Груббе, осыпал ее знаками своей милости и благосклонности, думая таким образом возвысить ее в глазах Ульрика Фредерика и благорасположить его к жене. Но проку от этого не вышло. Это лишь помогло окружить избранницу целым полчищем бдительных и завистливых врагов.

В то лето, как, впрочем, бывало часто и прежде, королевская семья жила во Фредериксборге.

Выехали туда и Ульрик Фредерик с Марией, ибо должны были вместе с другими заранее измышлять и придумывать всевозможные празднества и шествия, которым надлежало состояться в сентябре и октябре, когда курфюрст Саксонский прибудет на помолвку с принцессой Анной Софией.

Пока же круг придворных был очень мал, и расширяться он должен был только в конце августа, когда предстояло начаться репетициям балетов и прочих увеселений. Поэтому во Фредериксборге было совсем тихо и каждый проводил время как умел. Ульрик Фредерик пропадал почти каждый день на охоте или на рыбной ловле, король по-прежнему корпел у токарного станка или в лаборатории, которую велел устроить в одной из баше-

нок, а королева с принцессами рукодельничала, готовясь к предстоящему празднеству.

По аллее, ведущей из леса к калитке маленького зверинца, Мария Груббе прогуливалась по утрам.

Была она там и нынче.

Далеко в верхнем конце аллеи горело ее мареновое красное платье, вспыхивая на фоне черноземной дорожки и зеленой листвы.

Мария неторопливо приближалась.

Изящная черная поярковая шляпа без каких-либо украшений, кроме узкой низки жемчуга и блестящего солитера в серебряной оправе на отогнутом кверху поле, еле касалась волос, уложенных тяжелыми и густыми локонами. Гладкий лиф робы сидел в обтяжку, узкие рукава у локтя поднимались буфами и были подбиты шелком телесного цвета, а глубокие разрезы перехвачены перламутровыми аграфами. Оборка из мелкоплетеных кружев прикрывала голые руки. Юбка робы, чуть-чуть волочившаяся назад, с боков была высоко подобрана и спадала спереди округленными складками, оставляя напоказ шелковую исподницу черно-белыми полосами, да такой длины, чтобы как раз можно было разглядеть ножки в черных чулках со стрелками и башмачках с жемчужными пряжками. В руке у нее был веер из лебяжьего и воронова пера.

У самой калитки она остановилась,дохнула на ладонь и подержала ее сперва у одного глаза, потом у другого, затем ощипала ветку и приложила прохладные листья к воспаленным векам, но все равно было видно, что она наплакалась. Потом прошла через калитку, стала подниматься к дворцу, возвратилась и свернула на боковую дорожку. Не успела она исчезнуть меж темно-зелеными буксовыми шпалерами, как вверху аллеи объявилась странная увечная пара: человек, медленно ковылявший, точно только что встал с одра тяжкой болезни, опирался на какую-то женщину в плаще из старомодной материи и с огромным зеленым козырьком над глазами. Человечку хотелось шагать быстрее, а сил не было. Женщина же все удерживала его, семеня рядом и потихоньку выговаривая ему.

— Ну, ну! — ворчала она. — Погоди, погоди! Вперед ног не убежишь! А то поскакал, что кривое колесо по косо́й дороге. Руки-ноги болят — прыгать-бегать не велят.

Шагай-ка полегонечку! Не слышал, что ль, что знахарка-то в Люнге говорила? Ишь, ковыляка выискался! Ковыль-ковыль, а в ногах ни опоры нету, ни крепости, ровно в жгуте соломенном.

— Ох, да и что же это за ноги стали, прости господи! — заныл больной и остановился от дрожи в коленях. — Вот и не видать ее стало! — И он тянулся жадным, тоскливым взором к калитке. — Вовсе не видать! А гоф-хурьер сказывал, что нынче и на гулянье не поедут. А до завтра, ох, сколько ждать!

— Да полно тебе! Время-то, оно, знать, мигом минет, Даниэлюшка, голубчик мой! Покамест поотдохнешь ты нынче, зато к завтраму бодрей станешь, а там мы с тобой по всему лесу за ней пройдемся, до самой калитки, мигом. Право, так! А теперь пойдем-ка домой, полежишь ты на мягкой лежаночке, добрую кружечку пивца изопьешь. Потом мы с тобой в поддавки сыграем. А там, глядишь, и Рейнгольд, обер-шенк, подоспеет, как их высокородия, господа пресветлые отобедают, ты про новости расспросишь и lanternом по старинке потешимся, а там и солнышко за гору село. Право, так, Даниэлюшка, право, так!

— Право, так, право, так! — передразнил Даниэль. — Тоже мне со своим lanternом да поддавками, когда у меня не мозг, а свинец расплавленный, вот-вот ума решусь и... Помоги-ка до обочины добраться, присесть надо малость! Вот так, вот так!.. Ну, в своем ли я уме, Магнилле? В уме ль я? Не обезумел ли, будто муха в бутылке, а? Вот наваждение адское, вот вражья сила! Статочное ли дело, не блажят ли умный человек, ежели юрода увечного, несчастного-разнесчастливого калеку с перешибленной спиной спедает умопомрачительно неистовая любовь к жене прища? Это ли не блажь, Магнилле, — проглядеть на нее все глаза, рот разевать, как рыба на песке, чтобы хоть лучик от ее сиятельной фигуры увидеть, к пыли губами прижаться, где ножки ее ступали! Это ли не блажь, говорю? Ах, кабы не во сне, Магнилле, наклонялась она надо мной да ручку белую на истерзанную грудь мне клала или этак тихохонько лежала бы и дышала бы чуть слышно, а сама озябшая да покинутая, и не было бы у ней никого оберечь ее, кроме меня... Или бы вихрем бы хоть разочек несчастный прокружилась, да и мимо, белая, белая, будто нагая лилия! Только все это одни бредни бесплодные, блазнь одна и вздор, пузыри мыльные.

Они запагали опять.

У калитки остановились.

Даниэль оперся на нее руками и заглядывал через изгородь.

— Там! — сказал он.

Тих и светел был зверинец, утоная в солнечном воздухе и солнечной зелени. Галыка и черенки отбрасывали свет трепещущими спониками лучей, в воздухе летали мерцающие паутинки, сухие чешуйки почек отрывались от ветвей бука и, как челночки, покачиваясь, медленно причаливали к земле, а высоко-высоко в синем небе кружили дворцовые белые голуби, и резвые крылья их золотели на солнце.

Еле-еле доносилась веселая плясовая мелодия чьей-то далекой лютни.

— Экий олух! — бормотал Даниэль. — Да кто ж это поверит, Магнилле, чтобы владеть драгоценнейшим алмазом страны Индийской и в грош его не ставить, а гоняться за какими-то цветными стекляшками? Мария Груббе и... Карен Скрипочка! Да в своем ли он уме? Люди себе думают, что он на охоте бывает, охотится, дескать, потому как велит егерю настрелять дичи, да и тащит домой ворохами вальдшнепов да бекасов, а сам где был? В Люнге с девкой продажной путался, с поганкой подлой забавлялся. Тьфу! Вот пакость-то! Провалиться бы ему в тартарары с таким грязным делом! И уж так ли он цыпонец ревнует, что глаз с нее не сводит, дня без нее прожить не чает, а...

Зашуршала листва, и Мария Груббе стояла прямо перед ним у калитки.

Свернув в сад, она спустилась сразу же к загородке, где о ту пору содержались лоси и олени, а оттуда зашла в беседку, стоявшую у самой калитки. Здесь она услышала, что Даниэль говорил Магнилле и теперь:

— Кто вы такой? — спросила она. — Правда ли, что вы говорили? — Даже и держась за калитку, Даниэль еле устоял на ногах — так его затрясло.

— Даниэль Кнопф, благородная madame! Даниэль юродивый. Не слушайте его! Пустое болтаст, это у него так, с языка сорвалось, не разберешь, где правда, где

¹ Сударыня (франц.).

врет. Мякина у него в голове, попусту языком молотит, знай себе молотит, да и все тут.

— Врете вы, Даниэль!

— А как же-с, господи боже ты мой, а как же-с иначе! Истинно, вру-с. Очень даже поверить можно, ибо вот здесь, досточтимейшая *madame*, — и он показал пальцем себе на лоб, — здесь сущее столпотворение вавилонское... Да кланяйся же, Магнилле, кланяйся учтивенько и расскажи ее высокоблагородию *madame* Гюльденлеве, какой я стал помешанный. Говори! Что тут конфузного? Господи боже ты мой! Да ведь у всех у нас свои грешочки да слабостишки! Да говори же, Магнилле! Ведь как-никак, а дури в нас не боле, чем бог послал.

— Он и вправду совсем помешался? — спросила Мария у Магнилле.

Оторопев, Магнилле ринулась кланяться и приседать, поймала Марию сквозь доски забора за подол, целовала его и бормотала с перепугу:

— Да нет же! Какое там! Нет! Не помешался, слава тебе, господи, не помешанный!

— Она и сама того... — И Даниэль очертил рукой круг по воздуху. — Мы с ней два сапога — пара, оба рехнулись по мере сил своих, да знать, не бог весть как. Но господь милостив: дураки вдвоем бредут и друг дружку в гроб сведут. Только по ним не звонят и панихиды не служат, такого им не положено. А впрочем, покорно благодарим на добром слове, премного благодарствуем и пойдем себе с богом.

— Стойте! — сказала Мария Груббе. — Вы не более того помешаны, чем сами себя выставляете. Вы должны рассказать, Даниэль. Или хотите, чтобы я почла вас за подлого посредника между тою, кого вы назвали, и моим благоверным супругом? Хотите, а?

— Юрода несчастного, увечного... — запричитал Даниэль, разводя в знак извинения руками.

— Бог с вами, Даниэль! Но только преподло в такую игру играть. А я-то считала вас куда лучше, много-много лучше.

— Правда ли? Истинная ли то правда? — воскликнул он живо, и глаза у него заблестели от радости. — Ну коли так, тогда я опять в своем уме, а вы спрашивайте, вы уж только спрашивайте!

— Верно ли вы говорили, что...

— Как на духу, но...

— Убеждены? А не ошибаетесь ли?

Даниэль улыбнулся.

— Он сегодня... там?

— А он на охоте?

— Да.

— Тогда там.

— Кто она и какова... — начала Мария после небольшой паузы. — Какова она собой, если знаете?

— Низенькая, досточтимейшая *madame!* Совсем низенького росточку, румяная да ядреная, что яблочко ранетное, проворная да речистая, уж эдакая болтушка-хотушка, прости господи!

— А из каких она?

— Года с два тому, а то и два с половиной будет, вышла она за французишку, за *valet de chambre*,¹ а он возьми да и удери за границу, и оставил ее на бобах. Только не больно-то долго засиделась, спуталась с каким-то арфистом — а он весь был в долгу как в шелку — и укатил в Париж. И там побывала и в Брюсселе, покуда прошлый год о троице сызнова в наши края не воротилась. Умом, впрочем, она от природы не обижена, и манеры у нее обходительные, разве что когда напьется. Вот я вам все и выложил.

— Даниэль! — начала Мария и запнулась в нерешительности.

— Даниэль, — ответил тот, лукаво улыбаясь, — отныне и навеки будет верен вам, как ваша правая рука.

— Так вы поможете мне? Сумеете раздобыть... карету и надежного кучера и чтобы мигом, как только весть пошлю?

— Сумею-с! Уж что могу, то могу! Часу не пройдет, как будет карета стоять на выгоне у Германа-кровельщика, прямехонько за околицей возле старого сарая. Так и располагайте, досточтимейшая *madame!*

Мария постояла с минуту, как бы в раздумье.

— Еще потожкуем об этом, — сказала она затем, приветливо кивнула Магнилле и ушла.

— Ну, не кладезь ли она красоты, Магнилле? — вырвалось у Даниэля, и он восторженно смотрел на аллею, в которой исчезла Мария.

¹ Лакея (*франц.*).

— И этакая в ней дворянская гордость! — торжественно добавил он. — Ох, да она меня бы ногой отпихнула, пяткой бы мне, подлому, на затылок наступила да этак потихоньку в самую бы грязь и затоптала, кабы ведала, сколь нагло Даниэль о ее персоне грезится дерзает. Красотой своей как огнем палит, уж такое величие! Аж до сердца прожгло меня, что пришлось ей мне довериться, мне! Склонить величественную пальму гордости своей! Но блаженство в чувстве сем, Магнилле, райское блаженство, Магниллушка!

И они поплелись рядышком.

Что Даниэль с сестрой объявились во Фредериксборге, произошло так: после представления в шинке «Заходи-ка» бедного Карлу охватила безумная любовь к Марии Груббе. Жалкая, фантастическая любовь, которая ни на что не надеялась, ничего не требовала и ничего не ждала, кроме бесплодных грез. Ничего больше. А ту чуточку яви, которая была нужна, чтобы приукрасить грезы слабым отблеском жизни, Даниэль обретал сполна, когда ему выдавался случай изредка видеть Марию, оказываясь на миг рядом с ней или тащась поодаль. Когда же Гюльденлеве уехал и Мария перестала выходить из дому, тоска Даниэля все возрастала, росла и росла, пока чуть не свела с ума и повергла наконец на одр болезни. А когда он, ослабевший и разбитый, опять встал с постели, Гюльденлеве уже возвратился домой, и от одной из Марииных горничных, подкупив ее, Карла узнал, что отношения между Марией и ее супругом были не из лучших. Это известие дало новую пищу его немыслимой страсти и вызвало новый расцвет, сверхъестественно пышный расцвет сумасброства. Не успел он оправиться от болезни настолько, чтобы стоять и держаться твердо на ногах, как Мария уехала в Фредериксборг. Он должен был следовать за ней, ждать он не мог. Говорил, что собирается к знахарке в Люнге, чтобы вылечиться окончательно, а сестра его Магнилле поедет вместе с ним, да заодно уж и она хворые глаза свои пользоваться будет, у знахарки совета спросит. Друзья и знакомые сочли это разумным, и вот покатали они, Даниэль с Магнилле, в Люнге. Здесь он обнаружил связь Гюльденлеве с Карен Скрипочкой и здесь же во всем открылся Магнилле, поведал ей про

свою необычайную любовь, говорил ей, что ему только там и солнце светит, только там и жизнью пахнет, где Мария Груббе бывает, и заклинал сестру отправиться с ним жить под Фредериксборгом, чтобы ему быть поближе к той, которая целиком полонила его ум и душу.

Маггилле уступила ему, они наняли жилье во Фредериксборге и вот уже несколько дней, как ходили по пятам за Марией во время ее одиноких утренних прогулок. Вот так они и повстречались.

11

Несколько дней спустя к обеденному часу Ульрик Фредерик был в Люнге.

Он раскарячился на четвереньках в палисаднике перед домом, где жила Карен Скрипочка, и, держа венки из роз в одной руке, другой старался то ли выманить, то ли вытащить из-под орешника в углу палисадника белую левретку.

— Boncoeur! Petit, petit Boncoeur! Boncoeur!¹ Ступай же сюда! Плутиска этакий! Ступай же сюда, дура-пьясица! Ах ты тварюга такая! Boncoeur! Собаченька ты моя! А, чтоб тебя... упрямая дрянь!

Карен стояла у окна и смеялась.

Собачка не шла, а Ульрик Фредерик все подзывал и чертыхался.

Amy des morceaux delicats,² —

запела Карен и поманила его полным бокалом вина, —

Et de la debauché polie,

Viens noyer dans nos Vins Muscats

Ta soif et ta melancolie!³

Она была сильно навеселе и кое-какие ноты брала выше, чем следовало бы.

В конце концов Ульрик Фредерик изловил собачонку. Торжественно он понес ее под окно, нахлобучил ей венок по самые уши и, став на колени, протянул Карен:

¹ Бонкер, Малышка Бонкер! Бонкер! (*франц.*)

² Привержен лакому куску (*франц.*).

³ Любитель сладостного хмеля,

Приди к нам жажду и тоску

Залить струею мушкетеля (*франц.*),

— Adorable Venus, reine des coeurs, je vous prie ac-
cepter de ton humble serviteur cet petit agneau innocente,
couronné des fleurs! ¹

В этот же самый миг Мария Груббе отворила калитку. Она побледнела, увидев, что Ульрик Фредерик стоит на коленях и протягивает венок — или что оно там такое — румяной смеющейся бабенке. И нагнулась, схватила камень и что было силы запустила им в ту самую, но камень угодил в раму растворенного окна, и осколки звонким дребезжающим дождем посыпались на землю.

Карен завопила и ринулась прочь, Ульрик Фредерик испуганно глянул ей вслед, выронил от неожиданности собачку, но как-то удержал венок, и стоял, ошарашенный, сердитый, смущенный, вертя его в руках.

— Погоди ты у меня, погоди ты! — кричала Мария. — Не попала в тебя, так попаду, попаду, все равно попаду!

И она вытащила из волос длинную тяжелую стальную булавку с головкой, украшенной рубином; подняв ее, словно кинжал, и держа перед собой, она побежала к дому, как-то диковинно семеня и чуть ли не вприпрыжку. Казалось, она ослепла и, ничего не видя, добиралась до крыльца не прямо, а странными, неуверенными зигзагами.

Тут Ульрик Фредерик остановил ее.

— Отойди! — чуть ли не взвизгнула Мария. — Эх, ты! С веночком! И вот этакой, — продолжала она, вертясь из стороны в сторону, чтобы проشمгнуть в дом, и не спуская глаз с растворенной двери, — и вот этакой негоднице ты веночки плетешь! Розовые веночки! Вон как! Здесь ты нежный пастушок бываешь. А может, у тебя еще и дудочка найдется? А может, еще и дудочка есть? — повторила она и тут же выхватила у него из рук венок, ударила им оземь и растоптала. — А посoshка пастушеского, Амариллис ты этакий, нет? Посoshка с шелковым бантом, а?.. Дай пройти, говорю! — грозилась она и замахнулась своим булавочным кинжалом.

— Опять убивать собралась? — спросил он резко.

Мария подняла на него глаза.

— Ульрик Фредерик! — вымолвила она тихо-тихо. — Я, я — жена тебе перед богом и людьми. Что же ты раз-

¹ Богочтимая Венера, царица сердец! Извольте принять от твоего смиренного служителя сего венчанного цветами невинного агнца (*франц.*).

любил меня? Ступай со мной! Пусть она там себе остается, какая есть, а ты — ступай со мной! Ступай со мной, Ульрик Фредерик! Ты и не часешь, как люблю я тебя, всем сердцем люблю, горячо-горячо; как горько мне, тошкливо и тошно бывает! Ступай же со мной, слышишь? Ступай со мной!

Ульрик Фредерик не ответил. Он молча предложил Марии руку и провел по саду до коляски, которая ждала неподалеку. Усадил ее, обошел коней и осмотрел сбрую. Застегнул какую-то пряжку и кликнул кучера с козел, как бы для того, чтобы приказать ему поправить упряжь, а потом, когда они стояли впереди, шепнул:

— Как сядешь на козлы, так сразу же и гони одров что есть мочи и чтобы ни на минуту не останавливаться до самого дома! Вот тебе мой наказ, а то — смотри ты у меня...

Кучер вскочил на козлы, Ульрик Фредерик схватился за бок коляски, как бы собираясь тоже сесть, кнут свистнул и ударил по лошадям, Ульрик Фредерик отпрыгнул, и коляска рванулась вперед.

На миг Марии подумалось, что надо бы остановить кучера, вырвать вожжи, выпрыгнуть, но ею вдруг овладело какое-то обморочное безразличие и бесконечно глубокое омерзение, тошнотворное отвращение, и она не пошевелилась, сидела тихо и спокойно, оцепенело уставившись взором вперед и не замечая бешеной езды.

А Ульрик Фредерик был снова у Карен Скрипочки.

Вечером, когда Ульрик Фредерик вернулся домой, на сердце у него, по правде говоря, кошки скребли. Не то чтобы он робел, нет! Но он был окован тем напряжением, которое исподтишка овладевает людьми, когда они твердо убеждены, что им предстоит встретиться с целым рядом огорчений и неприятностей, которых не избежать, через которые надо пройти.

Мария, ясное дело, уже успела пожаловаться королю, и тот теперь до смерти надоест ему тошными докучными попреками, которые волей-неволей придется выслушивать до конца. Мария облечется величественным молчанием оскорбленной добродетели, а ему станет такого труда не замечать этого. Настроение при дворе будет до крайности удрученное. Вид у королевы будет томный и страдальче-

ский, а придворные дамы, ничего толком не зная, но обо всем догадываясь, будут сидеть молча, изредка вздыхать потихоньку и, поднимая личики, смотреть на него кротко и укоризненно огромными всепрощающими глазницами. Ох, как это было ему знакомо, все, вплоть до ореола высшей великодушной преданности и героического самопожертвования, которым жалкий камер-юнкер королевы потщится окружить свою узкую голову, став с потешной отвагой на его, Ульрика Фредерика, сторону и дожимая его благопристойностью и почтительнейше соболезнующими благоглупостями, а камер-юнкерские голубоватые водянистые глазенки и вся его тщедушная фигурка будут при этом яснее слов изрекать: «Смотрите, все отвернулись от него, да только не я. Под страхом королевского гнева, не боясь неудовольствия государыни, утешаю опального. Грудью стою за...» Ох, как это было ему знакомо, все и вся, до последних мелочей.

Он ошибся.

Король встретил его латинской пословицей, что было несомненным признаком доброго расположения духа, а Мария встала и подала ему руку, как и обычно, может быть чуть похолоднее, чуть-чуть более чинно, но, во всяком случае, совсем не так, как он ожидал.

Да и когда они остались наедине, она ни словом не обмолвилась о встрече в Люнге, и Ульрик Фредерик недоверчиво удивлялся, не зная толком, что и подумать о столь странном молчании.

Уж хоть бы заговорила она, что ли!

Разве самому вызвать ее на разговор, поблагодарить за то, что промолчала, пуститься без оглядки виниться и каяться и разыгрывать комедию, будто они помирились?

Впрочем, он и испробовать это не смел, ибо стал замечать, что Мария нет-нет да и взглянет на него украдкой с таким странным выражением глаз и меряет его с ног до головы пронзительным взором, полным тихого удивления и холодного, почти презрительного любопытства. Ни огонечка мести или ненависти, ни тени скорби или жалоб, ни даже смутного проблеска подавленной грусти. Ничего похожего, ровно ничего!

И вот он не посмел, и ничего не было сказано.

Бывало в последующие дни, что мысли у него так и вертелись вокруг этого предмета и возникало лихорадочное желание все это выяснить, да поскорее.

Но этого не случилось, и Ульрик Фредерик не мог отделаться от мысли, что ее затаенные укоры — залегли они теперь драконами в темных логовах, лежат на черных кладах-сокровищах, сторожат, а те растут, совсем как гадючьи выводки, как отродье змеиное: кроваво-багряным лалом вздымаясь на стебле червонного золота, бледным опалом медленно ширясь, клубок за клубком, набухая и множась, а тулова змеиные, тихо, но неустанно нарастая, скользят, извив за извивом, поднимаются и выются кольцами над пышным кишением сокровищ.

Да, должна же она ненавидеть его, мстить замыслила и таится. Ведь такое поношение, какое он ей учинил, не забывается. И Ульрик Фредерик ставил эту предполагаемую жажду мести в связь с той странной выходкой, когда Мария подняла на него руку, и с предостережениями Бурри и стал избегать ее еще больше прежнего и ждал еще нетерпеливее, чтобы их пути разошлись.

Но Мария и не помышляла о мести, она забыла и его и Карен Скрипочку. Ибо в ту минуту невыразимого отворачивания ее любовь как ветром сдуло, сдуло и разнесло, и развеяло, точно мыльный пузырик, который только дунь — разлетится прахом, и нет его. И нет больше блеска, нет мимолетных радужных переливов, которые озаряли каждое отражение в нем, их тоже не стало! Они уже больше не те, и взор, пленявшийся их великолепием и тревожной прелестью, стал теперь свободен и вольно озирается на весь божий мир, мир, который разноцветными картинками отражался на сияющей поверхности мыльного пузырька.

Во дворце день ото дня возрастало число гостей. Репетиции балета шли уже полным ходом. Сюда были вытребованы танцмейстеры и актеры, Пиллуа и Коббро, отчасти для обучения мастерству, отчасти же для того, чтобы взять на себя наиболее трудные или самые неблагоприятные роли.

Марии Груббе тоже предстояло выступить в балете, и она с великим старанием участвовала в экзерсисиях. С того самого дня в Люнге она стала гораздо деятельнее, общительнее — словом, почти совсем очнулась.

Прежде ее общение с окружающими было довольно внешним; если не бывало ничего, что как бы окликало

ее, пробуждало ее внимание или интерес, то она тотчас же ускользала в свой собственный мирок и изнутри равнодушно глядела на стоящих снаружи.

Теперь же, напротив, она жила вместе с другими; и не будь окружающие ее поглощены разнообразными новинками и переменами в те дни, так они увидали бы с удивлением, как изменился ее характер. В движениях у нее появилась спокойная уверенность, в речах — почти враждебная утонченность, а в выражениях лица — умная осмотрительность.

Никто, однако, не замечал этого, только Ульрик Фредерик несколько раз поймал себя на мысли, что восхищается ею как чужим, неведомым ему человеком.

Среди новых гостей, съехавшихся в августе со всех концов страны, был и один из свойственников Марии, Сти Хой, муж ее сестры.

Как-то раз, под вечер, через несколько дней после его приезда, они стояли на холме в лесу, откуда было видно город, а за ним опаленную солнцем равнину. Небо заносило большими, лениво ползущими тучами, а с земли поднимался горький прелый запах, словно полусохшие растения устало вздыхали по животворительной влаге.

Восток, которого только-только хватало поворачивать крылья ветрячка у перекрестка дорог, недовольно гудел в макушках деревьев — словно уныло и робко плакался лес на солнцепек и на летний яростный пыл. И как нищий выставляет напоказ сострадание свои язвы, вот так и желтые, жухлые луговины, казалось, обнажали перед небесными взорами свое пустоцветное убожество.

Гуще и гуще собирались тучи, и одинокие капли, совсем еще одинокие, падали, ударяя по листьям и стебелькам, которые на мгновение шарахались в сторону, трепетали и вдруг затихали опять. Низко, у самой земли мелькали ласточки, а сизоватый дымок от стряпанного ужина опускался легкой прозрачной вуалью на черные соломенные крыши в недалекой дерегушке.

По дороге неуклюже катилась, гроыхая на ухабах, карета, а с дорожек и стежек у подножья холма слышались приглушенный смех и веселая болтовня, шелест вееров и шелка, треск и хруст хвороста и сучьев. То был двор на послеобеденном променаде.

Мария и Сти Хой, отделившиеся от прочих, взобрались на холм и, запыхавшись от быстрого подъема по

крутому откосу, стояли теперь молча и смотрели вдаль.

Сти Хою было в ту пору за тридцать. Росту он был высокого, долговязый, толстый и рыжий, и лицо у него было узкое, вытянутое, бледное и веснушчатое, а жидкие белесые брови удивленно, дугой, поднимались над ясными светло-серыми утомленными глазами, которые походили на совиные оттого, что веки были почти алые, и оттого, что, моргая, Сти Хой моргал медленнее, или, точнее сказать, держал глаза закрытыми дольше, чем другие люди. Лоб у него был высокий, гладкий и сильно выдавался над висками, тонкий, с легкой горбинкой нос — длинноват, а подбородок и подавно, да к тому же чересчур остер, зато рот был безупречно красив: ясные очертания и свежий цвет губ, а зубы мелкие да белые. Но не это придавало особое своеобразие его рту, — дело было в той странной, печальной и свирепой улыбке, которую встречаешь порой у великих любителей страсти, в улыбке, которая — одновременно и распаленное желание и презрительная усталость, в улыбке, одновременно



нежной и болезненно-тонкой, как сладостная музыка, и яростной и кровожадной, как глухое довольное урчание, вырывающееся из пасти хищника, когда клыки вонзаются и терзают трепещущую добычу.

Так выглядел Сти Хой.

В ту пору.

— Madame! — сказал он. — Вам ни разу не приходила охота сидеть за монастырской стеной, под надежным и добрым надзором, как то водится в Италии, да и вообще в тамошних землях?

— Ой нет, да что вы! Нет! Избави меня господи! Да с какой же это стати взбредут мне на ум этакие католические мысли?

— Счастливы, стало быть, вы очень, дражайшая свояченица? Стало быть, напиток бытия для вас еще свеж и чист? Сладок он языку вашему, а? Кровь горячит и мысли окрыляет? А так ли? И никогда не бывает горький, как отстой, кислый и тухлый? И никогда не плесневеет, как будто на дне копошатся ядовитые гады и змея, извиваются и высовывают жала? Ужели ошибся я видом вашим?

— Эх, кабы вам да исповедать меня на такой манер! — ответила Мария, смеясь ему прямо в глаза.

Сти Хой улыбнулся, увел ее повыше, к муравчатому бугорку, и они сели.

Он пытливо вглядывался в нее.

— Ужели вы не знаете, madame, — начал он медленно, с виду смущенно и колеблясь, говорить ли ему или молчать. — Ужели вы не знаете, что есть на сем свете потайное содружество, которое можно бы наречь братством людей меланхолических, скорбной братней? Люди эти с рождения бывают иной природы и складу, нежели прочие, душа у них шире, а кровь горячее, жаждут и ждут они большего, желают и вожделяют сильнее, а страсть-тоска у них буйная и жгучая, не то что у всяких прочих людей благородного звания. Все на лету хватают, словно в сорочке родились. Глаза у них шире открыты, а чувство не в пример subtilнее. Корнями сердца своего впивают они утехи и отраду бытия, когда другие только и знают, что хватать их ручищами.

Он помолчал, взял в руку шляпу и, перебирая пальцами, гладил пышный плюмаж.

— Но, — продолжал он, еще больше понизив голос и как бы обращаясь к самому себе, — услада красотой, услада роскошью, услада во всех смыслах, услада в глубочайших волнениях души, услада в сокровенных побуждениях и помыслах, которые человек и сам никогда толком уразуметь не может, услада во всем, что служит другим жалкой досужей забавой или бывает мерзостным обжорством, — все это душам их точно зелье целительное или драгоценный бальзам. То — единственный цвет жизни, из которого они каждодневно свой нектар сосут, а по-сему ищут они цветов и на древе жизни, там, где другие и не подумали бы искать: под почерневшей листвой и на сухих ветвях... Но те, другие, — да разве же ведают они усладу в печали или в отчаянии?

Он усмехнулся презрительно и умолк.

— Но отчего же, — спросила Мария, отвернувшись от него и равнодушно глядя в сторону, — отчего же вы называете их меланхолической братней, когда у них на уме только и есть, что утехи да отрада жизни, и ничего нет ни тяжкого, ни жалостного?

Сти Хой пожал плечами и сделал вид, что собирается встать, что ему наскучило задерживаться столь продолжительно на этом предмете и он хочет прервать беседу.

— Но отчего же все-таки? — повторила Мария.

— Отчего? — выкрикнул он нетерпеливо и с презрительной интонацией. — Да оттого, что все блаженства на сем свете столь мимолетны и бранны, столь обманчивы и несовершенны. Затем, что любое наслаждение в тот же самый миг, когда пылает пышной махровою розою, тут же и облетает, как дерево осенью. Затем, что любви утеха и роскошная сладость жизни в самом плодоносном расцвете красоты и благоденствия — только схватит она тебя крепкими объятиями, как — хлоп! — и поражается тут же смертельной язвой, и вот ты, именно в ту же самую минуту, когда услада лобзает тебя в губы, замечаешь, что ее уже сводит судорогой тленности. В этом ли блаженство? Не ржой ли въедается сия мысль в каждый блеснувший счастьем час или, подобно губительному заморозку, намертво замораживает любое пышным цветом расцветшее в душе чувство, замораживает до самого корня?

Он вскочил с бугорочка и говорил, быстро размахивая руками перед Марией:

— А вы еще спрашиваете, почему они меланхолическими именуются, когда любая услада, едва коснешься ее, сей же час сбросит лебяжьи перья и оборотится гаденой, когда каждый радостный клик не боле, чем последний мучительный вздох, испускаемый радостью, когда любая красота есть красота мимолетная, а всякое счастье разлетается прахом.

Сти Хой принялся расхаживать перед Марией.

— Так вот что, стало быть, наводит вас на мысли о монастырях? — сказала Мария и, улыбнувшись, потупилась.

— Так оно и есть, madame. Бывает, воображу я, что заточен в одинокой келейке или узником сижу одиноко у оконца в высокой башне и наблюдаю, куда утекает свет и откуда льется мрак, а одиночество молча и тихо, но крепко и цепко оплетает мне душу, как лоза виноградная, и в кровь мне вливает снотворный сок... Ах, да все едино! Пустое! Мне ли не знать, что вымысел это и обман?! И никогда бы не одолеть меня одиночеству: стал бы и тосковать жарче огня и пламени, чувств и разума лишаясь, затосковал бы по жизни и по всему живущему... Да вы ведь все равно ничего не поймете из того, о чем я вам тут толкую. Пойдемте-ка, ma chère.¹ Того и гляди дождем хватит: ветер-то вон совсем стих.

— Да ведь разъясняется! Гляньте на небо — со всех концов просветлело!

— Вот, вот! Как раз так! И проясняется и заволакивается.

— А по-моему, нет! — сказала Мария, вставая.

— Побожусь, что да, с вашего милостивого позволения.

Мария сбежала с холма.

— Воля мужчины — вот его рай! — крикнула она, оборачиваясь. — Ступайте же сюда искать свой.

Когда оба они спустились с холма, Мария свернула в сторону, противоположную дворцу, а Сти Хой пошел с ней рядом. Он казался задумчивым и вида не подавал, что собирается возобновить прерванный разговор.

— Послушайте-ка, Сти Хой! — заговорила тогда Мария. — А и хороша же я, верно, по-вашему: в погоде

¹ Милая моя (франц.).

ничегошеньки не смыслю, того, что мне люди толкуют, и подавно не разумею.

— Да чего ж тут не разуместь!

— Того, что вы мне говорили.

— Ну, этого-то — нет!

— А я побожусь: да!

— Божба, как вам ведомо, не велико зло, пока до кулаков не дошло.

— Ну ладно, думайте себе как хотите, а только я, видит бог, уж куда как хорошо знаю, какая-такая на тебя грусть-тоска тяжкая потихоньку находит, и сама не понимаешь, с чего бы.. Вот у нас господин Йенс говорил, что это душа по царствию небесному тоскует, царствие небесное-де каждой душе христианской и есть родина. Только я тому не больно-то верю. Томишься, мучишься, и хоть бы какая надежда утешиться! Нет! Нет! Скольких, бывало, слез горючих мне это стоило! Навалится это на тебя, бог весть с чего, и гложет и гложет, аж сердце заноеет и разболится, и так от дум своих устанешь, что пожалеешь, зачем на свет родилась. Но то, чтобы меня мысли о бренности счастья или о бренности мира донимали и угнетали, чтобы я об этом тужила, — нет, такого со мной и разу не бывало, нет! Совсем про другое думалось, на другой манер.. Да попросту никак невозможно и сказать, что это за тоска такая, как ее и назвать — не знаю. Но сдается мне, что подчас больше всего она походила на скорбь о каком-то затаенном недостатке в собственной натуре, о каком-то внутреннем недуге души, от чего делаешься совсем не такой, как другие люди, — жальче во всех отношениях... Нет, тут уж и слов не подберешь — так это трудно выразить, чтобы верный смысл получился. Жизнь, понимаете, мир.. Он казался мне таким невыразимо прекрасным и великодушным.. Гордиться надо было бы да радоваться, сколько силы есть, что и ты тут, на этом свете. Будь то горе, будь то счастье — лишь бы я страдала или радовалась по правде, а не для показу, как на карнавале или на маскараде. Пусть бы жизнь взяла меня в оборот, унизила или вознесла, но так, чтобы ни о чем не думалось, кроме как о том, что меня вознесло или унизило. Пусть бы истаяла я в горе либо сторела от радости! Ах, не понять вам этого никогда! Будь я полководец какой-нибудь римский, которого возили по улицам на триумфальной

колеснице, так я бы вот чего хотела — мне самой быть победой и ликованием, гордыней и радостными возгласами народными, и кликами трубными, властью и славою — всем в едином гремящем звуке, — вот чем бы мне стать, а вовсе не тем мерзким честолюбцем, который, стоя на колеснице, с холодной надменностью мыслит в сердце своем, как гордо сияет он перед завистливыми взорами толпы и как бессильно волны зависти лижут стопы его, а ему сладостно, что пурпур нежно касается плеч и венки охлаждает чело. Понимаете, Сти Хой, вот что, по моему, значит жить, вот какой жизни я жаждала, хоть и сама знала: такой у меня никогда не будет. И мне все чудилось, что я сама тому повинна, что я — и не понять как — ну, сама противу себя согрешила, что ли, или же сама себя ввела в заблуждение. Не знаю, но мне казалось, что, верно, оттого и бьет ключом мое горькое горе, что тронула я струну, которой не надо бы звенеть, а зазвучала она, и во мне что-то оборвалось, чего вовек не поправить. Потому-то и не обрести мне больше силы, не распахнуть двери в жизнь, а стой лишь да слушай, как играет на празднике музыка, стой, незваная, непрошенная, точно девка-уродка.

— Вон что! — крикнул Сти Хой, как бы изумляясь. Потом выражение лица у него внезапно изменилось, и он произнес совсем другим голосом: — Нет, нет, вижу теперь, что это такое, — и покачал головой. — Боже праведный! И как же скор человек в оных материях сам себя обманывать! Сколь редко бывает, что мы обращаем свои мысли в ту сторону, где не знаем ни тропки, ни дорожки, а бежим, точно ошалелые, от радости, наобум, лишь только заметим некое подобие следа, и побожиться рады, что это тебе прямо столбовая дорога. Или не прав я, та chége? Не мы ли с вами, всяк сам по себе и каждый за другого, искали причины нашей меланхолии, блуждали и брали первую попавшуюся мысль, какая только в ум придет, за единственно верное объяснение. Разве после того, что здесь было между нами говорено, не выходит, что я брожу по свету, тяжко угнетаемый думою о бренности мира и непостоянстве и преходящести сущих в нем вещей, а вы, любезная свояченица моя, забрали себе в голову, что вы замарашка, которая света божьего не видит, которую всякий обидит, у которой и духу не станет надеяться? Только все сие маловажно, ибо — коль скоро речь зашла

о таком предмете — мы с легкостью упиваемся собственными словами и знай себе скачем да погоняем любой вымысел, лишь бы нам его зануздать.

Внизу, на дорожке, показалась остальная компания, и они направились вместе с ней ко дворцу.

Не пробило на часах и половины восьмого часу вечером двадцать шестого сентября, как пушечная пальба и пронзительные трубные звуки торжественного марша возвестили, что их величества король с королевою, сопровождаемые его курфюршеским высочеством принцем Иоганном Георгом Саксонским и ее высочеством августейшей родительницей его, во главе знатнейших персон обоего пола соизволили отправиться из дворца через парк, дабы присутствовать на представлении балета, коего скорое предстояло начало.

Ряд смоляных плошек разливал пожарное зарево по красным стенам фасада, буки и тисы рдели, отсвечивая бронзой, а щеки пылали густым, здоровым румянцем.

Вот двойная шеренга малиновых драбантов вздымает перевитые цветами свечи, и огоньки их трепещут на ветру в темноте; высокие светильники и смоляные плошки, потешные огни и искусные лампионы то низко над землей, то высоко в желтеющей листве деревьев раздвигают мрак и открывают сиятельный путь торжественному шествию.

И свет рассыпается искорками по золоту и золотому шитью, четко отражается на серебре и стали и сверкающими переливами скользит по шелковым пелеринам и шлейфам. Легонько, словно кровянистую росу сдувает его на темный бархат, и, раскалясь добела, сыпля искрами, как звезды, оседает он на рубинах и алмазах. И кичатся красные тона желтизной, бирюзовый отпрядывает от бурого, среди белого и фиолетового резко взблескивает аквамарин, кораллово-розовый тонет между сиренью и чернью, а желто-бурый и розовый, серо-стальной и пурпурный вихрем несутся вперемежку, обгоняя друг друга, светлея, темнея, волна за волною, пестрым прибоем.

Минуло... Только на спуске аллеи еще кивают султаны и белеют, белеют, белеют в дремотном сумеречном воздухе.

Балет, или машкерада, которую теперь представляют, называется «Die Waldlust».¹

Сцена изображает лес.

Наследный принц Христиан изъясляет радость и довольство раздольной охотничьей жизнью под густолиственными кронами, дамы на променаде напевают об аромате фиалок, дети играют между деревьями в прятки и собирают ягодки в крохотные миленькие корзиночки, бодрые бюргеры восхваляют от всей души свежий воздух и прозрачный сок лоз, а в это время две дурашливые старушонки влюбленными жестами преследуют хорошенького сельского паренька.

Затем выпархивает на сцену богиня леса, Диана-девственница, ее королевское высочество принцесса Анна-София.

Восхищенный курфюрст поднимается и обеими руками посылает ей воздушные поцелуи, а весь двор рукоплещет.

И декламирует богиня леса, и в избытке радостной благодарности царственный жених прикладывает к ручкам ее августейших родителей.

Не успела исчезнуть богиня, как приходит черед селянину с поселянкой выступить и пропеть дуэтом счастье любви.

Тут одна за другой следуют потешные сцены: три молодых дворянина украшаются венками и веселятся на лоне природы; четверо офицеров подвыпили; благодушествуя, возвращаются с рынка два мужика; поет садовников мальчишка, поет поэт, и наконец шесть персон на всякого рода презабавных инструментах исполняют разудалую музыку.

А теперь финальная сцена.

Это — одиннадцать пастушек, а именно: их королевские высочества припцессы Анна-София, Фридеричия-Амалия и Вильгельмина-Эрнестина, мадам Гюльденлеве и семь красивых дворянских девиц.

И вот с великою искусностью пляшут они сельский танец, представляющий, как дразнят и дурачатся над madame Гюльденлеве остальные, ибо она утопает в амурных грезах и не желает принять участия в их веселом менуэте, и высмеивают ее за то, что она отреклась от

¹ Лесное приволье (нем.).

своей вольности и склонила выю под иго любви. Но тут выступает она вперед и в прелестном па-де-де, который она танцует с принцессой Анной-Софией, изображает принцессе свое блаженство и великое упоение сей любовью. Потом все резво выплясывают на авансцене, извиваясь и переплетаясь мудренными турами, а незримый хор за сценой, сопровождаемый красивой смычковой музыкой, поет в их честь:

Ihr Nümpfen hochberühmt, ihr sterblichen Göttinnen,
Durch deren Treff'ligkeit sich lassen Heldensinnen
Ja auch die Götter selbst bezwingen für und für,
Last nun durch diesen Tantz erblicken eure Zier.
Der Glieder Hurtigkeit, die euch darüm gegeben
So schön und prächtig sind, und zu den End erheben
Was an euch göttlich ist, auff dass je mehr und mehr
Man preisen mög an euch des Schöpfers Macht und Ehr.¹

На том балет окончился. Разбрелись по саду, прогуливались между иллюминированных боскетов или отдыхали в искусно устроенных гротах, а пажи, ряженные ита-лианскими или гишпанскими фруктовщиками, разносили на головах плетеные корзины и потчевали вином, печеньем и сладостями.

И вот лицедейки присоединяются к обществу и принимают комплименты своей великой искусности и умелости, но все единодушно признают, что после кронпринца и принцессы Анны-Софии никто не представлял своей роли с такою отменностью, как madame Гюльденлеве, И их величества вкупе с курфюрстиной учиняют ей великие похвалы, государь же говорит даже, что и сама мадемуазель Ла Барр не сумела бы исполнить сию партию с большей грацией и натуральностью.

До глубокой ночи длился праздник в озаренных аллеях и в залах, обращенных к парку, где скрипки и флейты манили танцевать, а ломящиеся от яств столы —

¹ О нимфы славные, вы, смертные богини,
Чьи прелести разят как древле, так и ныне
Сердца героев и милы самим богам,
Явите в пляске сей свои красоты нам:
Проворство рук и ног, которые даны вам
Столь стройными, дабы, восторженным порывом
Божественное в вас постигнув до конца,
Все боле славить нам величие творца (нем.).

попировать и пображничать. Даже на озеро пробрался праздник, и бойкий смех доносился в сад с увешанных лампонами гондол.

Везде было полно народу; больше всего там, где сверкал свет и играла музыка, поменьше — где свет удалялся, но даже и там, где царил сплошной мрак и музыка тонула и замирала в шепоте листвы, прохаживались веселыми рядами и молчаливыми парочками. Да что там! Хотя уединенный грот был в самой глубине сада, в восточном конце его, — даже и сюда занесло какого-то одинокого гостя. Но на душу у него было грустно. Маленький фонарик, висевший в листве у входа в грот, бросал мерцающий свет на омраченные черты лица и насупленные брови.

Белобрысые брови.

Это был Сти Хой.

...È di persona

Anzi grande che no; di vista allegra

Di bionda chioma, e colorita alquanto, ' —

шентал он про себя.

Не прошло ему даром, что за последние четыре-пять недель он проводил все время с Марией Груббе. Она прямо-таки обворожила его. Лишь по ней тосковал он, лишь о ней он мечтал, стала она ему и надеждой и отчаянием. Любил он не впервые, но чтобы так — никогда, никогда так нежно, кротко и робко! Не то, что она была супругою Ульрика Фредерика, и даже не то, что он был женат на ее сестре, лишало его надежды. А то, что самая сущность его любви была робостью, «мальчишеской любовью», как он с горечью называл ее. В ней было так мало страстности, зато так много боязни и преклонения, а с другой стороны, все-таки столько страстности. Горячее, томительное влечение к Марии, болезненное желание жить вместе с ней у нее в воспоминаниях, мечтать ее мечтами, мучиться ее заботами и делить ее смелые мысли — не более того, но и не менее. И хороша же была она в танцах! Но еще больше чужая, еще больше далекая... Пышные, ослепительные плечи, высокая грудь и стройные стан и ноги — это прямо-таки пугало его. Плот-

1

...А ростом

Скорей низка, лицом же весела,
Светловолоса и слегка румяна (*итал.*).

ского великоления этого, от которого она становилась еще обаятельнее, еще совершеннее, боялся он, доводило оно до дрожи, дух от него захватывало. Он не смел поддаться ему, боялся своей страсти — огонька, тлеющего в глубине и готового вырваться пламенем до самого неба, всепожирающим пожаром. Ибо — чтобы эта рука обвилась вокруг его шеи, чтобы эти губы к его губам прижались, — нет уж! Это безумие, пелены, вздорные, безумные бредни! Чтобы этот рот...

Paragon di dolcezza!

...bocca beata
...bocca gentil, che puo ben dirsi
Conca d'Indo odorata
Di perle orientali e pellegrine;
E la porta, che chiude
Ed apre il bel tesoro,
Con doleissimo nel porpora mista!¹

Будто от боли, привстал он на миг со скамьи. Нет, нет!.. И снова припал к своей смиренной любовной тоске. Мысленно кидался к Маршиным ногам, валяясь во прахе, пригвождал себя к безнадежности своей любви, рисовал себе равнодушные Марии, и вот... У сводчатого входа в грот стояла перед ним Мария Груббе, светлая на фоне полуночной тьмы.

Весь вечер она пробыла в странном блаженном настроении; чувствовала себя такой уверенной, крепкой и сильной; пышность праздника и праздничная музыка, почтительное восхищение мужчин, — прошла она по всему этому, прошагала, прошествовала, словно по ковру пурпурному, разостланному ей под ноги. Ибо была она прямо-таки заморожена, упилась и охмелела от собственной красоты. Словно хлестала у нее из сердца искромет-

1

О проба сладости!

...блаженные уста,
рот милый, про который скажешь:
Он — раковина благовонная,
Казна индийская с зерном жемчужным,
То приоткрытые врата.
Где перлов переливы! Пурпур,
Приправленный сладчайшим медом! (итал.)

ными струями кровь и превращалась в улыбку красоты на устах, в лучезарное сияние очей и в звучность голоса. После упоения торжеством на сердце у нее было тихо и покойно, в уме безоблачно-ясно, а в душе пышным цветом распускалось ощущение силы и гармонии.

Никогда еще не была она так прекрасна, как теперь, — с надменной улыбкой счастья на устах и гордым спокойствием царицы на лице и во взоре. Такой и стояла она теперь у сводчатого входа в грот — светлая на фоне полунощной тьмы. Посмотрела она на Сти Хоя и встретила безнадежно-восхищенный взгляд, и наклонилась над ним, положила сочувственно белую руку ему на голову и поцеловала. Не любя, нет, нет! Как король одаряет верного вассала драгоценным перстнем в знак своего королевского благоволения и милости, — так вот и она спокойно подарила его поцелуем от щедрот своих.

А потом! А потом уверенность на миг покинула ее, она зарделась и потупилась.

Воспользуйся тут Сти Хой, сочти он этот поцелуй за нечто большее, нежели царский дар, он навсегда бы потерял Марию. Но он безмолвно стал перед ней на колени, благодарно прижал ее ладонь к губам, потом почтительно отступил и, сняв шляпу, с глубоким уважением поклонился ей, низко и смиренно опустив голову. А Мария гордо пропешествовала мимо — из грота во мрак.

12

В январе тысяча шестьсот шестьдесят четвертого года Ульрик Фредерик был назначен наместником в Норвегию и в апреле того же самого года уехал туда.

Мария сопровождала его.

Отношения между ними за последнее время не очень-то улучшились, разве что отсутствие взаимопонимания и взаимной любви было обеими сторонами признано как бы непреложным фактом и выразалось в крайней церемонности обхождения.

Поселившись в Аггерсхусе, с год, а то и с полтора жили они таким образом, и Мария не хотела для себя никакой перемены. С Ульриком Фредериком, однако, вышло иначе: он опять влюбился в собственную супругу.

И вот зимой под вечер, когда еще только начало смеркаться, Мария Груббе сидела одна в комнатке, которая с незапамятных пор носила название «коробочки».

Погода стояла сырая и ветреная. Было серо и мрачно. Тяжелые мокрые хлопья талого снега налипли на окошечки и почти до половины закрыли зеленватые стекла. Промозглый ветер налетал порывами, вихрем кружился между высокими стен, опускаясь до самой земли, и, словно рехнувшись, кидался без памяти куда попало, колоутился в ворота и двери, а потом вдруг взметывался ввысь с сильным собачьим лаем. Гогоча, набрасывался и перекатывался ветер через кровлю дома напротив, разбивался плашмя о стекла и стены, точно волною ударило, и тут же рушился. Был и другой ветер, который, рыча, вривался в камин, так что пламя приседало со страху, а беловатый дымок, испуганно изгибаясь, словно гребень волны, устремлялся к устью камина, готовый ринуться в комнату, но в следующий же миг взвивался в трубу, легкий, тоненький и голубой, а пламенистые языки кричали ему вслед, скакали и прыгали, и ливыряли ему вдогонку полные пригоршни трескучих искр. И только тогда огонь разгорелся вовсю. Урча от удовольствия, развалился он на угольях и запекшейся золе, шипел и кипел от радости на белой бересте, пробираясь в самую сердцевину, мурлыкал и потягивался, как яро-рыжий кот, задорно пощелкивал по носу почернелые сучки и плутовато и весело поводил пламенем по вспылчивым чурбанам.

Багровое, парное и светозарное, струилось дыхание радостного огня в комнатушку. Мерцающим световым веером поигрывал он на паркетном полу и гнал перед собой мирную сумеречную мглу, а она трепетными тенями пугливо пряталась справа и слева за резными ножками кресел или жалась по углам, вытягивалась и тощала, укрываясь под выступами карнизов, или ложилась ничком и уползала под большой комод.

И вдруг камин опять забушевал и как бы единым духом всосал в себя свет и тепло, и тьма привольно разостлалась по всему полу, на каждом квадратике паркета, на каждой дощечке, почти до самого очага. Но потом жаркий свет снова загарцевал на полу, так что сумеречная темень разлетелась во все стороны, а свет — за ней, по

стенам, по двери, до самой взблеснувшей медью ручки — нигде не было тьме покоя. Нет, вот уселась она, вцепившись в стены и потолок, точно кошка на дереве, а свет так и носился внизу, то туда, то сюда, скача и мечась, как пес у подножия дерева. Ни даже среди стаканов и покалов, высоко на комодке не могла тьма обрести покоя, ибо ярко-рубиновые стаканы, синие покалы и зеленые рюмки — все они, словно маячки, засветились разноцветными огоньками и помогали свету выловить тьму.

А на дворе не переставала бушевать непогода и темень все прибывала да прибывала. Здесь же, в горенке, пылал огонь, приплясывал свет, и Мария Груббе пела. То она напевала слова, как они вспоминались ей, то выводила одну мелодию. Лютию держала она в руках, но не играла — лишь изредка трогала струны и вызывала несколько чистых, долго звеневших звуков.

Это была одна из тех интимных тоскливых песенок, от которых в комнате бывает уютнее, от которых мягче сидеть в кресле; одна из тех нежно взволнованных мелодий, которые, словно сами о себе, поют о своей безмятежной грусти, а голос в это время льется привольно, ровно и плавно, и полнозвучно. Мария сидела прямо перед огнем у камина, озаренная переливами красноватых отблесков, и пела она с такой беззаботной отрадой, точно ласкала себя собственным голосом.

Тут отворилась низенькая дверь, и высокая фигура Ульрика Фредерика нырнула в горенку.

Мария тотчас же перестала петь.

— Ах, madame! — воскликнул Ульрик Фредерик тонким мягкого упрека и шагнул к ней, сделав умоляющий жест. — Знай я, что от присутствия моей персоны выйдет вам беспокойство...

— О нет, нимало! Я ведь так просто себе напевала — чтобы не дать уснуть моим мечтам.

— Галантным? — спросил он и нагнулся над жаровней перед камином погреть руки о блестящие шары из красной меди.

— Мечтам молодости, — ответила Мария, пробегая рукой по струнам лютии.

— О, еще бы! Ведь старость век себе верна! — И он, усмехнувшись, взглянул на Марию.

Мария помолчала и вдруг ответила:

— Можно и очень молодой быть, а мечтаться все будет по-старому.

— Как славно здесь мускусом пахнет!.. А что, madame, нет ли и меня, вашего покорного слуги, в старых-то мечтах... с позволения спросить, а?

— Ах, увы, нет!

— Было же, однако, такое время...

— Всякие времена бывали.

— Да, madame! Было некогда, наряду со всякими другими, дивное время, сказочная пора, когда я был вам весьма мил да люб. Припоминаете ли? Сумеречный час, под вечер, через неделю после нашего бракосочетания или примерно около того. Было ветрено, и шел снег...

— Точь-в-точь, как теперь.

— Сидели вы у камна...

— Точь-в-точь, как теперь.

— Да, как теперь! А я лежал у вас в ногах, и милые руки ваши играли моими волосами.

— Да, в ту пору вы меня любили!

— О, точно, как теперь! А вы, вы наклонились надо мной, вы плакали, и слезы бежали у вас по щекам... и целовали вы меня и глядели на меня так жалостно и чувствительно, словно молитву за меня в сердце своем творили. А потом вдруг, ни с того ни с сего — припоминаете ли, сударыня? — а потом взяли да и укусили меня за шею.

— Да, помню, боже ты мой милостивый, помню! И как же я вас тогда любила, богоданный супруг мой! Лишь зашлышу, бывало, забрякали ваши шпоры на лестнице, так сразу же кровь в лицо бросится, в ушах зазвенит, дрожу с головы до пят, а руки холодные, как ледышки. Ну, а потом-то, когда вы вбегали и прижимали меня к груди...

— De grace, madame!¹

— Ах, да что же за беда! Ведь это не боле, как поблекшие воспоминания о давно угасшей амурной страсти.

— Угасшей, madame?! Увы, пламенеет она жарче прежнего!

— Нет, слишком уж много дней минуло, как покрыл ее холодный пепел.

— Но воспрянет она из пепла подобно Феникс-птице, прекрасней и пламенней, нежели прежде! Иль... не воспрянет, скажите?

¹ Пощадите, сударыня! (франц.)

— Нет! Любовь — что цветик нежный. Как прихватит морозом в студеную ночь сердцевину, и конец ему — завянет с макушки до корня.

— Нет, любовь подобна растению, которое розой иерихонской зовется. В засуху сохнет она и съезживается, а стоит выдаться теплой животворной ночи да выпасть обильной росе, как вновь развернет все листочки до единого, зеленеет себе как ни в чем не бывало, да еще пуше прежнего.

— Может статься. Любовь, верно, бывает всякого рода.

— Истинно так! Угадали! А наша как раз и была такой любовью.

— Что ваша была такая, это я от вас теперь слышу, а моя никогда не была такой, никогда.

— Стало быть, вы никогда не любили.

— Не любила? Ну, так я расскажу вам, как я любила. Было то во Фредериксборге...

— О madame, вы беспощадны!

— Да нет же! Я вовсе не к тому... Было это во Фредериксборге. Ах, вы и знать не знали, как я там настрадалась. Увидела я, что ваша любовь ко мне уже совсем, совсем не та, что прежде... Ах, как мать не отходит от больного дитяти и следит за каждою малостью, так и я со страхом и трепетом следила за вашей любовью. А когда по вашим холодным взглядам увидела, как она поблекла, когда почувствовала по вашим поцелуям, как слабо бьется кровь в ее жилах, то впору мне было изойти от муки и горя. Ночи напролет плакала об этой любви, молилась за нее, как за дочку любимую, которая день за днем, час за часом чахнет и сохнет. И с горя бросилась я за помощью и советом, какое пайти снадобье целительное для вашей любви. И о каком бы тайном средстве ни прослышала, что вот-де любовное зелье, брала его и подмешивала вам по утрам в кофий, по вечерам в вино, а сама и верю и не верю. Три новолунья кряду расстилала я ваш нагрудник и читала над ним свадебный псалом, а на вашей кровати из-под низу собственной кровью вывела я крест из тринадцати сердец, да без проку, богоданный супруг мой, ибо любовь ваша была уже при смерти. Вот как вас любили!

— О нет, Мария! Не умерла моя любовь, она воскресла! Слушай, душа моя! Выслушай меня, ибо я был поражен слепотой, дурным недугом безумия, а нынче, Мария,

падаю я перед вами на колени, и вот я у ваших ног, снова жених, снова сватаюсь, вновь умоляю, о, молю вас... молю! Ах, была моя любовь несмышлениш своенравный, а теперь выросла, повзрослела и возмужала. Вверьтесь же смело ее объятьям, и клянусь вам древом креста господня и честью мужеской, что объятия мои вовек вас не выпустят боле.

— Молчите! Да замолчите же! Этим не поможешь.

— Ах, да поверьте же мне, Мария!

— Богом живым клянусь — верю вам! Нет ни крошечки, ни крупиночки сомнения у меня в душе. Верю вам, верю вам искренне, что любовь ваша велика и сильна, а вот мою, мою вы задушили своими же руками, покойница она, и как ваше сердце ни взывай к ней, вовек вам не пробудить ее вновь.

— Пробудится, Мария! Персоны вашего пола... Я знаю, что среди них бывают такие, которые уж коль полюбят мужчину, так он хоть пинками гони их, все равно возвращаются, по гроб жизни будут возвращаться, ибо любовь их противу всего выстоит, она неуязвима.

— Да, что правда — то правда, богоданный супруг мой, и я... я, знайте же, в самом деле такая, но вы-то не из настоящих мужей.

— «Да хранит и оборонит тебя десница господня, дражайшая и ненаглядная сестрица моя, и да будет он тебе подателем всех благ души и живота, чего тебе ото всего сердца желаю.

Сестрица моя ненаглядная, как была ты мне единственным другом и благожелательницей с детских годов, так опишу я нынче тебе, сколь прекрасные плоды пожинаю я от своего высокого звания, будь оно проклято с того самого дня, когда все это началось! Ибо пришло оно мне — видит бог! — одни горести да тревобления полною чашею.

Да уж какой я там карьер сделала! Разве что — шиворот-навыворот, — сверху вниз покатлась, как вы, сестрица моя ненаглядная, сейчас услышите да как вам, верно, отчасти уже и ведомо, затем, что всенепременно сестрица слышала об том от своего дражайшего супруга, что, еще живя в Зеландии, остыли мы друг к другу, и я и мой благоверный, тонкого воспитания супруг. Да и

здесь, в Аггерсхусе, было одно время не лучше, ибо он держал себя со мной так, что по большей части и рассказать, так не поверишь. Но того, пооди, и надобно было ждать от столь прекрасного собою кавалера. Только наплевать мне на его поганые амурные утехи, ибо нисколечко они меня не трогают, коль скоро от любви моей к нему с гулькии нос осталось. И по мне пускай его хоть с живодеровой бабой кобелился, ежели его на то станет, лишь бы ко мне близко не подходил да не задирался, как нынче делает, да еще на такой манер, что диву даешься, то ли он вовсе от любовного пылу одурел, то ли бес в него вселился. А началось с того, что пришел он как-то ко мне и давай меня улещивать и расточать напыщенные обещания, пусть, дескать, все у нас будет опять по-хорошему. Да только так он мне омерзел и так я им гнушаюсь, что я ему начистоту и выложила, дескать, не жирно ли с него будет такой жены, как я. Но тут-то и пошло писать, ибо *wenn's de Düwel friert*,¹ как говорится, *macht er sein Hölle glühn*.² Он тот же час и задал мне такого жару, что чертям тошно, — и вот каким манером: навез к нам в замок уйму лиходельных паскудниц и всякого дерьма той же сучьей породы, поил, кормил их до отвалу, даже дорогим бланманже и ценнейшими показными блюдами потчевал, словно тебе на королевском банкете. Да еще и мои скатерти парчовые понадобились, что мне от нашей покойной матушки достались, и шелковые подушки с бахромой тоже ему подавай! Да не тут-то было! Потому как я мигом все это под замок, и пришлось ему в городе заниматься, чем столы да скамьи накрыть.

Ненаглядная моя сестрица! Не стану я боле докучать тебе столь омерзительной кумпанией, но сама посуди, не зазорно ли, что этикие паскудные стервы, которым, если воздать должное, следовало бы шкуру спустить у столба на площади, рассядутся на почетных местах в палатах самого наместника его королевского величества. Сие, мысля, дело неслыханное и такое насмехательство, что дойди об том слух до его королевского величества, чего я всем сердцем, душой и телом желаю, так он отчитал бы *meinem guten*³ Ульриха Фридриха, да так, что у него бы и слу-

¹ Если черту зябнется (*нем., диал.*).

² Тонит он пекло (*нем., диал.*).

³ Моего милого (*нем.*).

нать охота пропала. Но про самую-то милую проказу его и еще не рассказала; она еще совсем внове, ибо приключилась вчера, когда я спосылала за щепетильником, чтобы принес мне брабантских шелковых аграмантов, которые я хотела пустить по подолу у платья, но тот велел ответить, ежели вышлю денег, то и товар будет, а в долг мне продавать наместник-де ему заказал. И этакое же известие пришло от шляпочника, за которым я посылала. Так что полагаю, учинил он мне повсеместную дискредитацию, а я-то ему в дом не одну тысячу ригсдалеров с собой принесла. На сей раз довольно! Все в руке божией, и пошли господь от тебя только добрые вести.

*Писано в Аггерхусском замке декабря 12-го лета
1665.*

*Век тебе верная сестра твоя
Мария Груббе.*

Ее благородию, г-же судейше Анэ Марии Груббе, супруге Стюге Хоя, окружного судьи Лоландского, любезной сестрице моей с сердечным почтением в собственные руки».

«Храни тебя *господь*, ненаглядная сестрица моя, и ныне и присно, желаю тебе того ото всего сердца и буду вечно за тебя бога молить, дабы восприяла ты духом и не давала себя в обиду, ибо каждому суждена доля скорби его, утопаем мы в горькой юдоли нашей, тонем в горестях да слезами умываемся.

Письмецо твое, н.с.м., попало мне в руки целое и невредимое, и сердце у меня зашлось, как прослышала я про срам и поношение, какие навлек на тебя супруг твой, и великая несправедливость наместнику его королевского величества учинять так, как учиняет.

Однако не спеши, голубонька моя, затем, что есть тебе резон потерпеть, как залетела ты в высоки хоромы и обнетиться было бы не больно-то ладно: может, и стоит поступиться спокойствием сохранности ради. Ибо ежели твой супруг на стороне загулял да много добра расточает, так свое добро спускает, а мой-то хлюст и свое и мое промотал, чистая беда и горе! Это чтобы муж, который что нам богом дано беречь должен, да заместо того все начисто прокучивал да прощелкоперивал!.. Кабы господь

разлучал меня с ним хоть так, хоть эдак, то за такую великую благостыню я, горемычная, не чаяла бы как и благодарить. И по мне хоть сей же час могло бы так выйти, коли мы с прошлого году друг к дружке ни ногой, за что слава и благодарение *богу*, лишь бы оно и впредь так шло. Стало быть, н. с. м., сама разумеешь, что и у меня постель не шелками убрана. Но, н. с. м., сама посуди — твой-то, даст *бог*, еще и утихомирится и в ум войдет, всего-то он на бессовестных шлюх и сволочь всякую не просадит, а как должность великий ему доход дает, так и не тревожь сердечка своего похабным его расточительством, а неблагосклопностью и подавно.

Господь все уладит, верю всему твердо. Не тоскуй, голубушка, и пошли тебе *господи* многие тысячи добрых ночей, чего тебе желаю.

По гроб жизни верная сестра твоя

Анна Мария Груббе.

Писано в Ванге февруария 6-го лета 1666.

Госпоже — Гюлленлеу, дружку моему и сестрице, писано во всей сердечности».

«Да хранит и оборонит тебя десница господня, дражайшая и ненаглядная сестрица моя, и да будет он тебе подателем благ тела и души, чего тебе ото всего сердца желаю.

Ненаглядная моя сестрица! Хоть и говаривали в старину, что и беспросветного дурня в Иванов день озаряет, да только не всегда кстати, ибо благоверный супруг мой так одурел, что все еще в разум войти не может. Боле того, не то что не вошел, а раз в десять — да какое там в десять: в тысячу раз! — дурнее прежнего стал. Ибо описанное мною раньше — просто детская забава, коли посравнить с тем, что теперь деется. А творится такое, что сил нет терпеть. Надобно тебе знать, сестрица, что побывал он в Копенгагене и — о, насмехательство и поношение немислимое! — привез сюда одну свою шлюху непотребную, Кареной звать, да ей тот же час у нас в замке апартаменты отвел, и она у нас в командирши попала и как хочет, так и распоряжается, а я за дверями стой.

Но, дорогая сестрица, сделай милость, разуднай, станет ли наш батюшка держать мою сторону, ежели я от-

сель сбегу. А того он, верно, захочет, ибо нет человека на белом свете, чтобы его не взяла великая жалость, увидев меня в столь мизерабельном состоянии. И навалилась же на меня такая обуза, мочи моей нет! И мыслю, что греха не будет, если скину ее с плеч долой.

Не далее, чем в день успенья пресвятой богородицы, пошла я в сад под яблоньками прогуляться, а когда вернулась в дом, вижу, опочивальня моя заперта на засов изнутри. Спрашиваю, что сия шутка означает, а мне говорят, что эту комнату и соседний покойчик Карене этой самой захотелось, а кровать мою перенесли в западную спальню, где ежели ветер поднимется, холодище — точно в церкви, и сквозняками так и продувает, а половницы совсем изгнили, щелей не оберешься, да пребольшие.

Но если бы я пространно расписывать стала обо всем издевательстве, какое мне здесь чинится, так вышло бы подлиннее проповеди о великом посту. А буде и дале на прежний лад пойдет, то вряд ли стерпит моя головушка.

Все в руце божией, и пошли господи о тебе только добрые вести!

*Век тебе верная сестра твоя
Мария Груббе.*

Писано в Аггерхусском замке сентября 2-го лета 1666.

Ее благородию г-же судейше Анне Марии Груббе, супруге Сти Хоя окружного судьи Лоландского, дражайшей сестрице моей в собственные руки».

Ульрику Фредерику, в сущности, столь же надоела этакая жизнь в замке, сколько и Марии Груббе.

По части кутежей и гульбищ он был приучен к лучшему. А тут, в Норвегии, оказывались в собутыльниках одни эти захудалые офицершкы, а их солдатские шлюхи — с теми и вовсе долго не патернишь. Лишь Карен Скрипочка не была воплощенной грубостью и пошлостью, но даже и с ней он распрощался бы хоть сейчас.

С досады на отказ Марии он и стал водить компанию с такими людьми. Тогда это позабавило его, но ненадолго. А теперь, когда все это ему опреснело и почти опротивело, да когда вдобавок им овладело нечто вроде раскаяния, он принялся вбивать себе в голову, что все это было необходимо, да и на самом деле увсрвал, что так оно и есть

и что у него имелся на сей счет намеченный план, а именно — заставить Марию Груббе пожалеть о своем поведении и, покаившуюся, привести назад к себе. Но поскольку сожаления и в помине не было и не предвиделось, он пустился во все тяжкие, в надежде сломить ее упорство, сделав ей жизнь как можно несноснее. А что она больше не любит его, не верил. Он чувствовал твердую убежденность, что Мария в душе только и ждет, как бы броситься к нему в объятия, но, заметив его воскресшую любовь, поняла, что может отомстить ему за измену... И пусть ее, пусть мстит на здоровье! Ему даже нравилось, что она будет мстить, но только очень уж она долго тянет — здесь, в этой варварской Норвегии, такая тощица!

И все-таки он не мог решить: а не было ли лучше всего оставить Карен Скрипочку в Копенгагене? Но, с одной стороны, прочие ему осточертели, с другой же, ревность, как-никак, могучая союзница. А что Мария Груббе в свое время приревновала его к Карен — это он знал.

Однако Мария Груббе не шла да не шла к нему, и он уже начал сомневаться, что она когда-нибудь придет, а вместе с сомнениями росла и его любовь.

Их отношения прориклись какой-то напряженностью, как при игре или на охоте.

С боязливым чувством, с расчетливыми опасениями причинял он Марии Груббе неприятность за неприятностью и мучительно-напряженно ждал хоть какого-нибудь признака, хоть самого малого, — признака, что он напал на след, поднял зверя и гонит куда надо. Но ничего не случилось.

Нет, случилось наконец-то!

Наконец-то случилось, и Ульрик Фредерик был убежден, что это и есть примета та самая, которую он ждал. А именно: однажды Мария Груббе, когда Карен нанесла ей необычайно чувствительное оскорбление, забрала в руки добротные ременные вожжи, прошла по дому в ту комнату, где как раз после обеда почивала Карен, и, закрыв дверь изнутри, отхлестала перепуганную потаскуху тяжелыми вожжами, а потом преспокойно вернулась в западную спальню, прошагав мимо безмолвных челядинцев, которые сбежались на вопли Карен.

Когда это случилось, Ульрик Фредерик был в городе. Карен тотчас же послала известить его, но он и не по-

думал спешить. Лишь под вечер заждавшаяся Карен услышала на дворе топот его коня. Она кинулась ему навстречу, однако он легонько, но твердо отстранил ее и прошел прямо наверх, к Марии Груббе.

Дверь была приотворена — значит, ее там нет. Он просунул голову, уверенный, что комната пуста, но Мария была там. Она спала, сидя у окна. Тогда он вошел, стараясь ступать осторожно, как можно осторожнее, ибо был не совсем трезв.

Где желтой, а где золотистой рекой разлились по каморке лучи заходящего сентябрьского солнца, и убогие краски ее обрели блеск и пышность: беленые стены — лебединую белизну, побурелый деревянный потолок — цвет каленого железа, а полинялый полог превратился в винно-красные переливы и пурпурные складки. Слепило от света. Даже то, что было в тени, все-таки светилось, словно мерцающая сквозь какое-то желтолиственное зыбкое марево. Свет соткал нимб из золота вокруг чела Марии Груббе и целовал ее в ясный лоб. А что глаза и рот тонули в тени, виновата была желтеющая яблоня, которая дразнила у самого окошка ветвями, алеющими от плодов.

Но Мария спала, сидя в кресле и положив руки на колени.

На цыпочках подкрался Ульрик Фредерик к Марии, и, когда встал между ней и окном, нимб исчез.

Он разглядывал ее пристально.

Она бледней, чем прежде. Выглядит такой доброй и кроткой, когда сидит вот так, запрокинув голову, полуоткрыв рот, а горло белеет — голое, обнаженное горло. Ему было заметно, как бьется жилка на шее, как раз под темной крохотной родинкой. Он прошелся взглядом от круглого крепкого плеча под тугим шелком, по стройному запястью, до белой дремлющей руки... И эта рука принадлежала ему!.. И ему виделось, как она стискивала мягкими пальцами бурые вожжи и как белая в прожилках плоть то напрягалась и лоснилась, то опадала и смуглела при каждом ударе, когда она хлестала Карен по жалкому телу. Ему виделось, как радостно сверкал ее ревнивый взор и как свирено улыбались гневные губы от мысли, что она сводит счеты вожжами, выколачивая поцелуи за поцелуем... И это была его Мария... Он был зол и крут, и жесток, он допустил, чтобы эти милые

руки заламывались от горя, а уста эти алые стонали и вопили.

В глазах у него появился влажный блеск, когда он подумал об этом, и он почувствовал, как его пронизывает легко возбудимое у пьяного человека нежное сострадание, и продолжал стоять и упорно смотреть с вялой и пьяной чувствительностью, пока полноводная светлая солнечная река не сузилась до тоненькой мерцающей ниточки, мелькавшей в вышине между темными балками на потолке.

Тут Мария Груббе проснулась.

— Вы! — почти крикнула она, вскочив и ринувшись назад, так что кресло грохнулось на пол.

— Мария! — сказал Ульрик Фредерик как можно нежнее и умоляюще протянул к ней руки.

— Что вам нужно? Уж не жаловаться ли собрались, что вашей сучке попало?

— Нет, нет, Мария! Давай помиримся, давай помиримся и будем друзьями!

— Вы пьяны, — сказала она холодно и отвернулась.

— Да, Мария, пьян я, да только от любви к тебе! Так пьян от красоты твоей, что голова кругом идет, куколка ты моя ненаглядная!

— Да, так напились, что в глазах помутилось и вы, обознавшись, других за меня принимали.

— Мария, Мария! Полно тебе ревновать теперь!

Она презрительно отмахнулась.

— Э нет, Мария! Ты ревновала. Сама ведь себя выдала, коли за вожжи взялась. А теперь давай забудем всю эту дрянь и погань. И ну ее к чертовой бабушке! Давай, давай! Не разыгрывай мне тут злочку, как и перед тобой вертопраха разыгрывал, когда для пущей важности бражничал да с девками путался. У нас с тобой из-за этого сущий ад, а не житье, а могли бы жить как у Христа за пазухой. Будет тебе полная воля. Захочешь в шелку щеголять, толстом как камлот, — щеголяй себе! Ожерельев жемчужных захочешь, хоть с твои косы длиной, — будут! И перстни, и парча золотая, целыми ворохами, и перья, и камни самоцветные — все, чего душе твоей угодно, ничего мне для тебя не жаль — носи на здоровье!

Он хотел обнять Марию за талию, но она вцепилась ему в запястье и отстранила.



— Ульрик Фредерик! — промолвила она. — Поведать мне тебе или нет? Да одень ты любовь свою в тафтицу и в меха куницы, закутай ты ее в соболя, осыпь ты ее золотом и даже подари ты ей башмачки алмазные, из чистойшего алмазу, все равно отшвырнула бы я любовь твою, словно мразь и нечисть поганую. Ибо грязь у меня под ногами, и то чище любви твоей. Нет во мне и капельки крови, что желала бы тебе добра, жилки такой нет во всем теле моем, что не оттолкнула бы тебя, слышишь? Нет такого уголочка в душе у меня, где бы окликали тебя по имени. Правду говорю, пойми! Если бы могла избавить плоть твою от мук недуга смертельного или душу твою от страстей геенских, да чтобы притом твоею стать, — нет, вовек бы того не сделала.

— Нет, сделала бы и, стало быть, не говори, что нет!

— Нет, нет и нет! И не подумала бы!

— Так вон же отсюда, вон! Долой с глаз моих, чтоб и духу твоего тут не было, чтоб тебя черти в аду допекли!

Он побелел как стена и трясся всем телом. Он размахался руками как помешанный, а хриплый голос нельзя было узнать:

— Проваливай и не попадайся мне! И не попа... и не попа... и не попадайся мне больше, а не то я тебе башку размозжу. Кровь кипит, крови просит, кровь только и вижу! Чтоб ноги твоей на земле норвежской не было, вон отсюда, и чтоб тебя черти тащили, а бесы погоняли!

Мария посмотрела на него испуганно, постояла, а потом со всех ног кинулась из комнаты и — вон из замка.

Как только захлопнулась дверь за Марией, Ульрик Фредерик схватил кресло, в котором она сидела, когда он пришел, и вышвырнул его за окно, сорвал с постели обветшалый полог, искромсал его на куски и разодрал на клочья, а сам тыкался как угорелый по комнате. Потом повалился на пол и ползал на коленях, хрипя как лютый зверь и до крови колотясь лодыжками. Наконец изнемог, подполз к постели и бросился на нее, уткнувшись лицом в подушки. И звал Марию, называя ласковыми именами, и плакал, и всхлипывал, и клял ее, и опять говорил нежным, вкрадчивым голосом, словно хотел приласкать ее.

В ту же самую ночь Мария добрым словом и за высо-

кую цену уговорила какого-то корабельщика переправить ее в Данию.

На следующий день Ульрик Фредерик прогнал Карен Скрипочку из замка, а спустя несколько дней уехал в Копенгаген.

Увидев в один прекрасный день, что мадам Гюльденлеве подъезжает к Тьеле, Эрик Груббе так и ахнул.

Он сразу смекнул, что стряслось неладное, если она прикатила этак запросто, без челяди и налегке, а узнав обстоятельства дела, оказал ей далеко не радушный прием, ибо так осерчал, что ушел к себе, хлопнув изо всей силы дверью, и больше в тот день не показывался.

Но, заслав неприятность, стал обходительнее и даже начал относиться к дочери чуть ли не с почтением и любовью, а в речах у него появилась напыщенная торжественность старого царедворца. Пораскинув умом, он решил, что никакой беды, говоря по сути, и не случилось: вышла, правда, небольшая размолвка между молодоженами, без того не бывает, но Мария оставалась мадам Гюльденлеве, и дело было поправимое, невелика трудность.

Мария-то, конечно, кричала насчет развода и слышать не хотела о примирении, но ведь иного и ждать было бы как-то нелепо, чтобы этак сразу, пока еще свежо озлобление от первой перепалки, пока еще любое воспоминание берedit душу, как болезненная язва или зияющая рана... Эрик Груббе и отложил попечение: перемелется — мука будет, в этом он был твердо убежден.

Было и еще одно обстоятельство, которое сулило ему немалую поддержку. Мария-то приехала из Аггерсхуса чуть ли не нагишом, без платьев и драгоценностей, а скоро она хватится их, ибо привыкла всяк день жить в роскоши. Да и само житье-бытье в Тьеле, харч немудреный, прислуги немного, заставит ее пожалеть о том, что она бросила. С другой стороны, Ульрик Фредерик, сердчай он сколько душе угодно, вряд ли вздумает разводиться. Не в таком уж порядке его денежные дела, чтобы ему расставаться с Марииным приданым, ибо двенадцать тысяч далеров, да еще наличными, на земле не валяются, а золотом, земельными угодьями и прочей благодатью поди-ка поступишь, коль скоро они тебе в руки попали.

С полгода в Тъеле все шло гладко. В тихой усадьбе Мария чувствовала себя хорошо. Глубокий мир, царивший там, однообразие дней и полнейшее отсутствие происшествий было для нее чем-то новым, и она предалась этой жизни с мечтательно-пассивным наслаждением. В воспоминаниях бывшее представлялось ей утомительной борьбой и схваткой, непрестанным бесцельным стремлением пробиться вперед, которое было освещено резким пронзительным светом, охвачено нестерпимым, оглушительным шумом и суматохой. И нашло на нее блаженное чувство невозмутимости и покоя, блаженное чувство, что отдыхаешь без помех в благодатной тени, в сладостной и дружественной тишине. И любо ей было возвеличивать свое миротворное убежище, вспоминая о том, что на белом свете еще галдят, суетятся, теснятся, борются и толкаются, а она вот черным ходом улизнула от жизни и попала в укромное местечко, где никто ее не разыщет и не потревожит ее милого сумрачного уединения.

Но время шло, и тишина становилась в тягость, мир мертвел, а тень мрачела — и Мария начинала теперь как бы прислушиваться к живым отзвукам далекой жизни. Поэтому ей пришлось по сердцу предложение Эрика Груббе переменить образ жизни. А ему хотелось, чтобы Мария переехала и жила в Калэ, замке своего супруга. И Эрик Груббе втолковывал Марии, что поскольку ее супруг находится во владении всем ее приданым, ей же на прокормление ничего не присылает, то будет и разумно и пристойно кормиться ей от поместья в Калэ, а там бы она как сыр в масле каталась, завела бы себе уйму дворовых и роскошествовала бы сколько вздумается, совсем не то, что здесь, в Тъеле, где ей, привыкшей жить не в пример лучше, житье скудное. Помимо того, в королевской дарственной, которой ее пожаловали к свадьбе и где обеспечиваются ей тысяча бочек зерна, буде Ульрик Фредерик помрет прежде нее, несомненно разумеется Калэ, дающее как раз тысячу бочек дохода и пожалованное Ульрику Фредерику через полгода после свадьбы. А уж если они не помирятся, то нет ничего невероятного, что Ульрик Фредерик откажет ей при жизни вдове поместье. Посему будет не лишне как ей ознакомиться с землями, так и Ульрику Фредерику свыкнуться с мыслью, что хозяйка именно — Мария, и тем легче он, пожалуй, отступится.

Таким способом Эрик Груббе рассчитывал избавиться от издержек, которые он нес по пребыванию Марии в Тьеле, да заодно уж выставить в глазах людей разрыв между Ульриком Фредериком и его супругою менее значительным, нежели он был на самом деле. Ведь, к тому же, это все равно будет какое-то сближение, и наперед не угадаешь, к чему оно приведет.

Итак, Мария уехала в Калэ, но жить ей там так, как она представляла себе, не пришлось, ибо Ульрик Фредерик наказал своему фогту, Йохану Утрехту, принять мадам Гюльденлеве с честью и кормить ее, но не выдавать ей на руки ни вида, ни скиллинга наличными деньгами. В Калэ было, кроме того, еще скучнее, если это только возможно, нежели в Тьеле, и Мария вряд ли осталась бы там надолго, не объявись у нее гость, который вскоре должен был стать для нее более, чем просто гостем.

Имя ему было Сти Хой.

Со времени празднества во Фредериксборгском дворцовом саду Мария часто думала о своем зяте, и притом всегда с чувством искренней благодарности. И не раз, когда ее обижали в Аггерсхусе или оскорбляли особенно чувствительно, было ей утешением вспоминать почтительное, безмолвное, молитвенное преклонение Сти Хоя. Вот и теперь, когда она была покинута и забыта, он нимало не изменился и обхождение его было такое же, как и в далекие дни ее триумфа: прежней была лестная безнадёжность, в выражении лица, прежним — смиренный восторг во взгляде.

Больше двух-трех дней кряду Сти Хой никогда в Калэ не задерживался и уезжал на неделю гостить где-нибудь по соседству. И Мария приучилась скучать по нему, ожидая его приезда, и вздыхать, когда он уезжал, ибо, можно сказать, с ним одним она и зналась. А поэтому они откровенничали между собой — мало что было им таить друг от друга.

— Madame! — спросил однажды Сти Хой. — Ужели вы намерены вернуться к его светлости, если он принесет вам свои полные и совершенные извинения?

— Да приползи он сюда на карачках, — ответила она, — я и тогда бы оттолкнула его. Нет у меня в душе к нему ничего, кроме омерзения и презрения, потому что нет у него в натуре ни единого постоянного, надежного чувства, ни единой по-честному горячей капли крови

в теле, — шлюха он, самая что ни есть изгнившая, проклятая шлюха последняя, а не мужчина. И глаза-то у него как у шлюхи, пустые да лживые, и хочет-то он как-то похабно, точно шлюха, без души, с опаской да помаленьку. Отродясь не увлекала его честная страсть, такая, от которой кровь кипит; вовек не срывалось с уст его слово от чистого сердца! Ненавижу я его, Сти, ибо чувствую, что опоганили меня его блудливые; лапающие ручки и потаскушечьи речи.

— Следственно, будете подавать разводную, madame?

Мария ответила, что будет и что если бы только батюшка посодействовал ей, то дело бы уже давно продвинулось. Но он не торопится, надеясь, что все еще уладится, — только этому не бывать!

Тогда они заговорили о том, чего ей можно ожидать на прокормление после развода, и Мария сказала, что Эрик Груббе предъявит от ее имени претензии, и в первую очередь на Калэ.

Сти Хой это показалося необдуманым и малопригодным. Мысленно он определил ей иную жизнь, чем вдовить где-то в медвеьем углу в Ютландии, а потом, может быть, в конце концов и выйти замуж за мелкого дворянина, ибо здесь ей не подняться выше. При дворе же ее песенка спета, потому что Ульрик Фредерик имеет там слишком большой вес, чтобы не быть в состоянии отдалить двор от нее, а ее от двора. Нет, он вот что надумал: ей надо добиться возврата приданого, и притом наличными деньгами, а затем покинуть Данию и носу сюда больше не показывать. С ее красотою и обходительностью она могла бы снискать себе во Франции прекрасный удел, совсем не то, что здесь, в этой мизерной стране с неотесанным дворянством и жалким сколком с настоящего двора.

Вот о чем говорил Сти Хой, а убогая жизнь в Калэ была настолько хорошим фоном для одурманивающих картин роскошного и пышного двора Людовика Четырнадцатого, которые он рисовал ей, что Мария всецело пленилась ими и вскоре прямо-таки спала и во сне видела Францию.

Сти Хой был еще по-прежнему охвачен любовью к Марии Груббе и не раз говорил об этой страсти своей, говорил, не прося и не умоляя, даже ни на что не надеясь и не сетуя, напротив того — совершенно безнадеж-

но, заранее считая немислимым, что она может теперь или когда-нибудь ответить на его чувство. Поначалу эти признания Марья слушала с тревожным удивлением, но потом заинтересовалась и стала исподволь прислушиваться все внимательнее к этим безнадежным размышлениям о любви, причиной которой была она сама. И не без одурманивающего ощущения своей власти слушала она, что сделалась владычицей живота и смерти человека столь удивительной породы, как Сти Хой. Однако вскоре безвольность в речах Сти пробудила в ней чувство раздраженности, а его отказ от борьбы, потому что цель борьбы представлялась недостижимой, его смиренное самоуспокоивание тем, что выше головы не прыгнешь, вынудило ее сомневаться, и как раз не в том, скрывалась ли на самом деле страсть за странными речами Сти или же горе за его меланхолическими минами, а в том, не изъяснялся ли он сильнее, нежели чувствовал, ибо она не понимала такой безнадежной страсти, которая не закрывает упрямо глаз на то, что никакой надежды нет, и все-таки слепо и яростно рвется вперед, такой страсти она не понимала, не могла поверить в такую страсть и создала себе представление о Сти Хое как о фантазере, который, вечно конаясь и ковыряясь в самом себе, стал считать себя богаче, выше и куда значительнее, чем он был на самом деле, а теперь, когда в действительности ничто не подтверждает этого самообольщения, он начал лгать самому себе, будто обуреваем великими чувствами и сильными страстями, которые были порождены всего лишь фантастической плодovitостью его болезненно-деятельного мозга, и прощальные — надолго — слова, которые она услышала из его уст — а она по вызову отца уезжала в Тъеле, куда Сти Хой не смел появляться, — лишь укрепили ее во мнении, что этот портрет был во всем на него похож.

А было вот что. Уже попрощавшись с Марией и уже взявшись за ручку двери, он вдруг обернулся и сказал:

— Ныне, когда дни вашего пребывания в Калэ, madame, миновали, открывается траурная страница в книге живота моего, и буду томиться я горькою мукой и грустить, как грустит человек, который утратил все, в чем было его земное счастье, все надежды свои, все желания. И однако, madame, доведись когда-нибудь основательная причина подумать, что я вам мил, и уверься я в том,

так одному богу ведомо, что бы со мною сотворилось. Авось это пробудило бы во мне те силы, которых я досель еще не мог обрести, дабы воспользоваться крылами их мощи, и тогда та часть души моей, которая жаждет деяний и пламенеет надеждами, взяла бы верх и увековечила и прославила бы мое имя. Но столь же легко представить себе, что такое несказанное счастье ослабило бы каждую натянутую струну, перехватило бы голос каждому призывному желанию и оглушило бы каждую чуткую надежду, и стала бы страна блаженства моего расслабляющей Капусей силам моим и способностям...

Естественно, Мария оставалась при своих мыслях и понимала, что так оно и лучше будет, а вздохнуть все-таки вздохнула.

И вот она переселилась в Тьеле. Эрик Груббе желал этого возвращения, потому что боялся, как бы Сти Хой не склонил ее к такому образу действий, который будет противоречить его замыслам, да, кроме того, хотел испытать, нельзя ли будет уговорить Марию, чтобы она согласилась на такой оборот дела, при котором брак оставался бы в силе.

Пока что это оказывалось бесполезным, но Эрик Груббе тем не менее продолжал в письмах своих требовать от Ульрика Фредерика, чтобы тот взял Марию опять к себе. Ульрик Фредерик не подумал и разу ответить, он предпочитал тянуть елико возможно дольше, ибо всякий возврат имущества, неизбежно долженствующий воследовать за разводом, был ему вовсе не на руку, а в тестевы заверения, что Мария готова идти на мировую, он не верил. Что его благородие, господин Эрик Груббе, любит прилгнуть — было ведомо всем и каждому.

Между тем тон писем Эрика Груббе становился все грознее, и речь заходила уже о личном обращении к королю. Ульрик Фредерик понял, что дальше тянуть нельзя, и написал из Копенгагена своему фогту в Калэ, Йохану Утрехту, письмо, в котором поручал ему во всей тайности разведать, не пожелает ли мадам Гюльденлеве встретиться с ним в замке Калэ, но так, чтобы Эрик Груббе ничего об этом не узнал. Письмо было написано в марте шестьдесят девятого года.

Во время предложенного свидания Ульрик Фредерик надеялся выведать истинное настроение Марии Груббе, и если бы оказалось, что она склонна помириться, то

немедля увез бы ее с собой в Аггерсхус, а если нет, то, обещав содействовать немедленному разводу, полагал выговорить себе наивозможно мягкие условия его.

Но Мария отклонила встречу, и Ульрик Фредерик, не уладив дела, песолоно хлебавши уехал в Норвегию.

Эрик Груббе продолжал еще несколько времени строить свои бесполезные писания, но вот в феврале семидесятого года пришло известие о кончине Фредерика Третьего, и Эрик Груббе решил, что теперь наконец приехала пора перейти от слов к действиям. Ибо король Фредерик всегда высоко ставил своего сына Ульрика Фредерика и любил его такой слепой любовью, что в этой тяжбе усмотрел бы, пожалуй, всю вину на истце, а при короле Христиане можно было ожидать, что дело обернется иначе: ибо хоть и были они с Ульриком Фредериком друзья закадычные и немало вместе попили-погуляли, тем не менее короля, может статься, все еще омрачает легкая тень зависти, поскольку при жизни отца он так часто оставался в тени, заслоненный более даровитым и куда более видным сводным братом. А кроме того, молодые государи любят показывать свое беспристрастие и от пылкого чувства справедливости нередко бывают несправедливы даже к тем, кого они, по всеобщему мнению, именно и должны бы взять под защиту. Потому-то и было решено, что они по весне вдвоем съездят в Копенгаген, а Мария тем временем постарается раздобыть себе на траурное платье у Йохана Утрехта двести ригсдалеров, дабы с пристойностью представиться новому королю. Но фогт, не имея дозволения Ульрика Фредерика, не посмел выслать деньги, и Марии пришлось ехать без траура, ибо отец отнюдь не хотел тратиться и полагал вдобавок, что сей недостаток только пуще выставит напоказ ее жалостное положение.

В конце мая они приехали в Копенгаген, и поскольку свидание тестя с зятем не дало результатов, Эрик Груббе написал королю, что сил нет всеподданнейше описать, с каким посмеянием, срамом и бесчестьем его сиятельство, превосходительный Гюльденлеве несколько годов тому назад выселить изволил супругу свою Марию Груббе из Аггерсхуса, отдав ее на произвол бурям, ветрам и пиратам, каковые о ту пору на море сильно бесчинствовали, поелику в то время яростная вражда и бои шли промежду Голландии и Англии. Господь, однако, мило-

сердием своим оборонил несчастную от вышепомянутой опасности, и приехала она к нему в дом цела и невредима. Но как учинено ей было неслыханное поношение, то он многожды писал, увещевал и, плача, слезно молил своего высокочтимого сановного зятя, прося его сиятельство одуматься в сем деле и либо доказать, какая за Марией вина есть, из каковой должно бы воспоследовать расторжение брака, либо же вновь взять ее к себе, — однако все сие купно взятое было тщетно. Мария принесла ему в приданое не одну тысячу ригсдалеров, но тем не менее и такой малости, как двести далеров, получить не могла, дабы купить себе траурных платьев. Короче говоря, жалостное положение ее было бы чересчур пространно описывать, а посему и прибегают они оба к его королевского величества, своего всемилостивейшего государя прирожденной милости и кротости, всеподданнейше челом бия и ходатайствуя, да смируется его величество ради Христа над ним, Эриком Груббе, преклонного возраста его ради, каковому шестьдесят осьмой пошел, и над нею для великой нищеты ее и позора, и его сиятельству Гюльденлеве всемилостивейше повелеть соизволит: либо доказать, какая есть на Марии вина, по каковой, яко речет Христос, да разведутся люди брачные, чего он вовек сделать не сможет, либо взять ее опять к себе, что возвеличило бы славу божию, поелику брак сохранится в той же чести, каковая ему самим господом богом определена и отчего будет великому соблазну преткновение, великих грехов сокрушение, а душе сие будет во спасение от кары вечной.

Мария сперва ни за что не хотела подписаться под этим прошением, ибо ни под каким видом не хотела жить с Ульриком Фредериком, как бы дело ни обернулось. Но отец уверил ее, что притязания к Ульрику Фредерику — взять ее опять к себе — одна проформа, ибо он теперь сам захочет развода любой ценой, манера же, в которой сочинено прошение, понудит его еще пуще желать развода, а это выставит ее дело в лучшем свете и создаст ей лучшие условия. Тогда Мария уступила и даже прибавила, по внушению отца и по его наметке, следующую приписку к челобитной:

«Мне очень хотелось бы говорить лично с вашим величеством, но у меня, горемычной, нету платьев пока-

заться на люди. Смилюйтесь надо мною, всемилоостивей-
ший монарх и король, и помогите мне получить свое. Да
воздаст Вам господь сторицею.

Мария Груббе».

Но не очень-то уповая на слова Эрика Груббе, она че-
рез посредничество одного из своих старинных придвор-
ных друзей переслала королю в руки совсем особую част-
ную эпистола, в которой без обиняков выложила, как
мерзок ей Ульрик Фредерик, как она ждет не дожидется
развода и как тошно ей было бы даже малейшее сопри-
косновение с Ульриком Фредериком при разбиратель-
стве тяжбы об имуществе.

А между тем на сей раз Эрик Груббе сказал правду.
Ульрик Фредерик хотел развода. Его положение при
дворе, как сводного брата короля, было далеко не то, что
любимого королевского сына. Мало было теперь пола-
гаться на отцову доброту, нужно было прямо-таки сопер-
ничать с прочими царедворцами за почести и награды.
Капителиться же с таким делом, как данное, — вряд ли
содействовало бы укреплению его авторитета: куда выгод-
нее покончить с тяжбой, да поживее, и в новом, более осно-
вательно обдуманном браке искать возмещения тому, во что
станет развод и карману и доброму имени. Поэтому он
пустил в ход для достижения этой цели все свое влияние.

Король тотчас велел представить дело на рассмотре-
ние консистории, дабы она вынесла по нему свое сужде-
ние, а сие последнее было таково: по приговору верхов-
ного суда от четырнадцатого октября тысяча шестьсот
семидесятого года брак объявлялся расторгнутым, при-
чем обеим сторонам дозволялось вступить в новое супру-
жество. Марии Груббе возвращались двенадцать тысяч
ригсдалеров и все прочее приданое — драгоценности и
земли. И не успели деньги оказаться у Марии в руках,
как она тут же, невзирая на доводы отца, стала соби-
раться за границу.

Что же касается Ульрика Фредерика, то он немедлен-
но написал своей сводной сестре, супруге курфюрста
Иоганна Георга Саксонского, о расторжении брака и спра-
шивал, не явит ли она ему такую сестринскую любовь,
чтобы он осмелился предаться лестной надежде — при-
нять невесту из ее великокняжеских ручек.

Марии Груббе еще никогда не доводилось распоряжаться деньгами, и теперь, когда на руках у нее была преогромная сумма, ей казалось, что власти ее и возможностям нет предела. У нее было чувство, словно вложили ей в руку самую волшебную палочку, и ей, как ребенку, не терпелось взмахнуть этой палочкой — раз! раз! — и все блага земные у ее ног.

Первым ее желанием было очутиться где-нибудь далеко-далеко от копенгагенских колоколен и тьельских лугов, от Эрика Груббе и тетушки Ригитце... И вот взмахнула она палочкой в первый раз, и помчали ее паруса и колеса морем и суши прочь из Зеландии, понесли по Ютландии и через Шлезвиг в славный город Любек.

Вся прислуга ее состояла из горничной Люси, которую она выпросила у тетки, да наемного кучера из Орхуса, ибо только в Любеке должны были пачаться настоящие приготовления к путешествию.

На мысль о путешествии ее навел Сти Хой, который тогда же сказал, что и сам собирается покинуть родину и искать счастья на чужбине. И назывался быть ее путевым квартирмейстером и дворецким. Вызванный письмом из Копенгагена, он и на самом деле приехал сюда, в Любек, недели через две после прибытия Марии и тотчас же начал услужать, взявшись за приготовления, необходимые для столь дальнего путешествия.

В глубине души Мария располагала облагодетельствовать «бедняцкого Сти» из своих капиталов, облегчив ему путевые издержки и расходы по пребыванию во Франции, пока не выяснилось бы, не забьет ли для него другой источник. Вот почему, когда «бедняцкий Сти Хой» явился, она так и ахнула, увидев его разнаряженного, на добром коне, с отменной сбруей, да еще при двух берейторах, — в общем, по всему было видно, что кошелек Сти Хоя не был никакой нужды просить, чтобы его набивали чужим золотом. Но еще больше изумилась она тому перелому, который, видимо, совершился у него в душе: он был оживлен и почти жизнерадостен, и если прежде он выглядел так, словно торжественным шагом чинно шествовал за своим же гробом, то теперь он ходил гоголем, как человек, у которого полмира в кармане да и

итрая половина не за горами. Прежде в нем было что-то от мокрой курицы, теперь же он больше походил на орла с топорщащимися перьями и острым взглядом, который говорил, что когти еще острее.

Сперва Мария подумала было, что такая перемена — от радости, что можно махнуть на прощанье рукой всем былым горестям, и от надежды на приятное будущее. Но после того как он за несколько дней даже разу не обмолвился так хорошо ей знакомыми унылыми словами о безропотной любви, она решила, что Сти Хой поборол свою страсть и, ощутив силу гордо и победоносно поправить главу змия любви, чувствует себя вольным и могучим и властелином своей судьбы. И она любопытствовала, верно ли она угадала, и втихомолку с легкой досадой признавалась себе, что чем больше присматривается ко Сти Хою, тем меньше узнает его.

Разговор с Люси лишь еще больше укрепил ее в этом предположении.

Это было в полдень, когда обе они расхаживали по огромной «привратне», какие имелись во всех любекских домах и служили заодно чем угодно — и сенями, и горницей, и местом, где резвились ребятишки, и рукодельней, а порою и застольной и зеленым чулапом. «Привратней», по которой они ходили, пользовались, однако, почти исключительно в теплое время года; поэтому в ней были только длинный, добела выскобленный стол, несколько грузных деревянных стульев и старый шкаф. В глубине тянулись сколоченные из досок полки, на которых зелеными рядами громоздились кочаны капусты вперемежку с красными кучами моркови и топорщащимися связками хрена.

Ворота были распахнуты пастежь, а на вымытой до блеска улице сверкающими потоками хлестал дождь.

Мария Груббе с Люси были одеты на прогулку: одна — в суконном плаще с меховой опушкой, другая — в светлорубой, домотканой накидке. Пережидая дождь, они быстро шагали по красному кирпичному полу, припрыгивая и притоптывая, точно старались согреть ноги.

— Уж будто вы и вправду думаете, что из него надежный провожатый? — спросила Люси.

— Из Сти Хоя-то? Да, да, наверно надежный, надо полагать. А что это тебе вздумалось?

— Ох, как бы он не застрял где-нибудь по дороге!

— Как это так?

— А так-с! Либо немецкие барышни, либо голландские... Сами знаете, какие про него толки идут — сердце у него из такой воспламенительной материи, что сразу полымем запылывает, так и распышется, стоит только юбочкой махнуть.

— И кто только тебе в дурью твою голову этикие басни втемяшил! Иль попричилось?

— Да господи же ты боже мой! Иль вы про это самое прежде не слыхивали? Про своего-то родного зятя!.. Вот тоже, подумаешь, новость какая! Все равно что мне бы на ум взбрело расписывать вам, что на неделе семь дней бывает.

— Погляжу я на тебя, и хороша же ты нынче! Такую окошечку несешь, словно испанского вина за завтраком хватила.

— Оно вроде и так, да только кто из нас двоих — неведомо. А скажите-ка, сударыня, — Эрмегор Люнов, такого имени ни разу не слыхивали?

— Нет.

— Ну так спросите у Сти Хоя, не приводилось ли ему случаем, да помяните уж заодно Юдту Краг, Христенсу Руд и Эделе Гансову, да и Лену Поппинг, коли вам угодно. Очень статочное дело, что у него со всеми с ними, как вы называете, попричилось.

Мария задержалась у ворот, высунулась на улицу и долго и пристально смотрела на дождик.

— А может, — сказала она, принимаясь опять ходить взад и вперед, — а может, ты сумеешь и рассказать про какие-нибудь из этих самых притчей?

— За этим, пожалуй, дело не станет.

— Про Эрмегор Люнов?

— Да, особливо про нее.

— А что такое?

— Да было у ней с каким-то Хоем — Сти, кажись, его звали, высокий такой, рыжий, бледный...

— Ну, ладно, ладно, то я и сама знаю.

— А про отраву тоже знаете?

— Вот уж нет.

— А еще про письмецо?

— Ну, полно, выкладывай!

— Тьфу! Боязно и рассказывать-то!

— Давай, давай!

— Так вот, значит, Хой этот самый был ей дружок сердечный, как он еще не оженившись был, и уж так-то они с Эрмегор Люнов сдружились, души не чаяли. Волосы у ней были — длиннее ни у одной барышни нету, без малого себе на косы наступала. Белая была да румяная, ровно куколка. А он с ней, говорят, круто обходился да злобливо, точно она ему норовистая борзая, а не кроткое творенье божье. Да только чем он с ней лише, тем она его больше любила. Излупил он ее до синяков — а может, и впрямь лупливал, — так она бы его за то расцеловала. Тыфу ты пропасть! Бррр! Даже жуть берет, как подумаешь, что с человеком статья может, коль он к другому всей душой льнет. А как после она ему надокучила, он к ней ни ногой и смотреть на нее не хочет, потому как другую в мыслях держал. А йомфру Эрмегор уж и сердчала и печаловалась, вконец было извелась с горя да кручины, ну, а жить — жила, и то сказать, не жила, а мыкалась. Потом не стерпели-таки они, барышня-то! Сказывают, увидала, что Сти Хой мимо ихнего двора едет, кинулась за ним, да добрую милю бок о бок с конем и пробежала. А он хоть бы тебе коня попридержал, хоть бы ухом повел на ее мольбы да слезы горькие, так нет же, знай себе погоняет, да так и ускакал от нее. Не смогла она того снести и выпила смертельную отраву, а сама Сти Хою отписала, что все из-за него так сделалось и что поперек дороги она ему не ляжет, только бы разочек глянуть на него, покуда жива еще.

— И что же?

— А господь знает! Ежели правду люди сказывают, так он самая анафемская что ни на есть душа и дрянь человек, чтоб ему ни дна ни покрывки, чтоб его черти на том свете допекли, чтоб ему свету божьего не взвидеть! А он, дескать, отписал обратно... Да, так оно и было! Отписал ей обратно, что самое что ни есть целительное снадобье противу отравы, которое ее пуще всего прочего оздоровило бы, так это, видите ли, его любовь, да только нет у него власти дать ей то зелье, однако слышал-де он, что молочко с чесночком тоже хорошо пользует, вот он ей и советует испробовать. Изволите видеть, каков отвец! Что скажете на это? Ну, видано ли что срамнее?

— А что же йомфру Эрмегор?

— Йомфру Эрмегор-то?

— А то кто же?

— Ну, тут уж не его вина, что она не вдоволь отравы хватила, чтобы помереть, а только стала такая хворая да квеляя, что больше вроде и не поправилась.

— Эх, овечка! — сказала Марья и засмеялась.

В дальнейшем почти каждый день вносил какую-нибудь перемену в представление Марии о Сти Хое, а также в манеру, с которой они обходились друг с другом.

Что Сти не какой-то мечтатель, легко можно было понять из предусмотрительности и находчивости, с которыми он устранял все бесчисленные затруднения и препятствия во время путешествия, и столь же не мудрено было сообразить, что воспитанностью и дарованиями он оказывался на голову выше самых видных и знатных дворян, с какими ей когда-либо доводилось встречаться. Его речь была всегда новой и интересной и нимало не походила на речи всех прочих: как будто у него был свой, лишь ему одному ведомый путь постижения людей и вещей. И с дерзкой насмешкой — так думалось Марии — признавался он, что верит, как силен в человеке зверь, или в то, что очень уж мало золота таится в руде природы человеческой. А холодное страстное красноречие, с которым он доказывал Марии, как мало последовательности в существе человека, как непонятно и безрассудно, как безудержно, наобум и наугад — всецело по воле случая — борются в душе человека и благородное и подлое; красноречие, с которым он пытался ей все это разъяснить, казалось Марии великим и увлекательным, и она начала верить, что в удел Сти Хою достались дарования более редкие и силы более мощные, нежели те, какие обычно выпадают на долю смертных, и она с восхищением, чуть ли даже не с обожанием преклонилась пред властью этого могущества, которую она почувяла. Однако при всем этом в душе у нее было тихое, подстерегающее, вечно что-то нашептывающее сомнение, которое никогда не находило слов в додуманных мыслях, а только шевелилось в каком-то темном, инстинктивном чувстве из-за страха, что эта власть есть власть, которая грозит и неистовствует, желает и вожделеет, но никогда не валит наземь, никогда не берет.

В Лоэндорфе, в трех милях от Вехты, стоял прямо у большака старый заезжий двор, и сюда-то часа через два после захода солнца завернула Мария со своими провожатыми.

К ночи, когда возница и стремянные уже ушли на покой в придомки, Сти Хой с Марией и двое ольденбургских дворян неотесанного вида сидели в застольной для проезжих за красным столиком подле огромной печи и беседовали по душам.

За длинным столом, стоявшим поодаль у окошек, опершись спиной о край стола, примостилась на кончике лавки Люси и вязала, поглядывая на них.

На господском столе стояла сальная свеча в желтом глиняном светце, озаряла дремотным мерцанием лица собеседников и отражалась лохматыми лучками света в оловянных тарелках, расставленных рядком над печью.

Перед Марией стоял оловянный кувшинчик с подогретым вином, перед Сти Хоем — такой же побольше, а оба ольденбуржца купно трудились над увесистой деревянной бадейкой пива, которая то и дело опорожнялась ими и которую тотчас же наполнял детина со взъерошенными волосами, валявшийся без дела на низенькой лавице в дальнем углу застольной.

Мария со Сти Хоем давно бы удалились на покой в свои каморки, ибо оба сельских помещика были им невеселая компания, и поступили бы так, если бы в каморках не стоял собачий холод, а возиться с обогреванием было похуже самого холода, что они уже испытали, когда хозяин принес им жаровни: здешний торф был такой сернистый, что лишь привычные к нему люди не задыхались, когда он раскалялся.

Ольденбуржцы не веселились, ибо смекнули, что не ходят в изысканном обществе, и поэтому, сколько было в их силах, тщились выражаться поучтивее. Но по мере того, как пиво брало верх, слабели и слабели наложенные ими на самих себя узы, и вот наконец развязались совсем. Речь все больше приобретала местную окраску, шутки становились все дубовее, а вопросы прямо-таки язвительными и оскорбительными.

Когда же шутливость переросла наконец в грубость и неучтивость, Мария заерзала на стуле, а Сти Хой спросил ее взглядом через стол, не уйти ли им. Но тут как на грех один из ольденбуржцев, белесый, подвернулся

с изрядно грубым намеком, отчего Сти Хой нахмурил брови и грозно глянул на белесого, но это лишь подзадорило ольденбуржца, и он повторил свою грязную остроту в еще более крепких выражениях, которые заставили Сти Хоя посулить ему, что оловянная кружка спознается с его медным лбом, если он посмеет заикнуться еще хоть словом в том же роде.

Тут как на грех к столу подошла со своим вязаньем Люси, чтобы отыскать спущенную петлю, и этим воспользовался другой ольденбуржец: он стрел ее в охапку, силой усадил к себе на колени и вlepил ей поцелуй прямо в губы. Эта дерзость подняла дух в белесом, и он обнял Марию Груббе за шею.

В тот же миг кружка Сти Хоя угодила ему в лоб так метко да крепко, что он хрипло хрюкнул и грохнулся возле печки.

В следующую секунду Сти и чернявый очутились на полу посредине застольной, а Мария с горничной убежали в угол.

Детина сорвался с лавицы, рыкнул что-то в одну из дверей комнаты, сам ринулся к другой и принялся закладывать ее железным шкворнем длиною в добрый аршин. Одновременно загрохотал засов у черного хода. На постоялом было заведено: лишь затеется драка, запирается так, чтобы никто не мог войти с улицы и принять участие в схватке и, значит, без нужды затянуть ее. Только в этом и было единственное вмешательство хозяев. Покончив с запорами, они пробирались тихохонько на свои постели: ведь кто ничего не видал, тот и ответ не держал.

Ни у кого из боровшихся не было при себе оружия, так что спор им приходилось решать одними кулаками. И вот стояли они, Сти и чернявый, ругались и боролись. Толкали друг друга с места на место, извивались в цепких оборонительных движениях и шмякали друг друга об стены и двери, ловили за руки, высвобождались из хватки, нагибались, вертелись во все стороны и раскачивались, упираясь подбородком в плечо противнику. Наконец покатались по полу. Сти оказался сверху, и не успел он несколько раз хватить противника головой о холодный глинобитный пол, как почувствовал, что две крепкие руки стиснули ему горло. Это был белесый, который снова пришел в себя.

Сти задыхался, в глотке у него хрипело и клокотало, в глазах потемнело, тело одрябло и обмякло. Чернявый, закинув на него ноги, тянул его за плечи на себя, белесый же руками давил за шею, а коленями — в бока.

Мария вскрикнула и хотела уже броситься на помощь, но Люси, словно в судорогах, вцепилась в нее, и Мария не могла сдвинуться с места.

И вот, уже чуть ли не теряя сознание, Сти Хой напряг последние силы и рванулся вперед, да так, что чернявый треснулся затылком об пол, а белесый приослабил хватку и открыл крохотный доступ воздуху. Ловким, сильным броском метнулся Сти в сторону и с такой яростью набросился на белесого, что тот рухнул наземь. Рассвирепевший Сти нагнулся было над упавшим, но его так лягнули в подвздошье, что он еле не опрокинулся. Однако одной рукой он схватил лягнувшую его ногу за лодыжку, а другой уцепился за голенище под самым коленом, занес ногу и с такой силой трахнул ее о свою подставленную, туго напрягшуюся ляжку, что кости под сапогом хрустнули, и белесый, сомлев, повалился навзничь.

При виде этого оглушенный ударом по голове чернявый, который лежал вынуча глаза, издал такой отчаянно жалобный рев, как будто ему самому пришлось солоно, а не другому, и пополз окарачь под скамью у окна... На том драка и кончилась.

Но ярость, которая, как это доказал Сти Хой в данном случае, жила у него в душе, произвела на Марию сильное и странное впечатление, ибо в ту ночь, положив голову на подушку, она сказала себе, что любит его. Когда же в последующие дни Сти Хой заметил по ее взглядам и поведению нечто говорившее о том, что в ее душе совершилась большая перемена в его пользу, и, ободренный этим, просил ее любви, то получил желанный ответ.

А теперь в Париже.

Миновало с полгода, и любовный союз, столь внезапно заключенный, с некоторого времени ослабел и развалился, и Мария Груббе со Сти Хоем постепенно ускользают друг от друга.

Оба они знают об этом, но речи об этом между ними не было. В надвигающемся грозном признании скрыто столько горечи и муки, столько унижения и самопрезрения, что помедлить будет легче для души.

Чувствуют они одинаково.

Но горе свое переносят совсем по-разному. Если Сти Хой в безысходной муке, которая самой болью притупляет даже нанострейшее жало боли, тоскует и тоскует, растерявшись и ничего не понимая, как снует взад и вперед по тесной клетке пойманный хищник — взад и вперед, от решетки к решетке, то Марию можно скорее сравнить со зверьком, который вырвался из неволи и удирает, бежит без передышки, бежит без оглядки вперед и вперед, бежит, обезумев от ужаса, погоняемый цепью, которая, звякая, все волочится и волочится за ним.

Она хотела забыться.

Но забвенне — будто вереск: он растет лишь сам по себе и никакие заботы на свете, никакой уход ни на вершок не прибавят ему росту.

Мария черпала из своих денег горстями и роскошествовала, жадно хватаясь за любую чашу наслаждения, которую можно было купить за деньги и купить которую может ум, красота и звание. Но все было напрасно.

Горестям ее не было конца, и ничто, ничто не могло избавить ее от них. Если бы, разойдясь со Сти Хоем, можно было достичь хоть и не облегчения, а только перемены в ее муках, то она бы давным-давно так и сделала. Но не было никакой разницы, все едино, случится это или нет, в этом не было даже проблеска надежды на утешение, все равно — что оставаться, что разойтись: ни в том, ни в другом не было спасения.

Все-таки они разошлись, и сделать это предложил Сти Хой. Не видевшись с Марией несколько дней, Сти вошел в передний из роскошных апартаментов, которые они занимали у Изабеллы Жилль, хозяйки гостиницы «La stoïc de fer».¹

Мария была дома. Она сидела и плакала.

Сти педовольно покачал головой и уселся в другом углу комнаты.

Тяжко было видеть, как она плачет, и сознавать, что всякое слово утешения, чьи бы уста ни вымолвили его,

¹ «Железный крест» (франц.).



любой сострадательный вздох или участливый взгляд только растроят горе и слезы хлынут сильнее.

Сти подошел к Марии.

— Мария! — произнес он тихо и невыразительно. — Давай поговорим еще раз, как следует, по-человечески, а затем расстанемся.

— Ну, а что толку-то?

— Не говори так, Мария!

Еще будут у тебя в жизни красные деньки, еще покрусишься вдоволь.

— Да, слезные деньки, да и ночи напролет плакать, слезами заливаться, так и пойдет день да ночь — кряду, одной неразрывной цепью.

— Мария, Мария! Опомнись, подумай, что ты говоришь, какие слова! Ведь я-то понимаю твои слова, а тебе и псевдомек, как хорошо я их понимаю. И язвят они меня и терзают.

— Язвы от слов — невелика беда! И в мыслях у меня не бывало уберечь тебя от них.

— Так рази же! Не щади, ни капли жалости больше! Скажи начистоту, не таясь, что чувствуешь себя униженной от любви ко мне, оплеванной, опозоренной. Скажи, что

отдала бы годы жизни за то, чтобы с мясом вырвать из сердца всякую память обо мне. А затем сотвори из меня пса своего и надавай мне собачьих кличек, обзывай меня как знаешь, поноснее, а я буду откликаться на все эти клички и говорить, что ты права, ибо ты права, воистину права, права, сколь ни мучительно мне выговаривать это. Потому что — слушай, Мария, выслушай и поверь, если можешь: пусть я и знаю, что ты содрогаешься и ужасаешься самой себе, оттого что была моей, и душа у тебя болит, как только про то вспомнешь, и лоб ты морщишь от омерзения и скорби, все равно люблю я тебя! Да, да, сколько есть у меня силы, телом и душою люблю я тебя, Мария!

— Эх, ни стыда ни совести нет у тебя, Сти Хой! Экий срам! Постыдись, Сти Хой, постыдись! Сам не знаешь, что говоришь! А все-таки... Ох, господи, прости меня грешную, а все-таки правда это, сущая правда, как ни жутко ее слушать! Ах, Сти, Сти! Зачем у тебя такая холопья душа, зачем? Зачем ты гусеница ползучая — ее топчут, а она и не ужалит, зачем? Если бы ты знал, как я верила в тебя, думала, что ты великий человек, гордый, великий и сильный. А ты, ты — хиленький, тщедушненький. А все краснобаиство твое наделало! Налгало оно о какой-то силе, которой у тебя и в помине не было, прожужжало мне уши, что вот, мол, есть на свете такая душа, в которой было все, чего в твоей не бывало и быть не могло. Сти, Сти! По праву ли, поделом ли мне, что я вместо силы спозналась с мизерностью, вместо дерзостных чаяний — с жалкими сомнениями? А гордость, Сти? Куда девалась твоя гордость?

— Право и справедливость — невелика милость, но большего я и не заслужил, ибо обходился с тобою чуть получше какого-нибудь мошенника, Мария! Не верил я никогда в твою любовь ко мне. Ей-же-ей, никогда, даже в тот час, когда ты мне поклялась в ней, и то не было в душе у меня веры. Увы! Уж как ни хотелось мне поверить — не смог. Не смог пригнуть к земле мрачное чело сомнения, вперило оно в меня ледяные очи, и все пышные, гармонические чаяния, возвращенные мною в мечтах, вмиг развеялись от дуновения его горестно и злобно усмехающихся уст. Не мог я поверить, что ты любишь меня, Мария, а все-таки обеими руками, нет, всей душой ухватился за перл любви твоей и тешился им, трепеща и ро-

бея от счастья, как тешится грабитель золотой своею блистающей добычей, хоть и знает, что недалек час, когда придет подлинный владетель и вырвет у него из рук любезную обузу. Ибо придет он когда-нибудь, Мария, тот, кто достоин твоей любви или кого ты сочтешь достойным, и не станет он сомневаться, ни кланчить, ни трепетать... а согнет тебя, как червонец, в кулаке своем и ногою попрет твою волю, а ты будешь повиноваться ему, смиренно и радостно, да только не потому, что он будет любить тебя больше моего — такого и быть не может, — а потому, что веры в себя у него будет больше, Мария, и меньше он будет взирать на твои неоцененные достоинства.

— Ах, вы ни дать ни взять предсказание гадателя вычитываете мне, Сти Хой. Но так уж у вас водится — вечно вы заноситесь мыслями бог знает в какие выси. Сущее вы дитя, которого игрушкой подарили. Нет чтобы играть да забавиться, все-то вам покою нет, покуда не узнаете, что у нее внутри, и не поломаете ее вконец. Вы никогда не давали себе сроку выждать, а только и знай что ловили да хватали. На словесную щепу вы изводите тот лес, из которого хоромы жизни ставят.

— Прощайте же, Мария!

— Прощайте, Сти Хой, и помогай вам бог!

— Спасибо, спасибо... так тому должно быть... но об одном прошу...

— Ну?

— Когда будете уезжать отсюда, не сказывайте никому, куда собрались, чтобы я не прослышал, не то... не то не поручусь, что у меня станет силы удержаться и не последовать за вами.

Мария нетерпеливо передернула плечами.

— Благослови вас господь, Мария, и ныне и присно и во веки веков.

И ушел.

Светлые ноябрьские сумерки, когда темно-бронзовые отблески солнца нерешительно покидают одиноко поблескивающие окна под высокими шпицами домов, задерживаются на стройных шпильях двух соборных колоколен-близнецов, искрятся на крестах и золоченых ободах куполов, растворяются в чистом светлом воздухе, — и вот их не стало, а месяц уже поднял свой ровный полированный

диск над неторопливыми, тягучими, закругленными линиями дальних бурых холмов.

Желтыми, голубеющими и фиолетовыми пятнами отражаются тающие небесные краски в ясных, беззвучно струящихся водах реки, а листья с ветел, кленов, сиреней и розовых кустов тихохонько высвобождаются поодиночке из пожелтлой завесы, трепеща на лету, спархивают на воду, пленяются светлой влажной гладью и скользят мимо тяжко нависающих стен и мокрых каменных ступеней, проплывают во тьме под грузными, низко нависшими мостами, крутясь вокруг почерневших от сырости свай, перехватывают искорку от раскаленных угольев из озаренной багровым светом кузницы, кружась и захлебываясь, мчатся во ржавом потоке, бегущем из двора точильщика, и наконец гинут в тростниках, меж затонувших дырявых лодок, посреди поставленных на замочку бочек и кадок между засосанных тиной плетней.

Синеватые сумерки простирают прозрачный морок над рынками и площадями, где сквозь дымку лукаво поблескивает вода, хлеща причудливо изломанными дугами из мокрых змеиных зевов и драконовых пастей с плакучими бородами и струясь по зубчатым стройным чашам. Бежит она холодной дрожью, нежно бормочет, журчит, пузырится себе потихоньку и падает звонкими каплями, образуя беглые, быстро расходящиеся круги на темном зеркале переполненного до краев бассейна. Легкий ветерок, еле слышно гудя, пробегает по площади, а отовсюду — из темных глубоких ворот, из почерневших окон и мрачных глухих закоулков — остолбенело тьма усталилась на тьму.

И выходит луна и сыплет серебряным блеском по крышам и башням, и делит свет и тень на резкие отчетливые поля. Каждый выступ балки, любая вывеска в резных завитках, всякая балясинка низких перил под аркадою ясно вырисовываются на стенах. Все как бы вырезается в четких черных очертаниях — искусная резьба по камню над зияющими порталами церквей; вон тут, на углу дома, святой Георгий со своим копьём, и вон там, над окном, цветок с своими листьями, и как же ярко светит месяц на широкую улицу, как ярко светится он в ясных водах реки! А на небе ни тучки, только белесый круг — ореол вокруг месяца — да тысячи тысяч звезд.

Такой вечер выдался однажды в Нюрнберге, и на крутой улице, ведущей к замку, и на подворье, прозванном фон Карндорфским, шел шир горой.

Сидели за столом, сытые, веселые и пьяные. Все, кроме одного, были люди в годах, лишь одному было осьмнадцать. Он не носил парика, ходил в своих волосах, а были они для этого достаточно густые, золотистые, длинные и курчавые. Лицо у него было что у девицы: белое да румяное, кровь с молоком, а глаза — большие, голубые и кроткие.

Его прозвали Золотым Ремпгнем, и не только за цвет волос, но и за несметное богатство, ибо, несмотря на молодые годы, он был самым богатым дворянином во всем Баварском нагорье — родом-то он был из Баварского нагорья.

Беседовали они о женской красоте, эти веселые господа за добрым столом, и все единодушно соглашались, что в их молодые годы красавиц было хоть пруд пруди, а те, кого нынче величают красавицами, и в сравнение с прежними идти не могут.

— Ну, а кто видел перл из перлов, красавицу из красавиц? — спросил краснощекий пузан с крохотными искрящимися глазками. — Кто знал Доротею фон Фалькенштейн из Фалькенштейнов с Гарца? Румяна была, что твоя роза, бела аки агнец, персточками могла себя в пояс обхватить, да еще с вершок бы запасу осталось. А уж ходить умела — как по жавороночьим яйцам: ступает и не раздавит! Вот какая была у ней поступь! Да только не была она с того какая-нибудь, вроде вас, цапля долговязая: статна была, будто лебедь-птица, не идет, а лебедушкой по пруду плавает, а востра что козочка лесная, так и скачет.

И выпили за козочку с лебедушкой.

— Господи благослови вас всех, с вашими седлами! — крикнул какой-то долговязый старый хрыч с конца стола. — А только мир день ото дня все мерзостнее да мерзостнее. Сами по себе видим. — И он оглядел всех по очереди. — Эх, и удалцы же мы когда-то были! А куда все, к чертовой бабушке, подевалось?! Ну, леший с нами, пускай так! Но куда же, во имя всех пьяниц мира сего, кто скажет мне, куда? Ну? Скажет? Кто скажет? Кто сможет мне сказать вот что: куда подевались пухлепёкние шинкарочки? Глазенки, бывало, так и стреляют, губоньки

улыбаются, а ножки-то крохотные-прекрохотные! А где шинкаркина дочка, русы косы, голубые глазки — лен цветет, да и только? Куда они все сгнули? Ну? Вру я, что ли, по-вашему? Заедешь, бывало, на постоялый ли, в пиннок ли придорожный, а и в гостиницу — ну? — так разве без них там когда обходилось? Ох, горе горькое — гореваннице! И что это за дочерей позавели трактирщики в нынешнее время: спина горбом, ноги колесом, лядвей в три обхвата, не глаза — щелки поросячьи! И что это за ведьмы такие, лысые да беззубые, нынче права и соизволение получили до смерти пугать алчущих и жаждущих своими зенками слезоточивыми и заскорузлыми ручищами? Тьфу ты пропасть! Пуще пекла боюсь нынче питейных домов, ибо знаю, что питейщицы теперь богомерзкими рожами своими в любекскую смерть уродились. А доживешь до моих годов, так в сем *memento mori*¹ узнаешь и такое, что милее забыть, не жели помнить.

У средины стола сидел человек крепкого телосложения, с одутловатым лицом, желтым как воск. Брови у него были седые и косматые, ясный и пытливый взгляд. Высматривал он не то чтобы хилым, а словно натерпелся от телесных недугов, намучился болями, и когда улыбался, то губы кривились гримасой, как будто он только что проглотил какую-то горечь. Он заговорил мягким, глуховатым голосом. Голос был с хрипотцой.

— А вот смуглянка Евфимия, из рода Буртенбахов, так постатнее была любой королевы из тех, что я видал на своем веку. Самую тугую парчу носить умела так запросто, словно себе в затрапезе похаживает. А цепи и самоцветы всякие на шее и на поясе, на грудях и в волосах попросту повешаны были, словно веночки из дикой ягоды, какими девчонки малые себя увешивают, когда в лесу играют. Не бывать такой, как она! Ежели прочие благородные девицы красовались, разнаряжены, словно ковчеги велелепные, со всяческими побрякушками золотыми, золотыми цепками и розетками самоцветными, так на нее посмотреть — праздник, красавица, свеженькая, легонькая, словно хоругвь на ветру развеивается. Не было ей равной, не было и нету!

— Нет, есть, есть! Да еще почище ее! — воскликнул юный Ремигий и вскочил с места. Он поспешно припод-

¹ Помни о смерти (*лат.*).

нулся, оперся одной рукой о стол, а другой поднял сверкающий бокал и взмахнул им, так что золотистый сок плеснул через край, облил ему ладони и пальцы и светлыми каплями капал с белой кружевной гофрированной манжеты. Щеки у него от вина запылали, глаза разгорелись, и говорил он нетвердым голосом. — Красота! — продолжал он. — Ослепли вы все, что ли? Иль никто из вас не видел датскую даму, ни разу не видел фру Марию? Волосы у нее — словно солнце светит на луг, а трава колосится; глаза — голубее отлива клинка, а губы — алее кровоточащей вишни. Ходит она, как звезда по небу движется, статна, словно скинетр, величава, словно престол... Ах, все телесные совершенства и совокупность прелестей расцвели в ней и как роза к розе подобались в неувядаемом великолепии. Но есть в красоте ее нечто такое, от чего, лишь увидишь ее, на душе у тебя становится празднично, словно слышишь, как перед утренней с соборных колоколен трубят, и затихаешь. Ибо есть она точно мати скорбящая на дивной красоты триптихе — столько у ней в ясных очах возвышенной скорби, а на устах та же безнадёжная стратотерпная улыбка.

Он совсем расчувствовался и прослезился. Хотел говорить и не мог, да так и остался стоять как столб, тщетно пытаясь сладить с собственным голосом, чтобы продолжать речь. Но тут один из соседей хлопнул его дружески по плечу, усадил и начал с ним пить кубок за кубком, и все уладилось: старики загалдели по-прежнему весело, и опять пошли шутки, песни и хохот.

Итак, Мария Груббе была в Нюрнберге.

Разлучившись со Сти Хоем, большую часть года она металась туда-сюда и наконец решила обрести покой здесь.

Она очень переменилась с того вечера, когда участвовала в балете на сцене Фредериксбургского дворцового сада. Ей не только пошел уже тридцатый год, но и несчастная связь со Сти Хоем тоже наложила на нее необычайно резкий отпечаток. С Ульриком Фредериком она развелась, побуждаемая и подстрекаемая случайными обстоятельствами, но прежде всего ради и в силу того, что блюла мечту своей юности — мечту, чтобы тот, за кем положено следовать женщине, был бы ей как бог земной,

чтобы из рук его она могла бы принимать добро и зло, какова на то будет его воля. И тут в мимолетном ослеплении она приняла Сти за такого бога, — он-то бог, он, который даже и мужчиной-то не был! Вот о чем ей думалось. Всякую слабость в Сти, каждое не подобающее мужчине сомнение ощущала она на себе как неизгладимое позорное клеймо. Самой себе опротивела она от такой скороспелой любви и обзывала ее бранными словами. Иссохнуть бы им, губам, целовавшим его, отупеть бы им, улыбавшимся ему глазам, пусть оно разорвется, любимшее его сердце! Каждый дар души своей опоганила она сей любовью, надругалась над каждым чувством. Потеряла она к себе всякое доверие, всякую веру в собственное достоинство, а будущее — ни просвета ей в будущем не было, не озаряла его никакая надежда.

Кончилась жизнь ее, пройдено поприще, и завершился житейский круг. Свой угол, где бы ей приклонить голову на покой да больше и не поднимать, — только этого ей и желалось.

С таким-то вот настроением приехала Мария в Нюрнберг. Случай свел ее с Золотым Ремигнем, и его искреннее, хоть и сдержанное обожание, то идолопоклонническое обожание, на какое способна самая юная юность, победная вера в все, в Марию, и счастье верить в нее, пали освежительной росой на придавленный цветок: он, правда, не выпрямляется, но и не вянет, он еще расправляет на свету нежные, расписные лепестки и благоухает и сияет, медля расстаться с жизнью. Так и она. Ведь отрадно было видеть себя в мыслях другого чистой, непорочной, незапятнанной, и было наполовину спасением для души знать, что ты пробуждаешь в чужой душе смелое доверие, чаяние красоты и высокие помыслы и желания, чьи щедротами живет и богатеет тот, в ком они проснулись. Столь же было сладостно и утешительно сетовать и в смутных образах и намеками изливать свои скорби душе, неопытной и не изведавшей горя, которая с тихим сладострастием мучилась каждою ее мукой и была признательна за то, что ей позволено разделять печали, о которых она лишь догадывалась — не понимала и все-таки разделяла. Да, сладко было сетовать, видя, что твои горести пробуждают почитание, а не жалость, и становятся мрачным, величественным одеянием на твоих плечах, диадемой, искрящейся от слез, на челе твоём.

Так мало-помалу Мария начала примиряться сама с собой, но однажды случилось, что Ремигий выехал верхом из дому, копь понес, выбросил его из седла и затащил на смерть волочившегося на стременах юношу.

Услышав об этом, Мария погрузилась в тяжкую, тупую печаль без единой слезинки. Часами сидела она, не шелохнувшись и устремив перед собой усталый бессмысленный взор, и молчала, точно у ней язык отнялся, и нельзя ее было растолкать, заставить хоть чем-нибудь заняться, она не хотела даже, чтобы с ней заговаривали. А начнет кто-нибудь, так она отмахивалась от него, слабо и утомленно помахивала головой, как если бы это причинило ей боль.

И так тянулось долго, а между тем деньги почти все были издержаны, и оставалось в обрез, чтобы им обним домой добраться. Люси не переставала твердить об этом Марии, но прошло бог весть сколько времени, пока Мария прислушалась к ее словам.

Наконец таки они уехали.

В дороге Мария заболела, и поездка сильно затянулась, так что Люси приходилось продавать наряд за нарядом, драгоценность за драгоценностью, чтобы можно было продолжать путь.

Когда они подъезжали к Орхусу, своего у Марии оставалось немногим разве больше того, что было на ней.

Здесь они расстались: Люси возвратилась к госпоже Ригитце, Мария отправилась в Тьеле.

Было то весной семьдесят третьего года.

Приехав в Тьеле, госпожа Мария Груббе оставалась там жить с отцом, пока в тысяча шестьсот семьдесят девятом году не обвенчалась с Палле Дюре, юстиц-советником его королевского величества, и прожила с ним во браке, совершенно лишенном каких-либо событий, до тысяча шестьсот восемьдесят девятого года.

Это период времени, который начинается с тридцатого года ее жизни и кончается сорок шестым, — целых шестнадцать долгих лет.

Целых шестнадцать долгих лет, прожитых в будничных заботах и огорчениях, в мелочных обязанностях да

хлопотах и в огульном однообразии. А в отношении друг к другу ничего похожего на доверие или интимность, чтобы хоть как-то согреть их, — шикарного примирительного уюта, чтобы как-то озарить их. Вечные свары по пустякам, шумная перебранка из-за ничтожных оплошностей; то брюзгливые наставления, то грубое насмехательство — вот и все, что приводилось слышать ее ушам. Да еще всякий светлый день в жизни перечекивать на далеры, орты и виды, а вздыхать — так только об убытках, желать — так только барыша, надеяться — так только на то, что наживешь больше прежнего. И куда ни сунься — скаредность в истасканном дощельзя, замусоленном затрапезе, куда ни ткнись — не знающая ни отдыха, ни срока, враждебная покою и уюту деловитость и век недремлющее око алчности, подстерегающее на каждом шагу. Вот какой жизнью жила Мария Груббе.

В первое время случалось еще, что в суете и гомоне она часто забывала обо всем вокруг, плененная грезами наяву, изменчивыми, как облака, щедрыми, как свет.

А одна мечта была особенная.

То была мечта о сонном царстве, о дворце, укрывшемся в розах.

Умолкший сад, умолкший дворцовый сад. Не шелочнется лист, недвижим воздух, и, как прозрачная ночь, дремлющая надо всем тишина... Чутко спит аромат в чашечках цветов и роса на хрупком острие травинки. Полуоткрыв губки, дремлет фиалочка, притаившись под кривыми побегами папоротника, а на мшистых ветках заснули, убаюканы в самом разгаре весны, тысячи набухших почек, которые вот-вот лопнут...

Мария входила во двор замка: извиваясь колючими стеблями, кусты роз беззвучно обрушивали зеленые волны со стен и крыши и тихо кипели бледной пеной, то повисая цветопадом, то взметываясь розовыми брызгами. Струя, бившая из разверстого зева мраморного льва, стояла как хрустальное дерево, с острыми, точно веретенца, ветвями, и бездыханные морды и смеженные веки холеных коней отражались в дремлотной воде порфиристого бассейна, а спящий паж тер во сне глаза и все не просыпался.

Мария не могла наглядеться на гармоническую тишь онемелого двора, где у стен и дверей намело целые сугробы из розовых лепестков и под румяным рдеющим



снегом не стало видно громадных ступеней громадной лестницы.

— Ах, если бы отдохнуть! Нежиться в блаженном покое, чтобы дни потихоньку плыли над тобой и опускались час за часом, а любые воспоминания, надежды и думы устремлялись бы прочь из души, истекали, клубясь, туманными мягкими волнами... — Такова была самая прекрасная мечта, какую она только знала.

Так бывало в первое время. Но потом фантазия измучилась понапрасну летать к одной и той же мете, как летает пчела взаперти и, гудя, бьется о стекло. А вместе с фантазией изнемогли и все душевные силы.

Как запустевает и скудеет в руках варваров красивое и благородное здание, когда они сносят дерзкие шпили, заменяя их аляповатыми куполами, когда кусок за куском выламывают кружевные орнаменты, а богатейшую живопись, великолепнейшие фрески погребают под слоями убийственной извести, — так же вот и Мария Груббе за эти шестнадцать лет запустевала и скудела.

Отец ее, Эрик Груббе, состарился и одряхлел, и казалось, что старость, подобно тому как она заострила черты лица его и сделала внешность еще отвратительнее, выпятила и выставила напоказ все дурные качества Эрика Груббе. Он стал брюзглив и неуживчив, прекословлив, как малое дитя, запальчив, до крайности недоверчив, плутилив, бесчестен и скуп. На старости лет бог у него с языка не сходил, а уж когда бывал мор на скотину или же было туго с урожаем, так тут у старика откуда-то набирался для господ бога целый легион раболепных, ханжеских именованных собственного изобретения. Невозможно было Марии ни любить его, ни уважать, а вдобавок она не могла простить ему, что он то несбыточными посулами, то угрозами лишить наследства, прогнать из Тьеле и оставить без всякой поддержки вынудил ее выйти замуж за Палле Дюре. Хотя поспешить с этим шагом побудила Марию надежда стать независимой от отцовской опеки; она надежда, однако, не сбылась по той причине, что Палле Дюре с Эриком Груббе уговорились хозяйствовать сообща и в Тьеле и в Нэрбеке, поместье, условно отданном Марии в приданое. Поскольку же Тьеле было больше Нэрбека и у Эрика Груббе не хватало сил везде поспевать и за всем приглядывать, то и выходило, что молодые чаще



пребывали под отцовской крышей, нежели под своей собственной.

Муж Марии, Палле Дюре, сын полковника Клауса Дюре, владельца поместий Саудвиг и Кругсдаль, а впоследствии и Винге, и супруги одного Эделе, дочери Палле Родстена, был низенький, тучный человечек с коротенькой шеей, проворными движениями и решительным выражением лица,

несколько обезображенного, впрочем, родимым пятном во всю правую щеку.

Мария презирала мужа.

Он был так же скуп и мелочно расчетлив, как и Эрик Груббе, но был он, в сущности, человек дельный — сметлив, хватист и смел. Вот только чувство чести отсутствовало у него полностью: плутовал он, надувал и мошенничал, как только подвергивался случай, и ни разу не засовестился, когда его уличали. Он позволял отругать себя как собаку, лишь бы это дало ему хоть скиллинг доходу, и притом нимало не прекословя. А когда знакомый или родственник препоручал ему покупку или продажу или же какое-либо иное доверительное дело, Палле Дюре никогда не задумывался обернуть это доверие к своей выгоде. Несмотря на то, что брак был для него, в первую очередь, сделкой, он гордился тем, что женат на разведенной жене самого наместника, что, впрочем, ничуть не мешало ему величать ее и обращаться с ней на такой лад, который представляется несогласным с оным выше помянутым чувством. Не то чтобы Палле Дюре был как-либо необычно груб или самодурствовал, отнюдь нет! Но он относился к тому сорту людей, которые от гордой и самодовольной уверенности в своей собственной непогрешимости — как люди, каких много, по всем статьям нормальные и корректные, — не могут удержаться, чтобы не дать почувствовать свое превосходство другим, в этом смысле не столь удачливым, и чтобы с противной наивностью не выставлять себя за образец для подражания... А Мария-то, уж конечно, была не из удачливых: и развод ее с Ульриком Фредериком и расточение материнского наследства — разве это не было отъявленным, вопиющим непорядком?

Вот, следовательно, каков был человек, ставший третьим в тьельском житье-бытье, и ни одно из его качеств не могло дать надежды на то, что он окажется способен скрасить или смягчить эту жизнь, чего он, впрочем, и не думал делать. Вечные раздоры и неурядицы, взаимные обиды и перекоры, обоюдное старание досадить — вот что тянулось изо дня в день.

Мария отупела от этого, и вся цветочная нежность, аромат и прелесть, которые до сих пор пышными, пусть и несобуданными, а нередко причудливыми арабесками вплетались в ее жизнь, — все это увяло и умерло навек.

Грубость как мысли, так и речи, плоское, холопское сомнение в великом и благородном и отчаянно-наглое пренебрежение к самой себе — вот что принесли ей эти шестнадцать лет в Тьеле.

И еще одно.

Ее одолела полнокровная чувственность, неуемная жадность до житейских усад — великое удовольствие поносить, мягко сидеть да мягко спать, сладострастное блаженство одурманиваться пряными запахами и пристрастие к роскоши, которого ни вкусу было не сдержатъ, ни красоте облагородить, — все такие страстишки, какие она еле-еле да кое-как утолить могла, однако от этого ненасытность ее ничуть не ослабевала.

Мария располнела и стала бледной, а во всех движениях у нее появилась леностная, истомная медлительность. Взгляд бывал чаще всего пустым и невыразительным, хотя и загорался иногда каким-то странным сиянием, и вошло у нее в привычку складывать губы в неизменную, ничего не говорящую улыбку.

Идет тысяча шестьсот восемьдесят восьмой год... Ночь, и тьельские конюшни горят...

Мечущиеся языки пламени взлетали, прорываясь сквозь густой красно-бурый дым, и озаряли поросший травой двор усадьбы, приземистые хозяйственные пристройки, белые стены барского дома и даже черные макушки деревьев в саду, вздымавшихся над крышей. Дворовые и сбежавшийся отовсюду народ бегали от колодца к месту пожара, таская ведра и ушаты с водой, сверкавшей как огонь. Палле Дюре метался с места на место, волосы у него раскосматились, в руке были зажаты красные грабли. А Эрик Груббе, читая молитву, валялся на вытащенном из огня старом ларе для соломы и с возрастающим страхом следил, как пядь за пядью продвигается огонь, и жалобно вопил всякий раз, как только пламя вздыхало полной грудью и торжественно вскидывалось над домом бешеным крутнем и вихрем искр.

Мария тоже вышла во двор, но взгляд ее преследовал одну цель, нежели пожар.

Она смотрела на нового кучера, который выводил перепуганных огнем лошадей из переполненной дымом

копюшни. Цосяки и притолоку у дверей выломали, а когда, к тому же, снесли по обе стороны жиденькую стенку из сырцового кирпича, проход стал вдвое больше. Через этот-то проход кучер и выводил коней, по двое зараз. Сильные животные, совсем одуревшие от дыма, дыбились и неистово рвались в стороны, лишь только резкий, скачущий отблеск пламени попадал им в глаза, и было похоже, что вот-вот разорвут кучера на части или затопчут, а он не выпускал поводьев и не падал. Он пригибал коням морды к земле и тянул их вперед, где бегом, где вприпрыжку, где волочась за ними, — через весь двор, и выпускал их, только проведя через ворота в сад.

Лошадей в Тьеле было много, и Марья Груббе могла вдоволь любоваться этой красивой богатырской фигурой, которая боролась с горячими конями, то чуть не повисая на вытянутой руке, поднятой вверх вздыбившимся жеребцом, то яростно отпрядывая и упряясь изо всей мочи ногами в землю, то вновь понукая и погоняя лошадей на мах и скок — и все это теми мягкими, эластичными, пружинистыми движениями, которые присущи всем непомерно сильным людям.

Короткие холщовые штаны и смурая рубаха из крашенины, которой пожар придавал желтоватый оттенок, обозначив складки на ней глубокими тенями, резко обрисовывала великолепные формы и красиво и непринужденно просто гармонировала с румяным цветом лица, легким белокурым пушком над губой и на подбородке и густыми светло-русыми взлохмаченными волосами.

Старостой Сереном прозвали этого двадцатидвухлетнего богатыря. Собственно говоря, имя его было Серен Серенсен Меллер, а прозвище он получил по отцу, который был старостой на барской усадьбе в Ворнуме.

Лошадей спасли, сарай сгорел, огонь на земле затушили, и люди после бессонной ночи пошли по домам соснуть хоть часок до рассвета.

Марья Груббе тоже вернулась в постель, но не спала. Лежала и думала, то краснея от своих дум, то тревожно мечась, словно боялась их.

Наконец встала.

Одеваясь, улыбнулась себе с презрительным сочувствием. Вообще-то, у нее было заведено ходить в будни неприбранной, неряшливой, одетой во что попало, чтобы

при случае тем паче нарядиться попышнее и не столько со вкусом, сколько так, чтобы в глаза било. Но сегодня было иначе: она оделась в старенькое, но чистое синее дмотканое платье, повязала на шею пунцовый шелковый платочек и достала миленький, простенький чепец, но потом передумала и выбрала другой, который своей загнутой оборкой с желтыми и коричневыми цветочками и назатыльником из поддельной серебряной парчи совсем не шел ко всему остальному. Палле Дюре подумал, что Мария собралась в город посудачить о пожаре, но сказал самому себе, что лошадей ей не будет. Однако она осталась дома. Но работа не спорилась — такое на нее нашло беспокойство. Она бросала одно, принималась за другое, чтобы тут же бросить и это. Наконец она вышла в сад, надо-де поправить, что испортили и потравили лошади прошлой ночью. Но проку от нее там было немного — она больше все сидела в беседке, сложа руки и задумчиво глядя перед собой.

Овладевшее ею беспокойство не унималось, а напротив того, день ото дня усиливалось, и у нее возникло внезапное пристрастие бродить одной по дороге к Фаструпской роще или в нижней части сада, на самых его задворках. И муж и отец бранили ее за это, но она, словно оглохла, и ухом не вела, даже не устаивая их ответом, и тогда они решили, что лучше всего будет оставить ее ненадолго в покое, благо еще дела немного.

Примерно неделю спустя после пожара Мария под вечер отправилась на привычную прогулку к Фаструпской роще и проходила по самому краю далеко раскинувшихся, высотой по грудь, порослей дубнячка и шиповника, когда вдруг увидала на опушке, прямо у зарослей Серена Старосту, который лежал, вытянувшись во весь рост и закрыв глаза, как будто спал. Подле валялась коса, а вокруг и поодаль лежала накошенная трава.

Долго стояла она, неотрывно глядя на эти крупные правильные черты, на широкую, глубоко и могуче дышащую грудь, на загорелые жилистые руки, закинутые за голову. Но Серен скорее отдышал, чем спал. Открыл глаза и посмотрел на нее ясным, совсем не сонным взглядом. Его так и подбросило с испугу, что барыня застала его, когда он прохлаждается, а не косою машет. Но его так ошеломило выражение в глазах Марии, что лишь тогда, когда она, покраснев, пробормотала что-то про жару



и повернулась было, чтобы уйти, только тогда он опамятовался и вскочил, схватил косу и брусок и принялся направлять ее, да так, что ляг пошел и зазвенело и задребезжало в теплом трепетном воздухе.

А потом давай махать косой, не щадя живота.

Наконец, увидев, что Мария идет по тропинке к роще, он перестал косить и некоторое время глядел ей вслед, навалившись обеими руками на косу, затем разом отшвырнул ее далеко прочь и сел, растопырив ноги, разиня рот и упираясь ладонями в траву, и сидел так, молча дивуясь самому себе и своим диковинным думам.

Он в точности походил на человека, только что сверзившегося с дерева.

Ему чудилось, что в голове у него гудит, мысли мешаются, словно во сне... Уж не околдовал ли его кто нарочно? Потому как с ним такого отродясь не бывало. В голове у него ходуном ходило, вот ровно о семи делах зараз думаешь, и управы не найти — само собой накатывает и само собой отпускает, словно и не его это дело... А чудно же она на него поглядела и слова не молвила, что он тут середь бела дня разоспался... Только глянула на него ясными глазоньками этак ласково да этак... ну, ни дать ни взять как Йенс Педерсенова Трина на него поглядывала. А ведь барыня! Сама барыня! Сказывают же



про барыню норбекскую, что со своим егерем сбежала. Может, и его за этакое же посчитали, покуда он спал?.. Барыня! Да неужто и он может в мил-други к барыне угодить, как тот самый егерь? И не понять никак, занедужил он, что ли?.. На щеках у Серена пылало по румяному пятну, сердце колотилось и щемило, и перехватывало дух... Он принялся теревить молодой дубок, но, сидя, не мог его выдернуть. Тогда он встал и, выдрав из земли, бросил его прочь, схватил косу и пошел косить, да так, что трава валом валплаась.

В следующие за тем дни Марии часто случалось сталкиваться с Сереном чуть ли не вплотную, потому что в эту пору он работал большей частью на дворе. И тогда он смотрел на нее таким жалобным смятенным и вопрошающим взглядом, как будто просил ее разгадать ту загадку, которую она бросила на его пути. Но Мария взглядывала на него лишь украдкой и отворачивалась.

Серену самого себя было совестно, и он жил в постоянном страхе, что свой брат — дворовые вот-вот заметят, что с ним творится неладное. Сроду не знавал он никакого такого сумасбродного чувства или тоски, и это тревожило его и пугало. А может, это он уже умом тронулся или вовсе рехнулся? Ни в жисть не угадаешь, как этакое на людей находит, и он дал себе зарок — никогда об этом

больше не думать. Но уже через минуту мысли были там, откуда он собирался их выкинуть. Что он не мог увернуться от этих мыслей, сколько ни старался, именно это и угнетало его больше всего, ибо он сравнивал все это с тем, что слышал когда-то о Киприане: сожги его, утопи его, все равно как ни в чем не бывало воротится... И все-таки в глубине души Серена таил желание, чтобы эти мысли не исчезали, потому что тогда стало бы пусто и грустно. Но в этом он не хотел себе признаться: он так совестился, что краснел, стоило ему только спокойно рассудить, какая дурь неотвязная у него в голове засела...

Примерно неделю спустя с того дня, как она застала Серена спящим, Мария Груббе сидела под большим буком, на пригорке, поросшем вереском, в самой глубине Фаструпской рощи. Сидела, прислонившись спиной к стволу и держа на коленях раскрытую книгу. Но не читала, а, строго и серьезно глядя прямо перед собой, следила за большой мрачной хищной птицей, которая, медленно скользя по простору и выглядывая добычу, парила над беспредельным, взволнованным морем густолиственных вершин. Пронизанный блеском солнечный воздух трепетал от однозвучного, убаюкивающего жужжания myriad невидимых насекомых, и пряные, приторные ароматы желтого дрока в цвету и горький дух нагретой солнцем березовой листвы у подножья холма мешались с прелым запахом лесной почвы и миндальным ароматом белой медуницы из ближней ложбины.

Мария вдохнула.

Petits oiseaux de bois,¹ —

прошептала она жалобно, —

que vous estes heureux,
De plaindre librement vos tourmens amoureux
Les valons, les rochers, les forests et les plaines
Sçauent également vos plaisirs et vos peines;²

¹ Лесные пташки (франц.).

² Вы вольны в дубравной сени
Свободно изливать свои любовны пени,
И ведают скалы, ручьи, леса и доли
И ваши жалобы и ваш напев веселый (франц.).



Она помедлила, словно старалась припомнить остальное, потом взяла книгу и прочла тихим упавшим голосом:

Votre innocente amour ne fuit point la clarté,
Tout le monde est pour vous un lieux de liberté,
Mais ce cruel honneur, le fleau de nostre vie,
Sous de si dures loix, la retient asservie.¹

Захлопнула книгу и почти выкрикнула:

Il est vray, je ressens une secrète flame
Qui malgré ma raison s'allume dans mon ame
Depuis le jour fatal, que je vis sous l'ormeau
Alcidor, qui dançait au son du chalumeau.²

Голос опять упал, и последние строки она прошептала совсем тихо и невыразительно, почти машинально, как будто ее воображение под аккомпанемент ритма нарисовало ей иную картину, нежели слова.

Она откинула голову и закрыла глаза. Как странно было, как страшно чувствовать, что тебя, теперь уже полустаруху, тревожат те же самые захватывающие дух желания, те же самые заманчивые, полные предчувствий мечты и неугомонные надежды, от которых дрожью било ее молодость. Но надолго ли хватит их, не будет ли это не чем иным, как кратковременным расцветом, который осенью может вызывать к жизни солнечная неделя, запоздалым вторичным расцветом, претворяющим в цветы последние соки растения и отдающим его, вялое и истощенное, на произвол зимы? Они ведь уже умерли в свое время, эти желания, и безмолвно покоились в могиле. Что же им надобно? Зачем, чего ради они явились? Иль не исполнилась мера жизни их, что не могут покоиться с миром, а воскресают в обманчивом облици жизни, чтобы снова играть в игры молодости?

Так, правда, думалось Марии, но ничего серьезного под этими мыслями не таилось. Думалось просто так, в поэтическом забвении, и совсем безлично, словно думаешь

¹ Невинная любовь от света не бежит.

Пред вами целый мир во весь простор открыт,
А нашей жизни бич — блюдение приличий,
Ее поработил жестокий сей обычай (*франц.*).

² Что тайный огонь палит мне душу — признаюсь;

Рассудку вопреки, тоскую и томлюсь

С той роковой поры, когда глаза узрели,

Как Альсидор плясал под пение свирели (*франц.*).

за кого-то другого, ибо ни в силе, ни в прочности своей страсти она ничуть не сомневалась — страсть пополнила ее всю и так явно, непреодолимо и властно, что внимательному раздумью и местечка не осталось. Продолжая рисовать себе воображаемые картины, Мария задержалась чуть-чуть на образе Золотого Ремнига с его непоколебимой верой в нее, но это вызвало у нее лишь горькую усмешку да притворный вздох, и мысли ее снова потянулись в другую сторону.

Думала она да гадала, хватит ли у Серена духу домогаться ее. Думала и сама не верила. Он ведь простой мужик!.. И стала рисовать себе его рабский страх перед барамн, его собачью преданность и покорность, раболепную, самоуничижительную почтительность. Думала о его привычках простолюдина и невежестве, о неотесанной речи и о сермяжной одежде, о его тяжелом труде, о загорелом, закаленном невзгодами теле и о его мужицкой ненасытности. И ей всему этому поддаться, все это полюбить, принимать и добро и зло от этой черной, заскорузой руки?.. Была в таком самоуничижении странная услада, nanoparticles родственная грубой чувственности, но сродни и тому, что считается лучшим и благороднейшим в женской натуре.

А ведь из глины именно такого замесу она и была вылеплена.

Несколькими днями позже Мария Груббе хлопотала в тьельской пивоварне, приготавливая медовый взвар, ибо немало ульев повредило в ту ночь, когда был пожар.

Она стояла в самой глубине, у очага, и глядела в отворенную настежь дверь, перед которой сотни пчел, привлеченных сладостным медовым духом, жужжали, золотясь и блистая на солнечном свете.

В это самое время Серен Староста подкатил к воротам на порожней коляске, в которой только что отвез Палле Дюре в Выборг.

Мельком увидав Марию, он поторопился распрячь лошадей, отвел их на конюшню и закатил коляску в каретник. Потом походил гоголем по двору, засунув руки в карманы долгополого кучерского кафтана и скособочив взгляд на свои сапожищи. Вдруг он круто повернулся и зашагал к пивоварне, решительно размахивая одной рукой, морща лоб и кусая губы, как человек, принуждающий себя к неприятному, но и неминуемому делу. С самого

Выборга и до Фоулума он все клялся себе порешить это дело и понабирался храбрости из баклажечки, которую барин забыл в коляске.

Войдя в пивоварню, он снял шляпу и держал ее в руке, а сам стал у притолоки и, не говоря ни слова, смущенно тер пальцем о край пивной кадки.

Мария спросила, не привез ли ей Серен вестей от мужа.

Нет, не привез.

Не отведает ли Серен взвару? А может, он хочет ломоть сотового медку?

Да, спасибо, то бишь нет, не надо, покорно благодарим, не за тем он пришел.

Мария покраснела, и сердце у нее так и замерло.

А можно ему спросить кое об чем?

Ну, разумеется, можно, пусть себе спросит.

Так вот он, коли барыня дозволит, и сказать-то хотел только об том, что с ним неладно, потому как и наяву и во сне барыня у него никак из ума не идет, но сам-то он ни при чем, он и сам ничего поделывать не может.

И что же тут такого? Так ему и полагается, дурного тут нет, это даже хорошо.

Так-то оно, может, и так, а только ему теперь не разобрать, так ли, хорошо ли оно будет, потому как думает-то он не об том, как свое дело делать, думает он про барыню, не как положено, а вовсе иным манером, такие у него думки, какие у людей любовью зовутся.

Боязливо-вопросительно глянул он на Марию, но совсем упал духом и замотал головой, когда Мария ответила, что и это правильно, что это и есть то самое, что людям делать надлежит, как говорит пастор. Да какое там! Все не то, — тут такое дело... влюбленное. Только оно попусту, — продолжал он раздраженным тоном, точно напрашиваясь на ссору, — этакая важная барыня, поди, и дотронуться-то до него, до серого мужика, побрезгует, хотя мужики тоже вроде как люди, и в жилах у них, как и у других людей, кровь бежит, а не водица и не сыворотка. Оно, конечно, баре себя за особую породу считают, но, по его, выходит все одно — что в лоб, то и по лбу, потому как и едят они, и пьют, и спят, и всякое такое делают ни дать ни взять как самый распоследний чумазый мужичонка, а через то он забрал себе крепко-накрепко в голову, что барыне, ежели он ее поцелует, не больше

изъяну будет, чем от барского поцелуя. И нечего ей на него этак поглядывать, что он разбрехался, — не боязно! Что он тут ни наболтай, ему все едино, ее воля ввести его во грех, потому что уж ежели он уйдет отсюда, так примехонько к мельнику на пруд или сразу же себе петлю на шею.

Не годится ему так говорить, она и заикнуться о нем никому на свете не собиралась.

Вон что! Не собиралась, стало быть? Ну и ладно! Верь — кому охота! А только все равно этим не пособишь. Она и без того заставила его хлебнуть горя, из-за нее из-за одной только он и порешить себя хочет, потому как взаправду всей душой ее любит.

Серен опустил на подставку для пива и смотрел теперь на Марию честными и кроткими глазами, во взоре была искренняя печаль, а губы тряслись, как будто он еле сдерживал слезы.

Мария не вытерпела — подошла к нему и ласково положила руку на плечо.

Вот уж чего ей не надо было делать: он хорошо знает, что положи она на него руку да пошепчи над ним, так он тут же и обессилеет, а такое ему вовсе не к стати. А вообще-то, могла бы она посидеть с ним рядом, пускай он и простой мужицкий сын, кабы только взяла в толк, что он еще до вечера жизни лишится.

Мария села.

Серен покосился на нее и отодвинулся, а потом неожиданно встал. Он хочет с ней попрощаться, сказать барыне спасибо за добро и ласку с той поры, что они друг друга знают, да еще попросить, не передаст ли барыня поклон его сродной сестре Анэ, той самой, что на усадьбе в пивоварках ходит.

Мария крепко держала его за руку.

Ну, уж теперь ему пора.

Нет, он должен остаться. Никого на свете она так не любит, как его.

Эх, говорит она это только со страху, как бы он не стал ей повсюду мерещиться. Но пусть об том не беспокоится, потому что зла у него на нее вовсе нет, с того свету он даже близко к ней не подойдет, зарок ей в том и обет кладет, ежели она его сейчас отпустит.

Нет, уж ни за что не отпустит.

— Э, пустое! — И Серен, вырвав руку, выскочил из пивоварни и пустился бежать через двор.

Мария уже было нагнала его, когда он шмыгнул в людскую, захлопнул дверь и уперся в нее спиной.

— Отвори, Серен, отвори! Не то я весь народ созову.

Не отвечая ни слова, Серен преспокойно вытащил из кармана насмоленную бечевку и стал прикручивать ею дверную скобу, придерживая дверь плечом и коленом. Угрозы созвать народ он не испугался, ибо знал, что все уехали на покос.

Мария что есть сил барабанила в дверь.

— Ради Христа, Серен! — кричала она. — Да выйди же ты! Ведь я люблю тебя, так крепко люблю, как только живая душа любить может! Право, люблю, Серен! Люблю, люблю, люблю тебя! Ох, не верит мне! Что же я теперь, злополучная, делать буду?

Серен не слышал ее. Он прошел через людскую в заднюю клетушку, где они спали с егерем. Вот здесь оно и произойдет, — и Серен огляделся вокруг. Но тут ему пришло на ум, что совестно будет напугать егеря, лучше уж сделать это там, где много людей спит. Он вернулся в людскую.

— Серен, Серен! Ох, да впусти же меня, Серен! Пусти меня! Что? Ох, да открой же! Нет, нет! Ох, господи! Удавится он, а я тут стою. Открой же, Серен, Христом богом прошу, открой! С первого взгляда полюбила я тебя. Не слышишь ты, что ли? Нет мне никого на свете милее тебя, никого! Слышишь, Серен, никого!

— Ой ли? — раздался хриплый и неузнаваемый голос Серена у самой двери.

— О, слава тебе господи во веки веков! Да, Серен, да, да, да! Правда это, правда, суцая правда! Клянусь тебе всеми святыми, клянусь всем, чем можно поклясться, что люблю тебя всей душой и всем сердцем. Ну, слава тебе господи!

Серен отвязал бечеву, и дверь отворилась.

Мария метнулась в комнату и кинулась ему на шею, радостно всхлипывая и смеясь.

Серен стоял обалдевший и сбитый с толку всем происшедшим.

— Ах, слава создателю, что ты опять со мной! — восклицала Мария. — Ну, а где же ты хотел это самое?..

Скажи-ка мне теперь! — И она с любопытством оглядела людскую с неприбранными постелями, на которых как попало валялись выцветшие подушки, слежавшаяся солома и замызганные холщовые простыни.

Но Серен не отвечал. Он грозно смотрел на Марию.

— А чего же ты прежде не сказывала? — вымолвил он и шлепнул ее по плечу.

— Прости, Серен, прости! — заплакала Мария и прижалась к нему, просительно заглядывая ему в глаза.

Удивленный Серен нагнулся и поцеловал ее. Он был совсем ошеломлен.

— Стало быть, не комедь представляла и не привиделось мне? — спросил он шепотом.

Улыбаясь, Мария покачала головой.

— Эх, чертовщина! Вот поди ж ты! И на ум не пало бы!

Поначалу отношения между Марией и Сереном удавалось хорошо скрывать. Но когда постоянные отлучки Палле Дюре в Рандерс и его пребывание там в качестве королевского комиссара лишили их обоих осторожности, то тьельская дворянка раскусила в чем дело. Парочка же, увидев, что их тайна раскрыта, и не думала больше таиться, а жила себе так, словно Палле Дюре находился не в Рандерсе, а на краю света. С Эриком же Груббе они и подавно не считались. Когда старик грозил Серену костью, тот грозился в ответ кулаком. А когда бранил Марию и пробовал образумить ее, та донимала старика, выкладывая ему уйму всякой всячины и отчитывая его же самого и не повышая притом голоса более, чем бывало нужно, чтобы старик хоть что-нибудь расслышал, ибо он стал совсем туг на ухо, да вдобавок из-за плешивости и подагры ходил в колпаке с плотно подвязанными наушниками, отчего слух, понятно, не улучшался.

А что Палле Дюре ни о чем не догадывался, виноват был, конечно, не Серен, который от юношески необузданной любви не задумывался — даже когда барин бывал дома, — в сумерки или когда придется наведываться к Марии прямо в господские покои, и не один раз спасался незамеченный лишь благодаря удобному расположению чердачной лестницы.

Его отношение к Марии было неровным, ибо ему иной раз взбрело на ум, что она гордая и презирает его. Тогда он становился капризным, деспотичным и безрассудным, обращался с ней суровее и грубее, чем сам того хотел, лишь бы кротостью ее и покорностью опровергнуть и уничтожить свои подозрения. Но чаще всего он бывал добр, уступчив и податлив. Только Марии надо было остерегаться и не жаловаться на мужа и отца, не расписывать, что с нею слишком уж несправедливо обходятся, ибо тогда Серен бесился и клялся размозжить бабку Палле Дюре и придушить за тощую шею Эрика Груббе, и притом его так забирало за живое тотчас же исполнить угрозу, что лишь слезами да мольбами и можно было его успокоить.

Но из всего, что могло влиять отрицательно на отношения между Сереном и Марией, ничто так не влияло и не портило этих отношений, как постоянные издевки дворовых. Им, разумеется, было не по нутру, что барыня любитя с кучером, что был он свой брат, а поставлен — не сравнить против них, дворовых, да вдобавок он, особенно когда барин в отлучке, еще и власть имеет, на которую у него не больше права, чем у них. Поэтому они изводили Серена и донимали его на все лады, так что тот часто бывал сам не свой и собирался то сбежать, то лишиться себя жизни.

Но пакостничали ему, ясное дело, больше всего девки.

Однажды вечером в застольной лили свечи.

Мария стояла у кадки с соломой, в которую была опущена медная льячка, и обмакивала в нее фитили, а пиоварка Анэ Триннеруп, двоюродная сестра Серена, давала салу стечь с них каплями в желтую глиняную миску. Повариха подносила и уносила черенки с фитилями, подвешивала их к свечной стойке и убирала свечи, когда они становились достаточной толщины.

У людского стола сидел Серен и наблюдал за работой. Он был в красной суконной шапке с золотыми галунами и черным плюмажем. Перед ним стояла серебряная кружка с брагой. Складным ножом отрезал он кусочки от огромного куска жаркого, лежавшего на маленькой оловянной тарелке. Ел он весьма степенно, прихлебывая из

кружки и время от времени отвечая Марии на ее улыбки и кивки неторопливым признательным движением головы.

Она спросила, удобно ли ему сидеть.

Да не шибко-то.

Тогда, пожалуй, не лучше ли будет, чтобы Анэ сходил в девичью и принесла ему подушечку?

Анэ так и сделала, не преминув, однако, за спиной у Марии настроить рож и наподмигивать другой служанке.

Не отведает ли Серен пирожного?

Да, оно бы не худо.

Мария взяла светец и пошла за пирожным, но позамешкалась. Не успела она выйти за дверь, как обе девки, будто по уговору, принялись хохотать во все горло.

Серен сердито покосился на них.

— Ах, милый ты мой Серен! — сказала Анэ, подражая голосу и речи Марии. — Не надобно ли Серену салфеточку пальчики его, Сереновы, обтереть, а еще мягонькую скамеечку под ноги-то, под Сереновы? А видно ли Серену кушать при одной-то толстой свече? Не то я ему еще зажгу? Зажечь, а, Серенчик ты мой? А то еще у барина в горнице вышитый халат шелковый висит, весь в разводах, теплый да просторный, — так не принести ли и его? Я бы мигом... А уж как бы он пристал к Серену-то красному картузику.

Серен не удостоил ее ответом.

— Ах, вон как! Ихнее благородие и словечка вымолвить не хотят? — продолжала Анэ. — А наш брат — народ темный, ему страсть как охота хоть малость благородных разговоров послушать. Я небось знаю, что ты, барин, на них мастак. Ты, чай, слыхала, Трина, что зазнобушка евоинная книжку ему подарила комплиментную, а в ней всяческое дворянское хитромудрие. И уж быть того не может, чтобы этакый важный барин да не умел ее складно прочитатъ, хоть по складам, хоть на голос сумеет, хоть тебе сзади наперед, хоть спереду назад.

Серен хватил кулаком по столу и сердито посмотрел на нее.

— Слышь-ка, Серен! — подхватила другая. — Поцелуешь разок, так я тебе целый луженый лобанчик отвалю. Оно хоть и знаю, что старуха-то тебя и жареным и пареным, и медком и бражкой потяует...

В это время вошла Мария с пирожным и поставила его перед Сереном, но тот расшвырял его по столу:



— Гони отсюдова бабье в шею! — заорал он.

— Да ведь сало-то простынет.

Но до сала Серену дела не было.

И девок выслали за дверь.

Серен рванул с себя красную шапку, закинул ее в угол. Злился и чертыхался.

Нечего было ей таскать ему жратву, ровно подсвинку голодному, и не с руки ему на народе в шутах гороховых ходить, а она его в скomorошью шапку рядит! Пора и меру знать да бросить этакую-то дурь. Он ей, чай, хозяин, а не она над ним, и нет той стати, чтобы она его обхаживала да нежила. Вот уж не чаял он, что у них этак пойдет. Его дело приказывать, а ее — слушаться. Его дело — дарить, а ее дело брать, коли дают. Знамо дело, дарить-то у него не из чего, но через то не положено ей дарить его и, стало быть, ни в грош не ставить. А коли не хочет с ним горе мыкать, так и разминуться им пора. А так — не снесет он больше... Пускай он ей полным хо-



зьяном станет, и убегут они. Нечего ей тут барыней сидеть, а ему на нее снизу вверх поглядывать. Пускай-ка вот она вместе с ним намытарится да узнает, почем фунт лиха, вот что ему надо! Да так, чтобы она от него добро видела, а ему бы спасибо говорила. Бояться она его должна, вот что! Да еще ни на кого, опричь его, не надеяться.

К воротам подкатила коляска, и когда они сообразили, что это, верно, Палле Дюре, Серен улепетнул в людскую.

Здесь на постелях сидели и остались сидеть трое работников, а егерь Серен Йенсен встал.

— А вот и сам баронунка пожаловал! — сказал один из парней, увидев входящего кучера.

— Цыц! Не то услышит! — перебил другой с притворным испугом.

— Да что и говорить, — начал опять первый полушепотом, — озолоти меня — не стал бы я сидеть в его шкуре, аж за полнехонький куль лобанчиков.

Серен беспокойно огляделся и сел на стоявший у стены ларь.

— А знать, и примешь муки — этак-то помирать? — промолвил парень, до того молчавший, и поежился.

Егерь сурово кивнул ему и вздохнул.

— Об чем гуторите? — спросил Серен, притворяясь равнодушным.

Никто не отвечал.

— Вот так, что ли? — спросил первый работник, проводя пальцем по затылку и вокруг шеи.

— Цыц ты! — ответил любопытному егерь и нахмурился.

— Про меня, что ль, толкуете? — допытывался Серен. — Коли про меня, так и не виляйте, а выкладывайте напрямки.

— Про *тебя!* — ответил егерь, нажимая на это слово и с откровенной решимостью глядя на Серена. — Да, Серен, про тебя! Господи боже ты мой!.. — Он сложил руки и, казалось, с головой ушел в свои мрачные размышления. — Серен, — начал он снова и утер себе нос, — пропавшее твое дело, Серен, наперед тебе скажу, пропавшее. — Егерь говорил, как по книге читал. — Обернись, Серен! Вон тебе виселица и плаха, — и показал на барский дом, — а вон там тебе и жить по-людски и помереть по-христиански. — И он широко жестом повел рукой по направлению к конюшне. — Ибо казнят тебя смертью, повесив за шею, по священному слову уложения законов. Так и знай! Вот оно как! Поразмысли-ка сам хорошенько.

— Эва! — строптиво ответил Серен. — А кому же изветить на меня?

— Вон оно что! Кому изветить? — повторил егерь таким тоном, будто открылось некое обстоятельство, сильно ухудшающее дело. — Кому на тебя изветить? Эх, Серен, Серен! Да ты, погляжу, еще и дурень безмозглый, прямой ты обалдуй, накажи меня бог! — И продолжал он уже вовсе не торжественным тоном. — По мне, так дурь озна — гоняться что оголтелый за этакой бабищей, да в годах. При таком-то деле, какое ты затеял, того и гляди, что головы не слосить. Ну, будь она помоложе — куда ни шло!.. А то ведь, прости боже, сущий сатана в юбке. Кинь-ка ты ее сизмордому на здоровье. Баб, слава тебе господи, и без нее вдосталь.

У Серена не хватало ни духу, ни охоты растолковывать им, что неумогу ему жить без Марии. Он и сам стыдился своей безрассудной страсти, но сознаться в ней значило бы спустить на себя всю свору парней и девок. Поэтому он врал и отпирался от своей любви.

— Знамо так, — говорил он, — только смекайте, люди добрые: у меня ноне ригсдалер завелся, а у других ни гроша. Да, глянь, то тряпица перенадет, то лоскут какой. Раз по разу да и повез на возу, хватъ-похватъ, ан, сундукто и полон, дружки милые! А понабью мошну, так боком-боком, да и в сторонку. Тогда и вы — пытай счастья, кому любо.

— Так-то оно так, — ответил Серен-Егерь. — Да только, по мне, это называется с веревкой на шее деньги воровать. Спору нет, оно небось ублажительно, когда тебя и платьем дарят и серебром, а еще, поди, милее того на постели валяться да потягиваться, да хворым прикидываться, чтобы тебе с барского стола и вища снесли, и мясца, и всякой снеди лакомой. Но шила-то в мешке не утаишь, особливо где людей много: народ, он видит, правда-то выйдет наружу — тут тебе и крышка!

— До того ни в жисть не дойдет, — сказал Серен, уже приуныв.

— А как же! Что тот, что другой рады бы радехоньки ее с рук сбить, да и сестры у ней и зятя не таковские, чтобы промеж своих ввязываться, ежели она может наследства решиться.

— А, леший побери! Все одно она пособит мне.

— Пособит, мыслишь? Да ей впору будет, как бы самой себя сберечь. Столько уж с ней неладов бывало, что и не сыщется, поди, никого, кто бы ей хоть самую малость помог.

— Ну, пушай так! — сказал Серен, уходя в свою клетушку. — Угроза в гроб не вгонит.

С того дня Серену, куда он ни сунься, куда ни пойдит, приходилось выслушивать мрачные намеки на плаху, на виселицу и на каленые щипцы. И в конце концов он, чтобы не поддаваться страху и набраться храбрости, стал прибегать к водке. А поскольку Мария постоянно подсовывала ему денег, то поневоле он не бывал трезв. Постепенно он становился равнодушнее к угрозам, но был осмотрительнее, нежели прежде, больше держался на людях и реже навещался к Марии.

Под рождество, когда Палле Дюре вернулся и остался дома, встречи между Сереном и Марией почти прекратились. И тогда Серен, думая уверить дворню в том, что все это — дело прошлое, и таким образом помешать им наклеузничать хозяйну, пустился для виду заигрывать и любезничать с Анэ Триннеруп и провел всех, даже и самое Марию, хотя та и была посвящена в его замысел.

На третий день праздника, когда почти все были в церкви, Серен стоял на углу господского дома и играл с собакой. Вдруг он услышал голос Марии, который звал его, как показалось ему, из-под земли.

Серен обернулся и увидел лицо Марии у самой земли, в оконце соляного погреба.

Мария была бледна, а заплаканные глаза дико и боязливо смотрели из-под мучительно сдвинутых бровей.

— Серен, — сказала она, — что же я тебе сделала, что ты меня разлюбил?

— А не так, что ли? То самое и делаю, что надо. Мне без того нельзя. Аль не смекаешь? Застоять себя надо, коли тутопшие только туда и гнут, чтобы меня извести либо со свету сжить. Не бреши почему зря и не встречай не в свое дело, коли не хочешь, чтобы меня пристукнули.

— Не лги, Серен, вижу, куда клонишь, но я тебе за то и единого черного дня вовек не пожелаю, ведь я тебе не ровесница, а вот Анэ-то давно тебе приглянулась. Только грех тебе это передо мной напоказ выставлять, да и смыслу нет никакого. Не подумай, я тебе никогда навязываться не стану: сама как на ладони вижу и понимаю, какой это для тебя напастью обернуться может, и что были бы мы с тобой, как рыба об лед, если бы стали жить своим домом. Никому из нас такой жизни не пожелаешь, а вот все равно мне не отступиться.

— Да на кой ляд мне твоя Анэ сдалась? Даром не возьму, деревенщину этакую! Окроме тебя, никто мне на свете не мил, пускай и костерят тебя старой хрычовкой, ведьмой и как им еще, сучьим детям, вздумается. Мне все одно.

— И рада бы тебе поверить, Серен, да не могу.

— Не веришь, стало быть?

— Нет, Серен, нет, не верю. Одно у меня желание, одно-разъединое — помереть здесь же, на месте, в погребе.

Закрыла бы оконце, села бы, да и заснула бы тут во тьме кромешной.

— Дай срок, и поверишь.

— Вовек не поверю, во веки веков! Ничем на свете не принудишь меня поверить тебе, потому что и подумать-то об этом нелепо!

— Голову ты мне задурила своей болтовней. Ну, погоди, еще покаешься. Пускай меня лучше за то сожгут живьем аль на смерть запытают, а поверишь же ты у меня, все одно поверишь.

Мария смотрела на него и грустно качала головой.

— А, была не была! — крикнул Серен и убежал.

У двери в поварню он остановился и спросил, где Анэ Триннеруп. Ему ответили, что она в огороде. Тогда он зашел в людскую, взял из егсревых ружей старое, заряженное и выбежал в огород.

В тот момент, когда Серен заметил ее, Анэ срезала капусту. У нее был полон передник листьев, одну руку она поднесла ко рту и дула на иззябшие пальцы, стараясь их отогреть. Медленно-медленно подкрадывался Серен, упорно глядя ей на подол, потому что не хотел видеть лица.

Внезапно Анэ обернулась и увидела Серена. Мрачный вид его, ружье и подкрадывающаяся поступь навели на нее страх, и она крикнула:

— Не надо, Серен, не надо!

Он вскинул ружье. Дико и пронзительно завизжав, Анэ ринулась прочь и помчалась по снегу.

Грянул выстрел. Анэ все еще бежала, потом схватилась за щеку и, отчаянно завопив от ужаса, повалилась наземь.

Серен кинул ружье и бросился бежать вдоль дома.

Добежал до угла.

Оконце было закрыто.

И — скорей на крыльцо, бегом по всем комнатам — пока не отыскал Марию.

— Конец! Крышка! — прошептал он, бледный как покойник.

— За тобой гонятся, Серен?

— Нет. Я уложил ее насмерть.

— Кого? Анэ? Ах, господи, да что же с нами теперь будет? Мигом, Серен, мигом! Бери лошадь и удирай! Да поспедай же, поспедай! Серка бери!

Серен побежал.

Через минуту он во весь мах вылетел за ворота.

Не проскакал он и поддороги до Фоулума, как народ вернулся из церкви.

Палле Дюре сразу же осведомился, куда это послали Серена.

— Кто-то в огороде стонет, — ответила Мария.

Ее било мелкой дрожью, и она чуть не валилась с ног.

Палле с одним из работников внесли Анэ в дом. Она вопила на всю округу. Опасность-то, впрочем, оказалась невелика: ружье было заряжено дробью на лисиц, и несколько дробинок пробило щеку, да чуть побольше за село в плече. Но кровь не унималась, и Анэ так жалостно охала, что послали лошадей в Выборг за цирюльником.

Когда Анэ немного пришла в себя, Палле Дюре спросил у нее, как дело было, и узнал заодно всю историю связи Марии с Сереном.

А когда он вышел из комнаты больной, дворовые сгруппировались вокруг и наперебой рассказывали о том же самом, что он сейчас услышал. Люди боялись, что с них так или иначе взыщут за утайку. Однако Палле не стал их слушать, сказав, что это пустые сплетни, вздорные пересуды, и выслал их всех за дверь.

Все это было ему совсем нехвати: развода, выездов на дознание, процесса и тому подобных трат он предпочел бы избежать. Куда лучше бы по возможности замять дело, все уладить и оставить по-старому. Даже неверность Марии не очень-то беспокоила его, и дело могло при случае обернуться ему на пользу, если бы он приобрел больше власти над Марией, а глядишь, и над Эриком Груббе, который, верно, не постыит за многим, лишь бы для виду сохранить уже нарушенный брак.

Но, переговорив с Эриком Груббе, Палле Дюре просто не знал, что и подумать. Старика нельзя было понять: он вскипел и тот же час послал в погоню четырех работников верхами, наказав взять Серена живого или мертвого. А такой образ действий мало способствовал сохранению дела в тайне, поскольку при дознании по покушению на убийство могло выйти наружу и многое другое.

Вечером следующего дня трое из работников вернулись. Они схватили Серена под Даллерупом, когда у него нал Серко, и доставили в Скандерборг, где он теперь и



сидел под замком. Четвертый работник заблудился и добрался домой лишь через день.

В середине января Палле Дюре с Марией переехали в Нэрбек — ведь все скорей забудется, если барыня убежится с глаз долой. Но к концу февраля снова все вспомнилось, ибо прибыл из Скандерборга писарь допросить, не видели ли поблизости Серена, который совершил побег со взломом. Впрочем, писарь приехал рановато: лишь недели две спустя Серен отважился ночью пробраться в Нэрбек и постучался в окошко Мариной опочивальни. Мария отворила, и он первым делом спросил, умерла ли Анэ, и у него, видно, словно камень с души свалился, когда услышал, что она здоровехонька.

Серен нашел себе прибежище в заброшенном домишке на Гассумской пустоши и стал затем наведываться поча-

ще, снабжаясь деньгами и съестным припасом. Как люди, так и Палле Дюре знали, что Серен нашел ход в усадьбу, но Палле Дюре прикинулся, что ничего не замечает, а челядь и подавно знать ничего не хотела, видя, что барину все равно.

На сенокос господя опять перебрались в Тьеле, а туда Серен уже не смел показаться. И из-за этого и из-за вечных пререканий с отцом, его придинок и досадливого насмехательства Мария стала такой несдержанной и запальчивой, что несколько раз с глазу на глаз отчитала отца как последнего псарिशку.

Кончилось тем, что Эрик Груббе в середине августа послал челобитную королю. Жалоба эта после обстоятельного перечисления и описания всех прегрешений Марии, кои, несомненно, прогневят господя бога, учинят великий соблазн и будут во незамедлительное искушение всему женскому полу, завершалось так:

«Таковыми ее проступками, — непотребства ее и дочерного непослушания ради, — вынуждаем я лишить ее наследства, на что всеподданнейше вашего королевского величества соизволения и конфирмации испрашиваю, а еще явили бы вы мне, государь, милость, всемилостивейше повелел окружному голове, господину Могенсу Скеелю, по дознанию и по сыску проступков ее противу меня и мужа своего, самое ее бесчинства и непотребного поведения ее ради заточить моим коштом на Борнхольме ослушницу мерзостную, во упреждение гнева господня, во спасение души ее, а прочим в назидание.

Лишь по великой причинившейся мне от сего крайности осмеливаюсь о вышереченном, государь, ходатайствовать, а ныне же пребываю в крепкой надежде и чаянии, уповая на вашего королевского величества всемилостивейшее благоволение, ответ и помощь за каковые воздаст вашему величеству господь бог наш.

Тьеле, лета 1690 авг. мес. 14 дня.

Вашего королевского величества до гроба
всеподданнейший и всепокорнейший
верноподданный слуга

Эрик Груббе».

По сему поводу король пожелал иметь объяснительную бумагу от его благородия Палле Дюре, а по таковой

выходило, что Мария Груббе обходится с ним не так, как подобает честной жене, и что он, Палле Дюре, на сем основании просит короля явить ему милость и расторгнуть брак без судебного разбирательства.

Соизволения на это не последовало, и супругов развели по суду двадцать третьего марта тысяча шестьсот девяносто первого года.

Не вняли и ходатайству Эрика Груббе о дозволении лишить дочь наследства и заточить ее на Борнхольме.

Старику пришлось удовольствоваться тем, что он держал Марию в Тьеле под охраной мужиков, пока тянулось разбирательство, и он же был одним из последних, кому было дозволено кинуть в дочь карающим камнем осуждения.

Сразу же после вынесения приговора Мария Груббе покинула Тьеле, унося в узелке несколько платьев. На южной окраине пустоши она встретилась с Сереном и обрела в нем своего третьего мужа.

17

Месяц спустя, апрельским вечером, в Риббе толпилась у соборной паперти уйма народа. Как раз подошла пора епархиальному съезду, а уже нестари было в обычае, пока длится съезд, на все это время, трижды в неделю с восьми часов вечера зажигать в соборе свечи. И тогда и щеголи, и знать, и высокопоставленные лица в городе вкупе с почтенными гражданами являлись в собор и прохаживались по нефу, а искусный органист играл им на органе. Беднякам же довольно было слушать и с паперти.

Среди них были Мария Груббе и Серен.

Сермяжная одежда на обоих поистерпалась, и вид у них был такой, словно им не всяк день кусок перепал. Оно и понятно — ремеслом-то они занимались далеко не прибыльным, и вот каким: на заезжее между Орхусом и Рандерсом Серен повстречался с бедным чахлым немцем, который за шесть слет-далеров продал ему маленький подержанный органчик, нестрые скоморошьи уборы да ветхий коврик клетчатый. Вот и жили они с Марией, таскаясь по ярмаркам, где она крутила органчик, а он, напялив разноцветный наряд, стоял на клетчатом коврике, поднимая и подкидывая на все известные ему лады тяжелые

гири и длинные железные песты, взятые напрокат у купцов.

На ярмарку же выпал им путь и через Рибе.

Они стояли на паперти у самых врат, откуда слабый, почти блеклый отблеск пробегал по их бледным лицам и темной густой толпе голов сзади них.

Парами, в одиночку и небольшими группами, беседуя и учтиво улыбаясь, подходили и подходили люди к порогу собора и тут внезапно умолкали, сосредоточенно и чинно устремляли взор вперед и меняли даже поступь.

Серену пришла охота разглядеть получше праздничное убранство, и он шепнул Марии, что надо бы пройти внутрь; попытка ведь не убыток, разве что прогонят, хуже-то ведь ничего не будет. Марию передернуло при мысли о том, что ее выпроводят оттуда, куда смело и свободно можно заходить мастеровому люду, и она держалась сзади Серена, тянувшего ее за собой. Но вдруг передумала и стала усердно продираться вперед, таща за собой Серена и шла без боязливых оглядок и подлой низменной опасливости, напротив того, шла, как будто рассчитывала, что ее заметят и выгонят.

Поначалу их никто не останавливал, но когда они сбирались войти в ярко освещенный, битком набитый продольный неф, их заприметил со своего поста церковный служка и, перепуганно покоевшись в глубь церкви, разгневанным проворным шагом двинулся на них и, в негодовании неистово замахав руками, погнал их перед собой и выпроводил за порог. Здесь он на мгновение задержался и укоризненно посмотрел на народ, как будто возлагал на него вину за только что происшедшее, затем степенно прошествовал обратно и встал, дрожа и поеживаясь, на свое место.

Изгнанных толпа встретила громовым раскатистым хохотом и градом насмешливых вопросов, на которые Серен огрызнулся и ворчал, грозно оглядываясь кругом. А Мария была рада: она подвергла себя удару, который у respectable части общества всегда бывает наготове для таких людей, как *он* и ему подобные, и — дождалась удара.

На одном из самых убогих постоялых в Орхусе вечером накануне ярмарки святого Олуфа сидело четверо простолудинов и играло в стюрвольт,



Один из играющих был Серен-Староста. Его товарища по игре, красивого смуглого детину, с волосами как смоль, прозвали в народе Йенсом-Перехватом, и был он фокусник. А двое других игроков сообща водили медведя, и оба были безобразны. Одного из них, с заячьей губой, звали Сальман-Поводырь, а другого, кривоглазого, скуластого и рябого, величали Расмусом-Щуром, очевидно потому, что кожа вокруг больного глаза сморщилась и вид у этого человека был такой, словно он, прищуря один глаз, приготовился подглядывать и вот-вот заглянет в замочную скважину или какую-нибудь щелочку.

Игроки сидели на конце длинного стола у самого окна. На столе стояла свеча и кружка без ручки. У противоположной стены находился раскрытый откидной стол, прикрепленный к ней железным крюком. Поперек другого конца комнаты тянулась стойка, и тонкая свечка с длинным фитилем, воткнутая в сосок старой воронки, бросала дремотные отблески на висевший сзади поставец, где несколько огромных четырехугольных штофов с водкой и полынной настойкой, кварт и косушек да с дюжину чарок привольно разместились бок о бок с соломенной плетенкой, наполненной горчичным семенем, и с большим фонарем, стеклами в котором служили донца от битых стаканов. Один угол у стойки занимала Мария, которая попеременно спала и вязала, а в другом сидел мужчина, подавшись туловищем вперед и упираясь локтями в колени. С величайшим старанием он занимался тем, что натягивал как можно ниже черную поярковую шляпу на уши, а достигнув цели, хватался за широкие поля, жмурясь и кривя губы — потому очевидно, что дергало за волосы, — поворачивал шляпу и медленно стаскивал с головы, а затем начинал все сызнава.

— Последний кон играем, — сказал Йенс-Перехват и сделал ход.

Расмус-Щур постучал об стол костяшками пальцев, давая знать Сальману, чтобы тот крыл.

Сальман побил двойкой.

— Двойчок! — закричал Расмус. — Что у тебя на руках ничего не бывает, что ли, как двойчки да тройчки?

— Да, господи же ты боже мой! — заворчал Сальман. — Почитай, одна шваль идет да мелочь козырная.

Серен-Староста перекрыл шестеркой.

— Ой, ой, ой! — взвыл Расмус. — Да неужто же он в папы римские метит? Какого лешего ты козырей солишь, Сальман?

Он сбросил, и Серен забрал взятку.

— А я вот с Кристи Комарихи зайду, — сказал Серен и пошел с четверки червей.

— А на поддачу ей и сестрица ее Фефелушка, — подхватил Расмус и скинул четверку бубен.

— Купчина-то, чай, не по зубам будет! — сказал Йенс и хватил козырным тузом.

— Крой, малый, крой! Вали напропалую, покамест есть чем крыть.

— Не перебьешь! Жирен, черт! — заскулил Сальман и сбросил.

— Пойду-ка я с семерочки да на поддачу этакую же, — промолвил Йенс.

Серен забрал взятки.

— А теперь козелком, козелком! — продолжал Йенс, делая ход.

— А я его соловым меринком, меринком! — заорал Сальман и покрыл двойкой червей.

— Нипочем не бывать ему на конюшне, — захохотал Серен и перебил четверкой пик.

— Фофан! Обремизился! — рявкнул Расмус-Щур и шваркнул картами. — Фофан! На червошной двойке фофан! Добрая поденщица, чисто сработано. И ни-ни-ни! Нипочем! Уж нет так нет! Ладно, что мы не стали дальше играть. Пушай те с картами целуются, кто выиграл.

Они принялись подсчитывать взятки, а между тем в компату вошел дородный, прилично одетый человек. Он сейчас же откинул стол и уселся у стены. Проходя мимо игроков, он притронулся к пиляпе тростью с серебряным набалдашником и пожелал им доброго вечера.

— Спасибо на добром слове! — ответили они, и все четверо сплюнули. Пришелец вытащил кулечек табаку и длинную гипсовую трубку. Набил ее и постучал тростью о стол.

Голоногая девка принесла ему жаровню с углями и увесистый глиняный кувшин с оловянной крышечкой.

Вынув из жилетного кармана медные щипчики, новый гость положил ими несколько угольков в трубку, пододвинул к себе кружку, откинулся назад и вообще расположился поудобнее, насколько позволяло место.

— Почем же этакая пачка табаку будет? — спросил Сальман, доставая кисетик из тюленьей кожи и припнямаясь набивать трубочку.

— Двенадцать скиллингов, — отвечал пришелец и добавил, как будто извиняясь за расточительность: — Вгрудях от него вольготнее и опять же приятно, доложу я вам.

— Ну, а как оно, ремесло-то, ладно ли кормит? — продолжал Сальман и выбил огня в трубку.

— Изрядно, покорно благодарим на добром слове, изряднехонько! Да ведь стареешь, доложу я вам.

— Так-то так, — сказал Расмус-Щур. — Однако вам нет ни хлопот, ни забот покупателей в дом приманивать. Их ведь вам любого на дом доставят.

— Опять же верно! — засмеялся незнакомец. — Ремесло не похаешь — доброе, да и глотку не надсаживаешь, чтобы людям свой товарец всучить. Бери, что досталось, и никому ни выбирать, ни артачиться, ни отступаться не дозволено.

— Да и придачи не спрашивают! — подхватил Расмус. — И не спросят, ни в жисть не захотят более того, что им по закону положено.

— А что, мастер, как они? Шибко голосят?

— Да вроде мало кто зубы-то скалит.

— Тыфу ты! Ну и погань же ремесло, прости господи!

— Так, видать, я понапрасну на вас надежду имел, что мне помощь будет.

— Да какую-такую надежду вы на нас иметь можете? — угрожающе спросил Расмус и привстал.

— Никакой, право же, никакой такой, ни этакой... Подыскиваю я себе подручного, чтобы сперва мне пособлял, а там, глядишь, после меня и должность переймет. Вот о чем стараюсь, доложу я вам.

— А каково бы жалованье подручному-то? — спросил Йенс-Перехват совершенно серьезно.

— Пятнадцать далеров годовых наличными, с третья одежда да по марке с далера, который по таксе заработан.

— А что за такса такая?

— А вот она какая, такса-то: у столба вицами посечь — пять далеров кладут, кнутом отодрать да за город выпроводить — семь далеров положено, из округи выдворить — четыре, а поклеить — та же цена.

— Ну, а за работу почище?

— Да ведь вот горе — реже она перепадать стала! Однако ежели кому голову отрубить — восемь далеров — это когда топором, а мечом — так десять кладут. Да только годков семь, почитай, минет, покуда потребуется. За повешение — четырнадцать ригсдалеров, десять — за самое работенку, а четыре — тело с виселицы снять. На кол ткнуть да колесовать — семь далеров, за всю тушу, вестимо. А тут еще сам и кол свой притащи и вбей. А за что бы еще? Да, вот! Руки-ноги кому перебить на немецкий пошиб да на колесо насадить — за такое четырнадцать причитаются, а четвертовать и на кол — по двенадцать

мне выходит. Да потом еще вот калеными клещами рвать — так тут по два далера со щипочка. На том и конец, больше и нету ничего, разве что особый случай выйдет.

— А обучиться-то делу, знать, невелика мудрость?

— Рукомеслу-то нашему? Вестимо, всякий отиравать сумеет, только как? — вот в чем суть. В нашем деле, как и во всяком ином, споровка надобна да навык. Вицами у столба чесать, оно не вдруг-то пойдет, за день не обучишься. Ухватка нужна, без ухватки несподручно, чтобы за один замах — свись! — и хлесь его пруточками-то в три хлыста зараз, да чтобы гладенько шло, как по маслицу, будто себе тряпницей помахиваешь, а чтобы оно притом и покусывало по всем статьям и по всей совести, во исполнение строгости закона и самому блуднику ко исправлению.

— Что ж, я, пожалуй, попытал бы, — сказал Йенс и вздохнул.

Соседи поотодвинулись от него.

— А вот и задаточек! — подманивал сидевший у откидного стола и рассыпал перед собой горсть новеньких, поблескивающих серебряных денег.

— Подумай-ка наперед ладом! — уговаривал Серен.

— Думать да гадать, ждать да голодать. Что в лоб, то и по лбу, — ответил Йенс и встал. Прощай и не поминай лихом, добрый человек, живи честным трудом! А я... был молодец, да... — добавил он, протягивая Серену руку.

— С миром из честной братии и ступай себе с богом! — отвечал Серен.

Йенс обошел кругом стола, на те же слова его был тот же ответ. И с Марией распрощался Йенс и с человеком в углу, которому пришлось на это время оставить в покое свою шляпу.

И пошел Йенс к человеку за откидным столом. Тот напустил на себя торжественный вид, отложил трубку и произнес:

— Я, заплочных дел мастер, Герман Кэппен, орхусский градской палач, беру тебя при сих видоках, на глазах у сих добрых людей, и нанимаю себе в подручные, дабы исправлял ты должность оную во славу господню, тебе на благое поспешение, а мне и всему правосудному чину палаческому впрок и на пользу.

И во время этой помпезной речи, которая, видимо, доставляла ему искреннее и глубокое удовлетворение, заплечный сунул Йенсу новенькие задаточные деньги и зажал их у него в кулаке. После этого встал, снял шляпу, поклонился и спросил, не окажут ли ему люди добрые и достопочтенные видоки честь угоститься чаркою польского.¹

Не получив ответа, он добавил, что почтет за честь, за великую честь попотчевать их чаркой польского, дабы они могли промеж себя выпить за преуспевание их бывшего дружка.

Трое за длинным столом вопросительно переглянулись и примерно враз кивнули головой.

Голоногая девка принесла простецкую глиняную чару и три кружки зеленого стекла, по которому там и сям были разбросаны красненькие и желтенькие звездчатые пятнышки. Поставив чару перед Йенсом, а кружки перед Сереном и поводырями, притащила она здоровенный деревянный жбан и нацедила сперва в кружку трем честным людям, затем в чару, а остатки вылила в особый бокал мастера Германа.

Расмус придвинул к себе свою чарку и сплюнул, другие последовали его примеру. И вот с минуту они сидели молча, переглядываясь, как если бы и впрямь ни у кого из них не было охоты пить первому. В это время Мария Груббе подошла к Серену и что-то шепнула ему, а он в ответ замотал головой. Она хотела было шепнуть еще, но Серен и слушать не стал. На миг она остановилась в нерешительности, затем схватила его кружку и выплеснула содержимое на пол со словами: нечего ему пить, коли кат поднес. Серен вскочил, схватил ее за плечо и выставил за дверь, наказав убираться наверх. Затем спросил себе чарку водки и вернулся на место.

— Посмела бы у меня этак покойница Аделона! — сказал Расмус и выпил.

— И то сказать! — вторил Сальман. — Пускай бога молит, что она не моя баба, а то я, вот те крест, прописал бы ей, как божьим даром дерьмо поливать.

— Да вишь ты, Сальман, дело-то какое, — возразил Расмус, лукаво подмигнув мастеру Герману, — твоя-то

¹ Польский — смесь медовой браги с водкой. (Примечание автора.)

баба вроде тебя, не велика птица небось, не из ихних благородий. Баба она простая, этакая же чумичка горемычная, что и мы грешные, а стало быть, чуть проступилась, так ей и выволочка, как у простого народу заведено. Ну, а будь она, наместо того, ихняя фря дворянская, так ты бы, видать, и не посмел взъерепенить ей дворянскую синиушку, хоть в глаза она тебе наплюй, коли ее милости угодно.

— Нет, уж дудки! Я бы ее, шкуреху чертову, — заругался Сальман, — я бы ее так отпощевал, что забыла бы, как и зенками ворочать, вот те крест отвозил бы, потаскал бы за волосья-то. Я бы дурь из нее повыколотил, и не пикнула бы больше. Спроси-кось мою, ведома ли ей пёпочка тоненькая, на которой Михайлу-то водим, и поглядишь, как у ней сразу спину заломит, только помяни. А чтобы она да сюда сунулась, где я сам сижу, да на пол, что пью, выплеснуть, так нет же, будь она хоть царю дочка родная, не миновать бы ей лупцовки, дубасил бы, покуда руки не занемеют, покудова дух не захватит. А что этакая из себя принцессу-недотрогу корчит, шкуреха окаянная? Что она, тварюга, чище, что ли, чем у других бабы бывают, коли смеет своего же мужа при всем честном народе за столом срамить? По ее, что же выходит, изъян ей, что ли, какой будет, ежели ты ее малость тронешь, потому как ты принял угощение от почтенного человека? Не-ет, послушайся меня, Серен, вот как, — и он сделал движение, словно ударил кого-то, — иначе тебе от ней проку во веки веков не видать.

— Эге! Где нам! Чей бы кулак, да не наш! — сказал Расмус, подзадоривая Серена.

— Поберегись, Щур! А не то покажу тебе, где раки зимуют.

И ушел.

Пройдя наверх к Марии, он пнул за собой дверь и стал отвязывать веревку, которой был завязан их узелок с пожитками.

Мария сидела на краю козел, сколоченных, чтобы служить постелью.

— Ты сердисься, Серен? — спросила она.

— Дай срок, разглядишь.

— Полегче, Серен! Никто еще на меня с той поры, как я в годы вошла, руку не накладывал, и не потерплю я этого.

Пусть себе что хочет, то и делает, а бита будет.

— Серен, ради Христа, ради Христа, Серен, не бей!
Не подымай руки на меня, покаешься!

Но Серен схватил ее за косу и исхлестал веревкой. Мария не кричала, а только стонала при каждом ударе.

— Вот так! — сказал Серен и бросился на постель. Мария осталась лежать на полу.

Она изумлялась самой себе: лежала она и словно ждала, что в душе у нее вот-вот родится чувство яростной, бешеной ненависти к Серену, ненависти непримиримой, ненависти, которая вовек не простит. Но оно не являлось, была лишь задушевная глубокая и кроткая грусть, словно тихая печаль о погибшей надежде... И как у него рука поднялась?



В мае тысяча шестьсот девяносто шестого года скончался Эрик Груббе восьмидесяти семи лет от роду.

Наследство было тотчас разделено между тремя дочерьми, но Марии немного досталось, ибо старик перед смертью, написав фиктивные заемные письма, да и другими способами, в ущерб Марии и к выгоде обеих

оставших сестер, утянул от раздела большую часть состояния.

Однако доля, которую получила Мария, была достаточно велика, чтобы превратить ее и мужа из нищих бродяг в людей, и, разумно пользуясь наследством, они могли бы обеспечить себе безбедную жизнь до конца дней своих. Но, на беду, Серен ударился барышничать, и по прошествии немногих лет большая часть денег была потеряна. Остатка все же хватало, чтобы Серен мог сделаться владельцем перевоза Буррехус у переправы на Фальстере. На это деньги и ушли.

Поначалу обоим жилось несладко, и Марии частенько приходилось садиться на весла, но впоследствии главным занятием ее стала продажа пива, которая была связана с привилегией паромщика. В общем-то они жили вполне счастливо, ибо Мария продолжала любить мужа больше всех на свете, а если он нередко и напивался допьяна и бивал ее, то что же за беда? Мария ведь знала, что это дело житейское, привычное в том сословии, к которому она приписалась. А если в кои-то веки раз и теряла терпение, то быстро успокаивалась и утешалась, вспоминая, что Серен, который так суров и груб, был тот же самый Серен, который однажды из-за нее чуть не застрелил человека..

Людей приходилось им переправлять все больше простых — мужиков да барышников, но наезжали иной раз и такие, кто был чином повыше. Так, однажды явился Сти Хой. Гребли Мария с мужем, а он уселся на корме, чтобы поговорить с Марией, которая правила кормовым веслом. Сти Хой узнал ее с первого же взгляда, но не оказал и признака удивления. Может быть, он знал, что встретит ее здесь. Мария же должна была дважды приглядеться к нему, пока наконец узнала, ибо он очень переменялся. Лицо стало жирно-розовым, одутловатым, обрюзгло, глаза слезились, нижняя челюсть отваливалась, точно у него были парализованы мускулы рта. А ноги были тощие, брюхо отвисло — короче говоря, все указывало на жизнь, прожитую беспутно и расслабленную излишествами во всех смыслах. И впрямь, беспутство было главным в его жизни, с тех пор как он расстался с Марией. Внешне история его жизни такова.

Некоторое время он исправлял должность свитского кавалера и метрдотеля у одного князя-кардинала в Риме, перешел в католическую веру, уехал к своему брату Юсту Хою — тот был тогда послом в Нимвегене, — вновь перешел в лютеранство и уехал на родину, в Данию, где хлебничал у брата.

— Тот самый? — спросил он, кивнув головой на Серена. — Тот самый, о котором я нагадал, что после меня придет?

— Да, тот самый, — чуть помедля, ответила Мария. Отвечать же ей вовсе не хотелось бы.

— И он выше, чем я... был? — спросил он опять и выпрямился на сиденье.

— Ой, да тут, ваша милость, и равнять нечего, — ответила Мария с напускной мужиковатостью.

— Да, верно, всяко бывает, так вот оно и идет... мы тогда смалодушничали, поступились, скинули цену, мы оба, как, впрочем, все люди делают, да и прогадали — отдались на произвол судьбы: куда кривая вывезет, а ведь собирались жить иначе, продешевили себя, вы на свой лад, а я на свой.

— А ваша-то милость, поди, еще сносно живут? — спросила Мария все так же по-простецки.

— Сносно? — засмеялся он. — Сносно — это означает наполовину невыносимо. Вот именно, живу я поистине сносно. А вы, Мария?

— Покорно благодарим, на здоровье не жалуемся, а ежели когда приналяжешь да взопреешь, так ништо ей, дубовой-то шкуре, зато хлебушка — вдосталь и на водочку станет побаловаться с устатку-то.

Они уже причалили, Сти вышел и распрощался.

— Господи боже ты мой! — промолвила Мария, жалостливо глядя ему вслед. — И подрезало же ему крылушки, эх, ведь как обкарнало человека!

Мирно и однообразно текло время для обитателей Бур-рехуса — всяк день работа, всяк день и денежка.

Мало-помалу они выбивались в люди, завели работников на пароме, торговали по мелочи и надстроили свой старый дом. Отжили они старый век, прихватили десяток лет в новом, и стукнуло Марии шестьдесят, а там и шестьдесят пять, но держалась она стойко, не хворала, была



бойка и проворна, любила и умела поработать, словно ей еще только за пятьдесят перевалило.

Но вот весной тысяча семьсот одиннадцатого года, в день ее шестидесятивосьмилетия, Серен при весьма подозрительных обстоятельствах непароком застрелил корабельщика из Драгера, и по этой причине его взяли под стражу.

Это был жестокий удар для Марии: и томительное долгое неведение, к чему же приговорят Серена, ибо приговор был вынесен лишь год спустя, в середине лета, и страх, что выйдет наружу старое дело о покушении на убийство Анэ Триннеруп, сильно состарили Марию.

Однажды, еще в начале этой поры ожидания, Мария вышла встретить только что причаливший паром. На борту было двое проезжих, и один из них, странствующий подмастерье, занял все ее внимание, отказываясь предъявить подорожную и утверждая, будто уже предъявлял ее перевозчикам, когда садился на паром, что те, однако, отрицали. Когда же Мария пригрозила парню, что при-

дется ему заплатить по полной таксе, ежели он подорожной не докажет, что он странствующий подмастерье и, как таковой, обязан платить лишь полцены, парень сдался. И лишь разделившись с этим, Мария заметила другого пассажира, хрупкую фигурку, которая, побледнев и ежась в ознобе от только что перенесенной морской болезни, стояла, словно аршин проглотив, закутанная в темно-зеленый грубошерстный плащ, и опиралась на поручни какой-то вытащенной на берег лодки. Ворчливым тоном приезжий спросил, нельзя ли ему будет стать на квартиру в Буррехусе, а Мария ответила, чтобы он сам посмотрел, подойдет ли ему жилье. Затем показала ему каморку, где, кроме постели и стула, стояла бочка водки с воронкой и подставой для слива да несколько бутылей с патокой и с уксусом и, наконец, столик на ножках, выкрашенных под перламутр, и со столешницей из четырехугольных фаянсовых плит, на которых темно-лиловые рисунки изображали сцены из Ветхого и Нового завета. Незнакомец тотчас приметил, что три плиты представляли одно и то же — Иону, извергаемого на сушу из чрева китова, — а когда он накрыл одну из них рукой, у него мороз по коже пробежал, и он сказал, что схватит насморк, если по неосмотрительности своей сядет читать, опираясь локтями на стол.

На расспросы Марии он объяснил, что покинул столицу из-за чумы и хочет переждать здесь, пока мор не прекратится. Ест он лишь трижды на день и терпеть не может ни соленого, ни хлеба из печки. А сам он магистр, ныне алумнус Борховской коллегии, и звать его Хольберг, Людвиг Хольберг.

Магистр Хольберг был тишайший человек необычайно моложавого вида, с первого взгляда ему можно было дать примерно лет восемнадцать-девятнадцать, но, рассмотревшись ко рту и рукам, прислушавшись к интонациям голоса, нетрудно было догадаться, что он гораздо старше. Держался он особняком, говорил мало и, видимо, неохотно. Но он вовсе не сторонился людей, лишь бы при этом его оставляли в покое и не втягивали в разговоры. Ему доставляло явное удовольствие, когда паром привозил или увозил приезжих или когда причаливали рыбаки со своим уловом, издалека наблюдать за их суетой и прислушиваться, как они перекидываются словечком. Вообще говоря, он очень любил смотреть, как люди работают: все

равно, пашут ли, сено ли скирдуют или же лодки на воду спускают. А если кто-нибудь оказывал силу и ухватку поболее обычного, он предовольнехонько улыбался, даже плечи потихоньку расправлял от удовольствия. Прожив месяц в Буррехусе, он начал сближаться с Марией, то есть позволял ей приближаться к себе. И теперь они в теплые летние вечера частенько сжиивали вместе, иной раз по часу, а то и по два кряду, беседуя в заезжей, через отверенную дверь которой открывался вид на блестящую водную гладь до самого Мэна, дремлющего в голубоватой смутно-сумеречной дымке.

Как-то в вечерний час, когда они уже были довольно давними знакомыми, Мария поведала Хольбергу свою жизнь и закончила жалобным вздыханием о том, что у нее отняли Серена.

— Должен покаяться, — сказал Хольберг, — что я совершенно бессилён уразуметь, как это вы могли явить предпочтение какому-то подлому коноху и нищему побродяжке пред столь безукоризненным кавалером, как его светлость, господин наместник, который, к тому же, всеми почитается за великого мастера учтивости и изысканных манер, и даже более того — за критериум всякой особенной любезности и приятства.

— И, однако, будь он набит всем этим, как та книжница, которая *alamodische Sittenschule*¹ зовется, ни на грош бы дороже не стал, ибо такой я имела к нему *degout*² и омерзение, что и глядеть-то на него не хотелось. А вам ведомо, сударь, сколь вовсе неодолим может оказаться такой *degout*, и, следственно, будь человек хоть ангел по своим добродетелям и правилам жизни, все равно натуральное отвращение взяло бы верх. Напротив того, мой бедный нынешний муж... к нему я воспыкала столь внезапной и нечаянной склонностью, что могу приписать сие токмо одному натуральному влечению, которому никак нельзя было противостоять.

— Нечего сказать, добрый резон! Тогда нам только и остается, что уложить всю и всяческую мораль в долгий ящик и отправить оный к чертям на рога, да и жить себе припеваючи, в полное свое удовольствие. Ибо не будет такого непотребства, какое бы ни назвать, ведь оно

¹ Новомодная школа нравов (нем.).

² Отвращение (франц.).

всегда может прикрыться натуральным и неодолимым влечением, и не станет такой добродетели из всего сонмища их, от которой нельзя было бы отречься, ибо сыщется и такой, кто имеет degout к умеренности, и такой, у кого окажется degout к правдивости, а у третьего — к честности. И все они скажут, что столь натуральный degout совершенно неодолим, а посему тот, кто им охвачен, пимало не виноват. Но вы-то, матушка, человек слишком просвещенный, чтобы не знать, что сие есть лишь постыдные хитросплетения ума и бредни помешанных.

Мария не отвечала.

— Вы что же, матушка, ужели вы никакому богу не веруете? — продолжал магистр. — Ни в жизнь вечную?

— Упаси боже! Нет, верю я, верю в господа бога нашего.

— А как же тогда с вечной карою и вечным блаженством, матушка?

— Верю, что всякому человеку своей жизнью жить и своей смертью умереть, вот во что верую.

— Да какая же это вера?! А в воскресение из мертвых веруете?

— А как же я воскресну? Малым невинным дитятей, каким была, когда впервые вышла на люди и ничего не знала, ничего не ведала, или как о ту пору, когда я была украшением двора и мне, любимице короля, оказывали почести и завидовали? Или же воскресну я бедной, отчаявшейся старухой, Марией-Паромщицей, а? И мне ли ответ держать за то, что другие, ребенок и женщина в расцвете лет, нагрешили, или которая-нибудь из них за меня ответит? Можете ли мне сказать об этом, господин магистр?

— Но ведь душа-то у вас, матушка, была одна-единственная.

— Да? Неужели? Была? — переспросила Мария и погрузилась в раздумье.

— Давайте-ка поговорим с вами начистоту, — продолжала она, — и отвечайте мне по совести. Неужели вы думаете, что тот, кто всю свою жизнь жестоко прегрешал противу господа бога и создателя своего, но в последний час жизни, когда он лежит и борется со смертью, от чистого сердца покается в грехе своем и усовестится и предастся на волю господню без сомнений и колебаний, неужели вы думаете, что такой угоднее будет богу, нежели

человек, который столь же жестоко коснел во грехе и соблазне, но затем многие годы своей жизни клал все силы, чтобы исполнить долг свой, и любую тяготу нес безропотно, хотя ни на молитве, ни в открытом покаянии не оплакивал своего прежнего жития; неужели же вы думаете, что ту, которая прожила, веруя, по разумению своему, что живет праведно, не надеясь на заgrabное воздаяние и не молясь о нем, неужели вы думаете, что бог отвергнет ее и отринет от себя, пусть бы она никогда и слова молитвы не прочла?

— На сие ни один смертный не дерзнет вам ответить, — промолвил магистр и ушел.

Вскоре он уехал.

На следующий год в августе вышел приговор Серену-Паромщику, гласивший: на три года каторжных работ в кандалах на Бремерсхольме.

Долго надо было маяться, еще дольше ждать, но и маять и ожиданию пришел конец.

Серен вернулся домой, но тюрьма, каторга и жестокости сломили его здоровье. И года не понежила Серена Мария, как его снесли на погост.

Еще долгий, долгий год пришлось Марии тягаться с жизнью. Затем она вдруг занемогла и умерла. Всю болезнь она была не в своем уме, и потому священник не мог ни помолиться вместе с ней, ни напутствовать ее.

В новый летний день ее похоронили рядом с Сереном, а над светлым Зундом и золотыми колосющимися шивами разносился псалом, который, устав от жары, пели убогие прихожане, провожавшие покойницу, — тянули равнодушно и бездумно:

Гнев отврати от нас, о боже правый!
Помилуй, не секи лозой кровавой,
Хлеставшей нас, не зная притомленья,
За прегрешенья.

Но если б ты по праву полной чашей
Воздал греховности премерзкой нашей,
То всем бы нам пришла погибель, братья,
Всем, без изъятья.

ПРИМЕЧАНИЯ

Стр. 24. *Белю* — старинный мекленбургский дворянский род. *Гиппокамп* — морское чудовище (полуконь-полурыба) в греческой мифологии.

Стр. 25. *Гризельда* — героиня широко распространенного в литературе и фольклоре средних веков и Возрождения сюжета, разработанного Боккаччо («Декамерон», день X, новелла 10), Чосером и другими писателями. Гризельду, девушку простого происхождения, берет в жены знатный человек и подвергает унижительным и тяжелым испытаниям, которые она переносит с покорностью и смирением любящей женщины.

Маркграф — в эпоху раннего средневековья владетельное лицо, стоявшее во главе пограничной области (марки). Позже — лишь титул, близкий к герцогскому.

Виборгский рынок. — Виборг — главный город одноименного округа на Ютландском полуострове. Один из наиболее древних городов Дании, служивший долгое время местом торжественного избрания датских королей.

Бронгильда и *Гриммильда* — искаженные имена героинь древнескандинавского и древненемецкого эпоса — Брунгильды и Кримгильды.

Стр. 30. ...что с первого июня объявлена война... — то есть с 1 июня 1657 г. В течение XVII в. Дания неоднократно вела войны со Швецией, которая к этому времени начинает усиливаться и стремится лишить Данию гегемонии на Балтийском море. Война 1657—1660 гг. тяжело отразилась на экономике Дании и привела к потере ею владений на Скандинавском полуострове.

Орс (сокращенная форма от «Орхус») — город, центр Орхусского округа на востоке Ютландии, на берегу пролива Каттегат.

Стр. 33. ...сконы, зеландцы... — то есть жители Сконо и Зеландии — датских провинций. Сконо занимает южную оконечность Скандинавского полуострова. Провинция Сконо долгое время принадлежала Дании, но по Роскильдекому миру (1658) отошла к Швеции.

Стр. 35. Ханс Ульрик Гюльденлёве (1615—1675) — внебрачный сын короля Христиана IV, известный своей разгульной жизнью. В 1641 г. женился на Ригитце Груббе (1618—1689), приходившейся теткой Марии Груббе. Впоследствии Ригитце Груббе, поспорившись с Бригиттой Скеел, вдовой графа Пассборга, покушалась ее отравить и в 1678 г. была присуждена к пожизненной ссылке на остров Борнхольм.

Тролле, Сестед, Розенкранс, Краг — старинные датские аристократические семейства, представители которых играли большую роль в датской государственной жизни.

Иоахим Герсдорф (1611—1661) — датский государственный деятель, занимавший важные административные и придворные должности.

Карел (Карл) ван Мандер Младший (1610—1670) — нидерландский художник, работавший в жанре портрета и исторической живописи. Переселившись в Данию, стал здесь модным художником и вскоре сделался придворным живописцем.

Стр. 36. *Золоченый суп*. — В те времена в скандинавских странах существовал обычай посыпать ради красоты суп, а также питьевую воду блестками сусального золота.

Тризанет — в старинной немецкой кухне приправы из молодых сушеных овощей и фруктов.

Стр. 41. *Ульрик Фредерик* — то есть Ульрик Фредерик Гюльденлёве (1638—1704) — внебрачный сын датского короля Фредерика III и Маргариты Паппе, получившей титул баронессы Левендале. Был одной из наиболее колоритных фигур датского придворного быта XVII в. События его жизни, как они изложены в романе, соответствуют действительности.

Стр. 42. *Стюхо Хой* (ок. 1630—1685) — одно время мировой судья на острове Лоладе. Жизнь его довольно точно описана в романе.

Стр. 43. *Doch Chloë, Chloë...* — Эти стихи, как и все другие в романе (датские, немецкие, французские и итальянские), сочинены самим Якобсеном и стилизованы в духе XVII века вплоть до старинного написания. Датские стихи (стр. 44) стилизованы под фольклор.

Стр. 45. *Корсёр* — приморский город на юго-западе Зеландии, на побережье пролива Большой Бельт.

Стр. 47. *Богородицкая церковь* — одно из старинных сооружений Копенгагена. Построена, по-видимому, в XII в. при епископе Абсалоне.

Стр. 50. *...при короле Христиане* — то есть при Христиане IV (1588—1648), при котором Дания, несмотря на поражение в Тридцатилетней войне, достигла наибольшего могущества. Однако конец его царствования уже был отмечен признаками упадка: в результате неудачной войны со Швецией (1643—1645) Дания вынуждена была пойти на уступки и освободить Швецию от уплаты пошлины за право прохода судов по Зундскому проливу, что тяжело сказалось на датском бюджете.

Стр. 51. *Малх* — по евангельскому преданию, раб иудейского первосвященника. Когда Христос был захвачен по приказанию властей стражей, апостол Петр, защищая его, отрубил Малху мечом ухо.

Стр. 53. *...напустил ангела смерти на стан Сеннахерибов.* — Так библия рассказывает об историческом событии — походе ассирийского царя Санхериба (Сеннахериба) в Египет (VII в. до н. э.). Проходя через Иудею, он разгромил эту страну и обложил ее непомерной данью. Но завершить поход ему не удалось: вспыхнувшая в его войсках эпидемия какой-то неизвестной полевой болезни заставила его вернуть все войска, в том числе и гарнизоны в Иудее, в Ассирию.

Стр. 54. *Ульрик Христиан Гюльденлеве* (1630—1658) — внебрачный сын короля Христиана IV. Талантливый военачальник, обучавшийся военному искусству у выдающихся французских полководцев Тюренна и Конде, он сам участвовал во многих войнах. Находясь на испанской службе, сражался во Фландрии; вернувшись в Данию, отличился в войне со Швецией. В 1658 г. возглавил высшее датское командование и с большим искусством руководил обороной Копенгагена, проявляя при этом личную храбрость.

Стр. 56. *Хиллередский дворец* — одна из королевских резиденций. Построен ок. 1660 г. в городе Хиллереде в тридцати трех километрах от Копенгагена.

Стр. 60. *Алефельдт* Клаус (1614—1678) — датский генерал, отличившийся в войнах со Швецией 1643—1645 гг. и особенно 1657—1660 гг., когда во время осады Копенгагена под его руководством была отбита главная атака шведов.

Стр. 62. *Кристоффер Урне* (1594—1663) — датский государственный деятель, занимавший посты казначея, члена государственного совета, заместника в Норвегии. *Йёрген Урне* (1598—1642) — его брат, маршал, член государственного совета.

Орден Слона — высший орден датского королевства, учре-

жден в 1464 г. Христианом I. Число членов ордена впоследствии было установлено в тридцать человек, не считая короля и принцев. Награждались орденом только лица протестантского вероисповедания и ранее уже награжденные орденом Данеброга. Знак ордена изображает слона с поднятым хоботом, с укрепленной на спине беседкой и с сидящим впереди нее погонщиком.

Стр. 63. *Филлис, Коридон*. — Прекрасная пастушка Филлис, безутешный любовник Коридон — традиционные образы пасторальной поэзии, широко представленной в литературах ряда европейских народов в XVI—XVII вв.

Стр. 69. *Ольгер* (чаще Хольгер) *Датский* — герой ряда датских саг, который, по народным преданиям, не умер, а спит в подземелье Кронборгского замка и, когда придет время, выйдет оттуда.

Рыцарь Баярд — Пьер дю Терайль Байрд (1476—1524), прозванный «рыцарем без страха и упрека». Прославился легендарной храбростью в многочисленных войнах, которые вела тогда Франция, и необычайной щепетильностью в вопросах рыцарской чести.

Стр. 81. *Лоно авраамово* — библейское выражение, обозначающее место упокоения праведных душ, достигших совершенства, иными словами рай.

Стр. 87. *Корфитц Ульфельдт* (1606—1664) — датский государственный деятель, один из столпов аристократической партии, противившейся абсолютистским тенденциям королевской власти. Обвиненный Фредериком III в измене, был присужден к смертной казни, но успел бежать в Швецию, где вскоре и умер.

Элеонора Христина (1621—1698) — жена Корфитца Ульфельдта (см. предыдущее примечание). После бегства мужа за границу была заточена в тюрьму, где провела в ужасных условиях двадцать четыре года, и была освобождена только в 1685 г., после смерти королевы Софии-Амалии, супруги Фредерика III, завидовавшей ее красоте и уму и преследовавшей ее своей ненавистью. Элеонора-Христина Ульфельдт оставила воспоминания, описывающие ее тяжелую тюремную жизнь.

Стр. 93. *Итцехое* — небольшой городок в провинции Шлезвиг (ныне на территории Германии).

Фюн — один из наиболее крупных островов Датского архипелага, расположенный между Ютландским полуостровом и островом Зеландия.

Нюборг — город на острове Фюн на берегу пролива Большой Беллт. В 1659 г. шведы пробовали высадиться на остров и захватить город, но были разбиты. Большинство их погибло или было взято в плен.

Стр. 95. *Откровение Иоанна Богослова* (или Апокалипсис) — памятник христианской пророческой литературы, приписываемый христианской традицией легендарному ученику Христа Иоанну и содержащий пророчества о будущей судьбе христианской церкви, о конце мира и «втором пришествии» Христа.

Стр. 98. *Габионы* — род защитных фортификационных сооружений.

Стр. 100. *Ханс Хансен* (1598—1667) — бургомистр города Копенгагена и организатор городского ополчения во время осады города в 1659—1660 гг. Названные далее лица играли видную роль в государственной жизни того времени. В частности, *Отто Краз* (1611—1666) выполнял важные дипломатические поручения; *Аксель Урун* (1601—1671), опытный военачальник и фортификатор, участвовал в обороне Копенгагена; полковник *Нильс Розенкранс* (1627—1676), также отличившийся при обороне Копенгагена, ранее сопровождал Ульрика Христиана Гюльденлёве во Фландрию.

Стр. 104. *Розенбург* — замок в Копенгагене. Построен в 1610—1614 гг. Первоначально служил местом придворных увеселений. Под старость Христиан IV любил отдыхать здесь в кругу семьи.

Стр. 107. *Вордингбург* — небольшой город в Зеландии.

Стр. 109. *Дафнис*, *Амариллис* — традиционные персонажи пасторальной поэзии, заимствованные из античной литературы. Дафнис — пастух, герой романа древнегреческого писателя Лонга «Дафнис и Хлоя»; Амариллис — нимфа, воспетая римским поэтом Вергилием.

Стр. 110. *Оуэрдрун* — пригород Копенгагена.

Дюрегаве — охотничий парк в пятнадцати километрах от Копенгагена.

Стр. 114. *Дырендаль*. — Даниель Кнопф намеренно искажает слово «Дюрендаль» — название меча рыцаря Роланда, героя средневекового французского эпоса.

Стр. 115. *...государственное собрание, которое открылось в Копенгагене...* — В 1660 г. в Копенгагене открылось государственное собрание трех сословий (дворянство, духовенство, бюргерство), имевшее важные последствия для страны. Буржуазия в союзе с духовенством, опираясь на вооруженную силу в виде городского ополчения, руководимого бургомистром Хансеном, сломала сопротивление дворянства и добилась отмены многих его привилегий. Для ослабления роли дворянства были приняты акты, усиливающие королевскую власть: устанавливалось наследование королевской власти (до этого времени короли выбирались дворянством из представителей царствовавшей Ольденбургской дина-

стии), а также отменялись капитуляции (т. е. грамоты, коими вступающие на престол короли подтверждали дворянские привилегии). Предпринятые государственным собранием реформы несколько не улучшили положение крестьян, которые продолжали пребывать в крепостной зависимости.

Стр. 117. *Леандр и Леонора* — герои комедии классика датской литературы Людвига Хольберга (1681—1754) «Маскарад» (1724). Леандра и Леонору хотят женить их родители, они же, не подозревая об этом, убегают из дома, чтобы обвенчаться тайно. Персонажи с этими именами встречаются и в других комедиях Хольберга.

Дальдес — игра, несколько напоминающая шашки.

Стр. 118. *Карл Густав* — шведский король Карл X (1654—1660), который был опытным дипломатом и воином. Боролся с Данией и Польшей за гегемонию на Балтийском море. Войны, которые при нем вела Швеция, тяжелым бременем ложились на страну.

Стр. 120. *Фредерик Третий* (1648—1670) — один из сыновей Христиана IV. Вел борьбу с аристократией, опираясь на буржуазию. При нем в Дании окончательно установился абсолютизм.

Кристен Скель, прозванный «Богачом» (1623—1688), — советник и непосредственный сотрудник короля Фредерика III, а затем Христиана V.

Оле (Олаф) *Борх* (1626—1690) — датский ученый, профессор филологии и естественных наук в Копенгагенском университете. В 1667 г. стал придворным врачом. Скопив большое состояние, основал в 1689 г. «Борховскую коллегия», закрытое учебное заведение для шестнадцати наиболее прилежных студентов.

Бурри Джузеппе Франческо (1627—1695) — итальянский алхимик. В 1654 г. бежал из Рима в Германию от суда инквизиции, привлекая его по обвинению в ереси и осудившей заочно к «сожжению в изображении». Из Германии перебрался в Амстердам, а затем в Данию, где был радушно принят Фредериком III, который предоставил ему для алхимических опытов лабораторию в Розенборге. После смерти Фредерика III Бурри направился в Константинополь, но по дороге был схвачен и доставлен в Рим, где по новому процессу был осужден к пожизненному тюремному заключению. Окончил свои дни в тюремном замке святого Ангела.

Стр. 132. *Геридон* — круглый столик на одной ножке.

Стр. 135. *Филипп Четвертый* (1621—1665) — испанский король, деспотическое правление которого вызвало ряд народ

ных восстаний и привело к потере Испанией некоторых территорий.

Дон Хуан Австрийский (1547—1578) — испанский полководец, незаконный сын короля Карла V. Под его командованием испанские войска одержали много блестящих побед над турками и в Нидерландах. Выпущенный служить своему брату, королю Филиппу IV, всю жизнь стремился к самостоятельной власти и пытался создать свое королевство в Тунисе. Но все его попытки оказались безуспешными.

Стр. 136. *Фредериксборг* — замок в Дании на трех островах Фредериксборгского озера. Построен в начале XVII в. и замечателен своей архитектурой.

Курфюрст Саксонский — Иоганн Георг II (1613—1680). Был известен роскошью своего двора. Основал первый в Германии придворный театр.

Анна-София — дочь короля Фредерика III.

Стр. 138. *Лангер* — азартная карточная игра.

Стр. 155. *Драбанты* — телохранители или почетная стража у владетельных лиц и высших военных начальников.

Стр. 156. *Наследный принц Христиан* — то есть будущий король Христиан V (1670—1699), сын Фредерика III.

Стр. 160. *Аггерсхус* — крепость в Норвегии неподалеку от Осло, служившая резиденцией датским наместникам в Норвегии.

Стр. 167. *Судья Лоландский*. — Лоланд — небольшой остров неподалеку от Зеландии.

Стр. 177. *Вид* — в XVII в. самая мелкая серебряная монета.

Стр. 181. *...поелику в то время яростная вражда и бои шли промежду Голландии и Англии...* — В середине XVII в. Англия трижды вела с Голландией войны за господство на морях, которые не решили окончательно вопроса о гегемонии. Эти войны явно свидетельствовали о начавшемся упадке былого морского могущества Голландии. В описываемое время уже закончилась так называемая Вторая морская война (1664—1667), и на морях еще долго было неспокойно.

Стр. 202. *Орт* — монета достоинством в 1/4 далера.

Стр. 212. *Киприан*. — Так называли сборники колдовских заклинаний. Название происходит от имени епископа Киприана. В народе считалось, что владелец такой книги продал душу черту.

Стр. 230. *...започить... на Борнхольме...* — Борнхольм — один из наиболее отдаленных островов; служил местом ссылки.

Стр. 231. *Слет-далер* — монета, равная четырем маркам.

Стр. 232. *Стюрвольт* — карточная игра.

Стр. 241. *Фальстер* — небольшой остров, расположенный к югу от Зеландии.

Стр. 242. *Юст Хой* (1640 -1697) — датский дипломат.

Стр. 244. *Алумнус* — воспитанник закрытого учебного заведения (алумната), пользующийся бесплатным содержанием и обучением.

Борховская коллегия. — См. примечание к стр. 120.

Людвиг Хольберг. — См. вступительную статью, а также примечание к стр. 117.